

А. АВДЕЕНКО

НАКАЗАНИЕ

БЕЗ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

•

НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ



Художник С. О. Подольный

Авдеенко А. О.

А18 Наказание без преступления.— М.: Сов. Россия, 1991.— 336 с.

В своей автобиографической повести-исповеди один из старейших советских писателей вспоминает о былом, пережитом, трагическом, что было связано и с ним и со всей страной. Перед читателем пройдут образы тогдашних руководителей Советского государства, среди которых Сталин, Жданов, Молотов и другие. Автор рассказывает о начале своего творческого пути, о своих встречах с Горьким.

А 4702010204-042 40-91

84Р7

М-105(03)91 ISBN

5—268—01225—8

Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения... Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, что им случилось наблюдать в жизни.

Л. Толстой

Среди людей, приехавших в Москву летом тридцать третьего, я был, несомненно, самым счастливым. Начиналось мое будущее.

Прямо с вокзала, оставив повидавший виды чемоданчик в камере хранения, отправляюсь к Вере Орловой.

До центра доехал на трамвае. Большой театр. Гостиница «Метрополь». Памятник первопечатнику Федорову. Шагаю мимо глухого забора, отгораживающего будущую станцию метро. Любуюсь Политехническим. И чувствую себя на седьмом небе.

Считанные дни остались до того, как «Я люблю» выйдет в свет, до того, как я смогу считать себя автором, писателем. Я — писатель?! Бывший голодранец, сын макеевского рабочего, искалеченного огнем домны, убитого непосильным трудом. Бывший беспризорник, не окончивший и двух классов церковноприходской школы, прошедший через самые тесные, шкуродерные калибры жизни.

Нет, не может быть.

Но другой внутренний голос сейчас же стал уверять, что я напрасно терзаюсь сомнениями, что перешагну заветную черту.

И я поверил.

Солнечно, тихо, свежо. Ночью прошел дождь. Блестит асфальт. Зеленеют на деревьях омытые листья. Небо синее, без единого облачка. Навстречу пробегают москвичи. И все, все до единого, кажется мне, понимают, что со мной происходит.

Меня остановили два парня в брезентовых робах, сизых от породной пороши. Широкополые, жесткие, тоже брезентовые шляпы. Лица чумазые, потные. Лица шахтеров, только что поднявшихся на-гора. Московские шахтеры. Люди небывалой профессии — проходчики метро.

Какая у них интересная работа! Один из них облизал пересохшие губы.

— Слушай-ка, браток, угости закурить. Всю ночь не дымили. Уши опухли.

Первый раз в жизни пожалел, что некурящий.

— Подождите здесь, я сейчас...

— Постой! — Меня хватают за руку. — Куда ты?

— Папиросы принесу.

— А где они?

— Там... в киоске.

— В киоске? Эх ты, зюзя! Да разве мы не знаем, где киоск?

Сами купим. Бывай здоров.

Засмеялись и пошли дальше.

Выхожу на набережную. За чугунной решеткой желтеет старинное здание с колоннами. Это Дворец труда, штаб-квартира советских профсоюзов. Самый родной для меня дом в столице. Здесь, в Профиздате, работает Вера Орлова и другие мои друзья. Здесь и Кабинет рабочего автора, в котором я провел не один час и день.

— Приехал!.. Здравствуй, Саня.

Впервые назвала меня так.

— Ну, где мой младенец? Давайте показывайте. — Губы мои, чувствую, дрожат, но слова выговариваю почти развязно.

— Вот! — Вера Александровна достает из ящика и кладет на стол пухлую пачку серой, грубой, книжного размера бумаги. — Верстка.

На первой странице крупно напечатано мое имя и еще более крупно название — «Я люблю».

Кладу на будущую книгу руку и зажмуриваюсь. Я счастлив. Безмерно.

Вера Александровна позволила мне испить чашу до конца, до последней капли. И подлила еще:

— Алексей Максимович Горький узнал о том, что мы готовим вашу рукопись к изданию, попросил прислать ему. Мы сейчас же отправили. Это было неделю назад. А вчера нам сообщили, что Горькому понравилось и он собирается напечатать «Я люблю» в своем альманахе «Год XVI».

Ошеломлен. Вероятно, это отразилось на моем лице, в моих глазах.

— Да, вы стали крестником Горького.

— Я ваш крестник. Крестник Кабинета рабочего автора. Вы поверили в меня больше, чем я сам верил в себя.

Куда теперь? Тут и думать нечего. В горьковский альманах. Тверской бульвар, 25. Старинный особняк, в котором, говорят, жил Герцен. Он так и называется: Дом Герцена.

Поднимаюсь на второй этаж. Длинный полутемный коридор. Дюжина, если не больше, дверей. Останавливаюсь перед той, на которой стеклянная пластинка с золотыми буквами: «Редакция альманаха «Год XVI». Открываю дверь и вижу за столом человека в военной, без петлиц, гимнастерке. Голова сияет от лба до затылка, будто отшлифованная. Сияет и пенсне с выпуклыми стеклами. Это Леопольд Авербах, бывший генеральный секретарь РАППа, ликвидированного в прошлом году, а теперь ближайший помощник Горького по альманаху. Я знаю его по фотографиям в «Литературной газете», по выступлениям в печати.

Здороваюсь. Называю себя.

— Мне сказали, что вы в альманахе прочли мою рукопись «Я люблю» и хотите ее печатать. Это правда?

Авербах энергично выбивает из-под себя стул, бросается ко мне. Смеется, хлопает по плечу и говорит неожиданно густым, сильным голосом оратора:

— Нет, дорогой мой, это полуправда. Кроме нас, твою рукопись прочитал еще Алексей Максимович. Одобрил, чуть подправил и решил напечатать в ближайшей книжке альманаха. Вот теперь вся правда. Рад познакомиться. Садись. Сколько тебе лет?

— Двадцать пять.

— Ну, казак, держись, атаманом будешь! Говорят, испытания властью и славой — самые тяжкие испытания. Власти, слава богу, ты не имеешь, а вот слава... Такое обрушится на тебя в самом скором времени!

Чем пугает! Есть ли на земле человек, способный бояться славы?! Да и не нужно мне этой завтрашней славы. Хватит того счастья, что попало в мои руки сегодня. Осчастливлен так, что дальше некуда. Работаю на Магнитке, на заводе, не имеющем себе равных в мире. Зарабатываю хорошо. Студент вечернего факультета Педагогического института. И вот теперь сам Горький поддержал, похвалил, печатает мой роман!

— Ну а дальше писать будешь? — спрашивает Авербах.

— Как же! На историю Магнитки замахнулся. Уже начал и немало написал. Назвал роман «Столицей». Столица пятилетки. Столица рабочего класса.

— Ого! — Авербах опять поощрительно, как мне показалось, расхохотался.— Ну что ж, будем ждать.

И тут я, сбитый с толку его доброжелательством, искренним интересом ко мне, брякнул:

— В дальнейшем я все свои книги буду печатать в вашем альманахе.

Он еще больше развеселился. Я понял, что переборщил. Неловко стало. Авербах же великодушно продолжал смотреть добрыми глазами.

— Вот и хорошо. Договорились. А пока давай поработаем над твоей первой книгой. Мы ее не можем напечатать полностью. Мало свободного места. Номер уже сверстан. И выкинуть нечего. Не возражаешь против сокращения? Урежем на два-три листа, не в ущерб повести, разумеется.

— Смотри какие сокращения.

— Ого! — хохочет Авербах.— Боишься, что искалечим первенца? Не бойся. Гарантирую самое бережное отношение. Рукопись по совету Алексея Максимовича мы уже отправили превосходному писателю Всеволоду Иванову. Он обещал сделать быстро и бережно. Ну как, согласен?

Я кивнул.

— Хорошо, что ты появился у нас. Вовремя! Посмотришь, что и как сократит Всеволод Иванов. Тебе надо с ним встретиться. Сегодня же. Прямо сейчас. Можешь поехать за город к Всеволоду Вячеславовичу?

— Но я...

— Ничего, мы все устроим.

Подбежал к двери, крикнул:

— Миша!

Вошел невысокий, хрупкий черноволосый парень, как я позже узнал, секретарь редакции Миша Цейтлин.

Авербах сказал:

— Этого молодого писателя надо срочно, аллюр три креста, в сопровождении нашего сотрудника отправить к Всеволоду Иванову на дачу в Барвиху. Пусть посмотрят друг на друга, покалякают о том о сем. Ясно? И не поездом, а на машине. Берите такси. Час туда, час обратно. Час на разговоры. Ясно?

И вот мы мчимся через всю Москву. Сопровождает меня симпатичная женщина. К сожалению, имя ее забыл. Обидно.

Первый раз в жизни роскошествую на такси. За чужой счет, конечно. Счетчик бешено выбивает рубль за рублем. Летят километры. Выскакиваем на окраину по асфальтированной узкой дороге. Катим в сторону заходящего

солнца. Въезжаем в какую-то прибранную зеленую деревню. Это и есть Барвиха? Да, оказывается, она самая.

Всеволод Иванов живет в самой обыкновенной деревенской избе. Встретила нас высокая, красивая и приветливая женщина — Тамара Владимировна, жена писателя, она была в ситцевом сарафане и цветастом фартуке, с ножом в руках. Чистила грибы, видимо, только что собранные в лесу. Моя спутница в двух словах объяснила ей, зачем мы нагрязнели. Тамара Владимировна отодвинула корзину с грибами в сторону. Накрыла стол, стоящий под деревом, свежей скатертью.

— Садитесь, пожалуйста. Сейчас я вас чаем напою. Самовар как раз вскипел. Всеволод скоро вернется. Он пошел купаться на Москва-реку. Садитесь!

Не успели мы выпить и первую чашку чая, появился Всеволод Иванов. В точности такой же, какой на фотографиях! Кряжистый. Большоголовый. Широколицый. В широких штанах. В белой майке, с махровым полотенцем на плече. Он почему-то сразу догадался, кто я и зачем приехал. Спокойно, без особого интереса, усталыми глазами вглядывается в меня, не задает никаких вопросов. Кладет передо мной рукопись, медленно перелистывает.

— Вот здесь я немного поджал. Не жалеете. Для книги можете оставить. А эту страницу, как видите, целиком вырубил. Не советую держаться за нее и в книге. Таково мнение и Алексея Максимовича. Видите, это его почерк.

На выброшенной странице было написано жирным синим карандашом: «Гой ты гой еси! Богатырь, да и только». Эти слова относились к явно преувеличенной удали героя моей повести, дедушки Никанора. И хорошо, что вырублено. Ну, а что дальше?

Всеволод Иванов перелистывает страницу за страницей и показывает, что и как сделал. Мое авторское самолюбие ни капельки не задето. Все правильно. И тут мне повезло.

— Ну, вот и все. Как видите, редактировал я и поджимал повесть, строго следуя за карандашом Алексея Максимовича. Все хорошее, по-моему, осталось в неприкосновенности. Посмотрите еще раз свежими глазами.

А чего тут смотреть? Ясно, что добра мне желают и Всеволод Иванов, и Горький. Безоговорочно согласен.

Собираю рукопись, вкладываю в папку, завязываю тесемки. Все, можем ехать обратно в Москву.

— Большущее вам спасибо, Всеволод Вячеславович.

— Что вы, не за что. Работал я над вашей рукописью немного. К тому же и не без удовольствия. Желаю удачи.

В «Литературной газете» на первой полосе, в самом ее центре, набрано сообщение, что выходит в свет альманах «Год XVI», в котором печатаются произведения Максима Горького, Николая Тихонова, Михаила Светлова, Александра Прокофьева, Георгия Шторма, Лапина и Хацревина, Романа Кима, академиков Кржижановского, Винтера, Келлера, Ольденбурга и — мое.

Сегодня же получил от Алексея Максимовича приглашение, присланное Авербахом, принять участие в поездке на Беломорско-Балтийский канал. Поездку организуют чекисты и оргкомитет Союза писателей.

Вот как в гору пошла, полетела моя жизнь. Ударник, призванный в литературу! И сразу попал в число писателей, удостоенных высокой чести.

Никто не вызывал во мне такого преклонения, как писатели. Я более или менее представлял себе, как можно стать директором, врачом, инженером, даже профессором, но писателем... Писатель, казалось мне, имеет какую-то особую душу, волшебно настроенную, способную угадывать жизнь чужой души. Он знает все о жизни людей, о природе и обо всем на свете. Видит и чувствует жизнь острее, глубже, чем обыкновенный человек. Я был убежден, что писатели — люди исключительно умные, добрые, отзывчивые, бескорыстные, мужественные, правдивые, искренние, совестливые, ненавидят ложь, притворство, лицемерие, зависть, подлость. Не обладая всеми этими качествами, думал я, нельзя писать.

Тогда я еще не знал, что воображение и добрые намерения часто заменяют писателю все добродетели.

Книгу я полюбил раньше, чем все остальное, достойное любви. Она открыла мне многие тайны мира. Если бы я нормально, как все дети, постепенно, день за днем, познавал мир в школе, возможно, книга бы не заняла в моей жизни такого важного места. Но в мои руки книга попала необычным путем. Я не получал ее от родителей — был беспризорником.

В первые годы Советской власти я обитал на большой узловой станции Иловайское. Тут дневал и ночевал, кормился из чужих рук, чем придется, подбирал, что плохо лежало, и был невольным свидетелем того, что творилось вокруг.

Через Иловайское — Южные ворота Донбасса — прошли с боями, туда и сюда, на север и на юг, наступаая

и отступая, белогвардейские армии Деникина, корпуса кубанских, терских, донских казаков, диких дивизий. Через Иловайское, по рельсовым путям и пыльным дорогам, промчались, прошумели, прогремели красноезвездные бронепоезда, красная конница. Протопала в рыжих ботинках и гимнастерках, истлевших от пота, дождей, солнца, веселая и жизнерадостная красная пехота. Один из ее потоков подхватил меня и донес до Черного моря.

После гражданской войны опять забросило в Иловайское. К этому времени на вокзале, в зале первого класса, появился книжный киоск. Его хозяином был дядя Вася, сердитый и ухватистый. Он продавал газеты и журналы еще до революции, в Петрограде. Газеты и книги он и сейчас получал огромными пачками прямо из Москвы. Дядя Вася однажды схватил меня за ухо:

— Ты голодный, мальчик?

— Ага! — ответил я и шмыгнул сопливым носом.

— Хочешь быть сытым? Хочешь, чтобы тебя все видели и слышали? Хочешь, чтобы тебя со всех сторон окликали: «Эй, хлопчик, иди сюда!»?

Нет на свете парнишки, который бы не захотел этого.

— Ну?.. Хочешь или не хочешь?

— Ага, хочу, — сказал я на всякий случай.

Дядя Вася повел меня в зал первого класса, к своим шкафам и стойке.

— Вот здесь будешь жить и работать. Подкрепись и принимайся за дело.

Он дал мне кусок вареной конины, бутылку топленого молока и скибку белого хлеба. Я уплетал сказочный харч и слушал деловой наказ дяди Васи.

— Вот тебе «Известия», «Правда». Валяй на всех парах к бакинскому поезду, трезвонь: новости, новости, новости! Просвещай приезжих!

Он набил большую холщовую сумку газетами, журналами, книгами и повесил мне на плечо. И я стал бегать вдоль поездов, следующих к Черному, Каспийскому и Азовскому морям, в Москву и Петроград, Харьков и Киев, в Крым и на Кавказ.

— Свежие московские газеты! Журналы! Завлекательный роман «Убийство Распутина»!

В свободное время, когда не было поездов, жадно поглощал книги, одну за другой. Совсем недавно читал по складам, теперь пробежал страницу в мгновение. Страсть к чтению овладела мною. Читал все, что попадало под руку, без разбора. И все запоминал.

В середине двадцатых годов появились «карманные», в бумажных обложках книжечки «Дешевая библиотека». Величайшее богатство таилось под неказистыми обложками — лучшие произведения мира.

Не думал я в ту пору, что встречу когда-нибудь живого писателя.

Встретил! И не только встретил, но и сам стал писателем...

По правде говоря, став автором «Я люблю», я не чувствовал в себе той силы, какую подозревал в каждом писателе. Не знал и тысячной доли того, что, казалось мне, знали все они.

Но реальное чувство своей малости нисколько не мешало мне быть на седьмом небе.

Сборным пунктом ехавших на Беломорско-Балтийский канал был клуб писателей. Явиться надо в семь часов вечера. Прямо оттуда, после соответствующих наставлений руководящих товарищей, предупредил меня Авербах, все отправятся на вокзал.

Еле дожил до вечера. Чего только не боялся. В самую последнюю минуту, думал — выбросят из списка. Или опоздаю на сбор. Чего-то не увижу, чего-то не услышу, что-то, самое важное, пройдет мимо.

Одним из первых, если не самым первым, пришел в клуб писателей. Громадные, темного дуба двери старинного дома на улице Воровского еще закрыты. Внимательно рассматриваю высокую чугунную решетку, ограждающую особняк. Читал где-то, что в этом доме жили герои «Войны и мира». Как он уцелел в самом пекле московских пожаров?

Распахнулись двери. Один за другим стали появляться писатели. Вглядываюсь в каждого, пытаюсь угадать — кто есть кто. Не было среди них, пожалуй, ни одного, кого бы я не знал заочно, по книгам. Но многих и по фотографиям в газетах, в журналах.

Вот Леонид Соболев. Понравился мне его «Капитальный ремонт». Высокий и грузный, в громадной, невиданной кепке песочного цвета, с поднятыми наушниками. Стоит важно, как памятник, опираясь на толстую суковатую палку.

Пробежал, всех оглядывая и всем себя показывая, пышноволосый, живой и верткий, с гитарой в руках, нестареющий комсомолец Александр Безыменский.

Медленно, вскинув красивую голову, прошагал Иосиф Уткин.

Бруно Ясенский, автор нашумевшей книги «Я жгу Париж».

Вера Инбер, изящная и хрупкая, словно куколка.

Неторопливый, задумчивый и печальный Лев Славин.

Илья Ильф и Евгений Петров, неразлучные, как и на обложках своих книг «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Ильф — среднего роста, худощавый, мрачный, с обветренными тяжелыми губами, в старомодном пенсне, в черном костюме. Петров — высокий, широкоплечий, веселый, доброжелательный, в светлом пиджаке.

Борис Пильняк, неутомимый путешественник. Его книги об Америке и Японии я успел прочитать.

Леонид Леонов. Автор «Барсуков», «Соти» и «Вора».

Кудрявый, белокурый, с пухлыми губами, с дерзким и веселым взглядом поэт Павел Васильев.

С детской челкой, наползающей на глаза, Лидия Сейфуллина.

Константин Тренев, высокий, сутулый и задумчивый.

Черноглазый, черноволосый, с голой макушкой и с румяными скулами, как у Будды, Владимир Киршон.

Тихий и скромный, с лукавой улыбкой мудреца на юном лице Михаил Светлов.

Николай Погодин, прославивший строителей пятилетки в пьесе «Поэма о топоре».

Какая-то писательница, окутанная облаком духов и одетая так роскошно, что на нее страшно смотреть.

Художники Кукрыниксы: высоченный Куприянов, небольшого роста Крылов, русокудрый Соколов.

Янка Купала. Якуб Колас. Максим Рыльский. Юрий Яновский.

Один известнее другого. Все давным-давно заслужившие любовь читателей. Один я — автор книги, не увидевшей еще света.

Рассаживаемся в ярко освещенном зале. Из разговоров понимаю, что не все из пришедших едут — кто-то пришел просто послушать.

Кирпотин, секретарь оргкомитета Союза писателей, говорит, что коллегия ОГПУ по указанию товарища Сталина предоставила возможность побывать на только завершенной ударной стройке пятилетки — Беломорско-Балтийском канале — группе из ста двадцати писателей.

После Кирпотина выступил представитель ОГПУ, начальник Беломорско-Балтийского исправительно-трудового

лагеря Семен Фирин. Говорил долго и хорошо.

Еще во времена Великого Новгорода мечтали русские люди проложить путь через Неву, Ладожское озеро, реку Свирь и Онегу к Морю Студеному. Мечтал об этом и Петр Первый. Проходили века, а мечта оставалась мечтой. И только нам, большевикам, оказалось под силу осуществить ее. За 20 месяцев проложен грандиозный водный путь из Балтийского моря в Белое. Путь из Ленинграда в Архангельск сокращен в несколько раз. Было 5167 километров, стало 1248. Правительственная комиссия уже приняла канал, дала ему высокую оценку и разрешила эксплуатировать. Каналу присвоено имя Сталина. Товарищи Сталин, Ворошилов, Киров первыми совершили путешествие по каналу от Балтики до Белого моря.

Работали на строительстве канала люди, которых привыкли считать отпетыми: воры, грабители, бродяги, проститутки, содержатели притонов, вредители, нэпманы, кулаки, лавочники. Ненавидели труд, всю жизнь пользовались чужим трудом, а пришлось голубчикам самим трудиться. Да не абы как, а по-ударному. В лесной глухомани, на торфяных болотах, на суровом севере. «Научили природу и получили свободу», как поется в лагерной песне. Ржавый хлам прошел через огненное горнило. Вчерашние преступники перекованы трудом. Постановлением ЦИКа более двенадцати тысяч человек освобождены досрочно, почти шестидесяти тысячам сокращен срок заключения. С пятисот наиболее отличившихся снята судимость.

— Мне приказано сопровождать вас в путешествии,— заканчивая речь, сказал Фирин.— Я позабочусь, чтобы вы увидели как можно больше. Ни на канале, ни в лагерях для вас нет ничего запретного. Пожалуйста, смотрите все, что угодно. Разговаривайте с любым каналоармейцем.

«Каналоармеец»... Резануло слух новоиспеченное слово. Рядом с привычным, святым «красноармеец» звучит почти кощунственно. Подумав так, я сейчас же устыдился. Молод и зелен. Разумеется, чекисты с ведома и благословения товарища Сталина называют строителей Беломорско-Балтийского канала каналоармейцами. Героическим трудом заслужили.

Вечером колонна автобусов увозит нас на Ленинградский вокзал. К перрону подан специальный состав из мягких вагонов, сверкающих лаком, краской и зеркальными окнами. Рассаживаемся, где кто хочет.

С той минуты, как мы стали гостями чекистов, для нас начался полный коммунизм. Едим и пьем по потребностям, ни за что не платим. Копченые колбасы. Сыры. Икра. Фрукты. Шоколад. Вина. Коньяк. И это в голодный год!

Ем, пью и с горечью вспоминаю поезд Магнитогорск — Москва. Одна за другой мелькали платформы, станции, полустанки, разъезды. И всюду вдоль полотна стояли оборванные, босоногие, истощенные дети, старики. Кожа да кости, живые мощи. И все тянут руки к проходящим мимо вагонам. И у всех на губах одно, легко угадываемое слово: хлеб, хлеб, хлеб. Просят милостыню. Столетиями кормили и поили горожан, а сейчас... И это при относительно хороших урожаях в прошлом, позапрошлом годах. В чем же дело? Почему обнищали хлеборобы? Потому что уполномоченные хлебозаготовители свирепствуют в деревнях. Под метелку забирают зерно. Даже семенное и фуражное. Падеж скота, начавшийся в тридцатом, все еще не прекращается. Головокружение от успехов, как сказал товарищ Сталин, тоже продолжается. Дураков, перегибщиков и казенных мародеров не сеют и не жнут, они сами по себе, как обжигающая крапива, размножаются.

Смотрел на голодающих и жалел, что не отоварил дня на три вперед свою хлебную карточку, не прихватил в дорогу ржаную буханку. Как бы она пригодилась, как бы обрадовала голодных ребятишек.

Писатели едят, пьют, а чекисты рассказывают о житействе на канале, показывают толстенные альбомы, всякого рода диаграммы, фотографии, брошюры. Деловые и гостеприимные, один симпатичнее другого. Семен Фирин заглядывает в каждое купе, спрашивает: как устроились, не нужно ли чего? Посидит две-три минуты в одном месте, в другом, отхлебнет прозрачного «Цинандали» и, прихрамывая, идет дальше.

И писатели бродят по вагонам. Хлопают пробки, звенят стаканы. Не умолкают смех и шумные разговоры.

Завидую каждому взрыву смеха, каждому остроумному слову, каждой шутке. Они, писатели, все вместе, а я сам по себе.

Хочу вместе с Сашей Безыменским бродить по вагонам. Хочу спросить Мариэтту Шагинян, как она писала свою знаменитую «Гидроцентральный». Хочу перемолвиться словом с белорусскими классиками Янкой Купалой и Якубом

Коласом. Хочу познакомиться со знаменитым драматургом Иваном Микитенко. Хочу быть как все, но... Приморозился к своему месту. Молчу. Скван. Беспрестанно улыбаюсь. Все слова, какие способен сказать, кажутся мне бестолковыми, пустыми. Никто на меня не обращает внимания, а я все-таки робею и стыжусь. Стыжусь, что такой неуклюжий, неловкий, бессловесный.

А тут еще соседи по купе, критики Селивановский и Мирский, бередят душу. Забыв обо мне, о наполненных стаканах, о канале, чекистах и обо всем на свете, они, соревнуясь, читают стихи. Знакомые и незнакомые мне. Читают так хорошо, как не приходилось слышать. И не все стихотворение, а только отдельные, любимые строфы. Мирский начинает:

К вам в этот час душа моя взывает —
Дать силу ей исполнить трудный шаг
В тот мир, куда так сердце увлекает.

Селивановский сейчас же подхватывает:

Так близок ты предмету крайних благ,—
Вещала мне Мадонна,— что вначале
Ты должен с глаз рассеять всякий мрак.

И все. Данте остался позади. Переходят к Пушкину. Мирский выхватывает наугад четверостишие из «Разговора книгопродавца с поэтом»:

Когда на память мне неволью
Придет внушенный ими стих,
Я так и вспыхну, сердцу больно:
Мне стыдно идиолов моих.

Он умолкает, и Селивановский, не задумываясь ни на мгновение, продолжает:

К чему, несчастный, я стремился?
Пред кем унизил гордый ум?
Кого восторгом чистых дум
Боготворить не устыдился?

Легко и просто, будто перед ними лежат книги, переходят от Пушкина к Гомеру, от Гомера к Лермонтову.

Я люблю поэзию, не жалею на память, но мне удалось выучить наизусть всего несколько десятков стихотворений. Способность моих попутчиков держать в памяти строки, созданные поэтами всех времен и народов, для меня непостижима. Я потрясен и подавлен.

Долго состязались Селивановский и Мирский. Довольные друг другом, посмеиваясь, они чокнулись, выпили и вспомнили обо мне. Мирский, глядя на меня поверх очков, сказал:

— Молодой человек, мы, кажется, помешали вам спать? Извините.

— Нет, ничего, ничего,— забормотал я.

— Слышал я, что вы родом из Донбасса. Очень хороший край. Вы родились на заводе, на шахте или на какой-нибудь станции?

— В Макеевке,— сказал я.

— Знаю вашу Макеевку. В городе большой металлургический завод, а вокруг шахты: «Иван», «Марковка», «София», «Амур», «Чайкино».

— Давно вы были в Донбассе? — спрашиваю я.

— А я никогда там не был. Я, молодой человек, знаю не только ваши края. Земля — моя планета, и я должен знать ее. А тем более — свою страну.

— Значит, вы и Магнитку знаете?

— Как же! Знаю. Гора Магнитная хранит в своих недрах более пятисот миллионов тонн превосходной руды. Между Магнит-горой и Урал-рекой вырастает металлургический комбинат. Более ста тысяч строителей живут в барачном городе. Первые жители Магнитки — раскулаченные мужики. Место, где они обосновались, называется спецпоселком. Начальник Магнитостроя — Яков Гугель, бывший глухарь, котельщик из Мариуполя. Главный инженер завода — знаменитый Свицын, осужденный в свое время за вредительство в промышленности и помилованный. Есть у вас другой спецпоселок — Березки. Там особняки для американских и немецких специалистов, магазинов, в котором иностранцы могут купить все, что душе угодно. На правом берегу Урала раскинулась большая станица Магнитная. Там сохранился дом, в котором, по преданию, останавливался Емельян Пугачев. Новая железная дорога связывает Магнитку через Карталы, Троицк с другими промышленными центрами. Магнитка снабжает Кузбасс железной рудой, а Кузбасс Магнитку — коксующимся углем.

— Вы забыли про соцгород.

— Не забыл. Настоящий соцгород, мой дорогой, вам еще предстоит построить. Но и теперь, без подлинного соцгорода, барачная Магнитка — самый великий город на земле. Велика она энтузиазмом рабочего класса.

Кому он все это говорит?! Кого просвещает?!

Дмитрий Мирский. Даже я слышен о нем. Сын царского министра, князя Святополк-Мирского. Прямой потомок Рюриковичей. Род Романовых по сравнению с его родом считался в старину худосочным. После революции Дмитрий Святополк-Мирский вместе с другими русскими князьями, баронами и графами удрал за границу. Долгие годы жил в Англии. Преподавал в Лондонском университете и Королевском колледже — читал лекции по русской истории, литературе. Получив заказ написать о Ленине, стал изучать его работы. И до того дочитался, что отрекся от княжеского титула, вступил в Коммунистическую партию Англии и в скором времени оказался безработным — красного профессора с шумом и треском вышибли из аристократических учебных заведений. Стал активным сотрудником «Дейли уоркер» и пропагандистом советской литературы. Алексей Максимович Горький помог Святополк-Мирскому вернуться на Родину. Вернулся он совсем недавно и сразу активно включился в нашу литературную жизнь. Выступает со статьями по русской и западной литературе.

Стучат колеса вагонов. Мчится поезд по Валдайской возвышенности, среди вековых лесов, озер и болот. Исполнилась мечта Горького, настойчиво призывавшего собрать писателей под одной крышей и убедить в необходимости единства. Мчатся писатели навстречу ленинградскому, рассвету. Чисто пролетарские и попутчики. Литфронтовцы и лефовцы. Перевальцы и литпостовцы. Конструктивисты и локафовцы. «Кузнецы» и «Серапионовы братья». Сочувствующие и полусочувствующие.

Утром прибыли в Ленинград. После завтрака на открытых интуристовских «линкольнах» едем осматривать город. И я как великое диво открываю для себя и Невский, и Фальконе, и Росси, и особенно Эрмитаж.

Всеволод Иванов, Леонов, Инбер, Соболев пробегают через пять или шесть залов, ищут любимые картины и замирают перед ними. А я впервые вижу и Рафаэля, и Тициана, и Рембрандта, и Леонардо да Винчи. Не взглянув на пластинку, прикрепленную к картине, не могу отличить художника шестнадцатого столетия от живописца, работавшего тремя веками позже.

Ни единого слова не проронил, пока осматривали Эрмитаж. Боялся попасть впросак, боялся выдать себя. Мрачнее меня не было человека во всей большой, шумной компании.

Селивановский спросил, был ли я когда-нибудь в Эрмитаже.

— Нет,— сказал я.

— Счастливец!

— Почему? — удивился я.

— Как же! Первая встреча с прекрасным! Первая встреча с Рафаэлем, с Рембрандтом!

Не подготовлен я к встрече с прекрасным.

Мы спустились вниз, в громадный, полный народа вестибюль. И тут я увидел такое, что радостно поразило меня. Небольшой плакат, выцветший и выгоревший, со следами желтизны, подлинный документ первых дней революции. Он бережно наклеен на картон, висит на специальном щите, неподалеку от лестницы. Типографские буквы расплывчато оттиснуты на грубой бумаге.

ВОЗЗВАНИЕ

Совета Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ.

Граждане, старые хозяева ушли, после них
осталось огромное наследство.

Теперь оно принадлежить всему народу.

Граждане, берегите это наследство, берегите
картины, статуи, здания — это воплощение
духовной силы вашей и предковъ вашихъ.
Искусство — это то прекрасное, что
талантливые люди умели создать даже подъ
гнетомъ деспотизма и что свидетельствуетъ о
красоте, о силе человеческой души.

Граждане, не трогайте ни одного камня,
охраняйте памятники, здания, старые вещи,
документы — все это ваша история, ваша
гордость. Помните, что все это почва, на
которой вырастаетъ ваше новое народное
искусство.

Исполнительный Комитетъ Совета Рабочихъ и
Солдатскихъ Депутатовъ.

Ни Селивановский, ни Мирский, никто из писателей почему-то не обратил внимания на это старое, пятнадцатилетней давности воззвание. Наверное, оно для них — привычная музейная реликвия. Я же стою перед ним, перечитываю и чувствую острую, непреодолимую потребность

вернуться к Рафаэлю и Рембрандту, увидеть, теперь уже настоящему, ничего не упуская, силу и красоту человеческой души.

Да, это счастье — своими руками открывать дверь, ведущую в мир прекрасного.

Берега Финского залива. По дороге, проложенной среди лесов и парков, вереница «линкольнов» катит в Петергоф. В нашу честь заклокотали, заструились, засверкали на августовском солнце многоярусные фонтаны. Там и тут горят радуги. Любуюсь бронзовым, с прозеленью Самсоном, замшелыми львами и хороводом нимф.

На исходе дня «линкольны» доставили нас обратно в Ленинград.

Чекисты приготовили в банкетном зале «Астории» немислимо роскошное угощение. Длиннющий стол накрыт твердыми, негнушимися, накрахмаленными, белее снега, скатертями, заставлен блюдами и тарелками.

Громадные, в бронзе и хрустале, люстры. Мраморные колонны. Картины. Зеркала.

Официанты величественны, как лорды: черные костюмы, твердые белые воротнички, галстуки-бабочки. Даже Алексей Толстой, тамада застолья, выглядит скромнее, чем они.

Писатели шумно усаживаются за стол, разворачивают накрахмаленные салфетки, небрежно прилаживают за воротник или бросают на колени. Не переставая разговаривать, накладывают на тарелки салат, красную рыбу, черпают ложками рассыпчатую черную икру, наполняют бокалы, рюмки.

Я пристроился в конце стола. Ошалел от невиданного изобилия. Будто ожили картины, виденные в Эрмитаже. На огромных блюдах, с петрушкой в зубах, под прозрачной толщей заливного, растянулись осетровые рыбины и поросята. На узких и длинных тарелках розовеют ломтики истекающей жиром тещи, семги, балыка. Бессчетное количество тарелок завалено пластинками колбасы, ветчины, сыра. Плавают в янтарном масле шпроты. Пламенеет свежая редиска. В серебряных ведерках, обложенные льдом и накрытые салфетками, охлаждаются водка, вино, шампанское, нарзан, боржом.

Тем, что есть на столе, можно накормить всю нашу ораву, а лорды в черных пиджаках и белоснежных манишках разливают по тарелкам борщ, бульон, лапшу, кто чего

желает. И это называют «первым», хотя до этого было не менее двадцати блюд.

Официанты сменили тарелки, подали горячую, в белом соусе, свежую рыбу. Таяла она во рту. Опять сменили тарелки, подали еще одну перемену: шашлыки по-кавказски, отбивные по-киевски, кровавые куски мяса, бифштексы по-деревенски, жареных цыплят и индюшек. Опять — кто чего желает!

Не знаю, как другие, а я объелся и упился. Отяжелел, размяк. Ел бы еще, да некуда. Кишка тонка. Смотрю на стол осоловелыми глазами и очень хорошо понимаю строку, вписанную Горьким в мою рукопись: «Он жалел, что так много хорошей пищи было съедено зараз».

Нет сил подняться, а официанты нагрязнули с новой переменной. Притащили мороженое, персики без косточек и кожуры. Не сдержался, слопал и сладкое. Да еще две порции. Уж пировать так пировать! Может быть, это первый и последний пир в жизни!

Славные люди братья-писатели! Не знают толком, что я написал, но хорошо видят, как робею, как помалкиваю, чтобы не выдать невежество, как влюбленными глазами вглядываюсь в каждого, видят дешевый костюмчик, видят, как неумело орудую ножом и вилкой, как боюсь испортить сальными губами белоснежную салфетку, все замечают мои добрые спутники, но не пренебрегают, любезно отвечают на вопросы, чокаются со мной.

Писатели встают. Чуть-чуть навеселе, чуть-чуть пошатываются. Улыбчивые, нарядные, с аккуратно завязанными галстуками. А я грохочу стулом, невпопад смеюсь и не могу пройти по ровной линии и десяти шагов.

Возвращаемся в вагоны спецпоезда. Чекисты, экономя время, решили начать плавание не от Ленинграда через Неву, Ладогу и дальше, а от Медвежьей горы, с самого интересного места водного пути.

После шумного, обременительного пира писатели не склонны к разговорам. Как только поезд тронулся, все завалились спать. Сморил сон и меня.

Новый день встречаем на Медвежьей горе. Низкое и хмурое небо. Нелетняя прохлада. Громадные валуны, покрытые толстым слоем бронзово-зеленой слизи. Рубленые, в два этажа, казенные дома. Белые, с зарешеченными окнами ряды барачков, захлестнутые гигантской петлей колючей проволоки. Это уже настоящий север.

Но и тут — роскошный завтрак, после которого мы отправляемся осматривать лагерь.

Я растерянно оглядываюсь вокруг. Бараки аккуратно выбелены. Дорожки посыпаны желтым и белым песком, а справа и слева от них зеленая травка вперемежку с цветами. Газоны и цветники тянутся с одного конца лагеря к другому, чуть ли не на целый километр. Всюду раскрашенные скамейки, а на них сидят люди, здоровые и веселые.

Нары в бараках двухэтажные, толстые тюфяки, простыни и одеяла, подушки в чистых наволочках. Стол, накрытый чистой клеенкой. Стенная газета.

На любые вопросы лагерники отвечали без запинки, бойко и весело. Да, воровали, грабили, осуждены. Отбывая срок, стали ударниками: рыли землю, рубили деревья, укладывали бетон, строили шлюзы. До того, как попали в лагерь, не умели держать в руках ни топора, ни лопаты, ни молотка, а теперь имеют разряд квалифицированного бетонщика, слесаря, механика. Были преступниками, жили за чужой счет, стали нормальными работягами. Вредили на советских заводах и фабриках, злобствовали, глядя на победоносную поступь советского народа. Теперь больно и стыдно вспоминать прошлое.

Преступник перекован в человека!

«Перековка». Это слово звучит чаще, чем всякое другое. Оно в песнях и речах, на кумачовых транспарантах.

Записал в блокнот все, что слышал от заключенных, уже заработавших трудом свободу, доживающих последние дни в лагере, и тех, кому за ударную работу сокращен срок заключения. Мысленно сфотографировал все, что видел за колючей проволокой: беленькие аккуратные бараки, цветники, золотые дорожки, волейбольные площадки, футбольное поле.

Перед входом в барак висит меню, окруженное венком затейливых рисунков: лиловые цветочки, пейзажики. Крупный заголовок гласит: «Кушай и строй так же, как кушаешь». Ниже — собственно меню. Вот что значится в нем:

Щи (1,2 кг на человека)

Каша пшенная с мясом (по 300 граммов)

Котлеты рыбные с соусом (до 75 граммов)

Пирожки с капустой (по 100 граммов)

По нынешним голодным временам каналармейцы едят хорошо.

В сопровождавшей нас группе чекистов было несколько человек в штатском, наверное, вольнонаемные инженеры. На одного из них, пожилого, с длинной и узкой седеющей бородой, с узкими прорезями глаз, я почему-то обратил внимание. Улучив минуту, спрашиваю у Фирина:

— Семен Григорьевич, а кто вон тот, с бородой?

— Не знаешь? Это же знаменитый Ананьев.

— Чем он знаменит?

— Во-первых, крупный специалист по земляным работам, инженер-водник старой, царских времен, закалки. Во-вторых, миллионер-концессионер. В-третьих, выполнял особые поручения за границей, в соседних с нами на юге странах. В-четвертых, полковник инженерных войск. В-пятых, в ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое октября семнадцатого года — начальник обороны Зимнего дворца.

— Даже так?!

— Пройдоха, каких свет не видел. Авантюрист. Гуляка. Умница. Хитрец. Специалист своего дела. Прекрасный рассказчик. Неплохо владеет пером. Да, и пером! И конечно же, ненавидел, как говорится, всеми фибрами души все советское.

— Ненавидел? Или ненавидит?

— Ненавидел. Был осужден. Попал к нам. Хорошо работал. Раскаялся. Прораб, ударник строительства. Мы ходатайствовали о досрочном его освобождении и снятии судимости.

Из репродуктора доносится песня. Поет безголосый каналоармеец:

Имел перо, отмычек стаю
И часто я в тюрьме сидел,
Но с чувством зависти всегда я
На жизнь рабочую глядел.

Поет хор каналоармейцев:

В скалах диабазовых вырубим проход.
Эй, страна, заказывай с грузом пароход!

Каналоармейский оркестр состоит из тридцатипятичников — осужденных по 35-й статье уркаганов. Где трудно, где угрожает прорыв, туда сразу бросают оркестр. Играет. Воодушевляет. А когда надо, оркестранты берутся за кирку и лопату.

Бывшие скокари, специалисты по квартирным кражам, играют на кларнете, трубе, бьют в барабан. Бывшие ширмачи, специалисты-карманники, сочиняют песни. Бывшие проститутки участвуют в самодеятельности. На трассе очень популярна многотиражка «Перековка».

Агапов, Габрилович, Шкловский, Славин, Корабельников, Диковский, имеющие сноровку газетчиков, успели записать несколько исповедей бывших воров и проституток. Самые удивительные ходят по рукам писателей.

В одном из барачков писатели-москвичи неожиданно увидели своего собрата, поэта Сергея Алымова, автора любимой народом песни «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед».

Обступили, здороваются, похлопывают по плечам, задают вопросы, и среди них неизбежный и самый главный:

— Как ты сюда попал, Сережа? За какие грехи?

Саша Безыменский не удержался, чтобы не схохмить:

— Сережу прислали таскать тачку по долинам и по взгорьям.

Все засмеялись, в том числе и Фирин.

Алымов даже не улыбнулся. Глаза его потемнели, как туча, набухшая дождем.

Пользуясь веселым и явно дружелюбным настроением Фирина, Безыменский сказал:

— Семен Григорьевич, не могу удержаться, чтобы не порадеть за собрата, попросить скостить ему срок.

— Уже скостили. Скоро Алымов вернется в Москву.

Сказал и удалился, сославшись на дела.

— Сережа, так за что же ты все-таки попал сюда? — без дураков, серьезно спросил Безыменский.

Каналоармеец Алымов махнул рукой, заплакал и полез на верхние нары.

Я был поражен тем, что и поэт почему-то тут, за колючей проволокой. Он-то за что?

В середине дня к причалу Медвежьей горы подошел пароход «Анохин», тот самый, на котором недавно товарищи Сталин, Ворошилов и Киров предприняли путешествие по каналу. Теперь пассажирами стали мы, писатели.

Длинный басовитый гудок. Отданы швартовы.

Медвежьегорские лагерники машут руками, платками, кепками.

Путешествие по водному пути начинается. Идем по Повенецкому заливу навстречу холодному ветру и свинцовым тучам.

Повенец. Опять лагерь, опять разговоры. У Повенца озерный простор суживается до размера ущелья. Начинается канал.

Повенчанская лестница шлюзов. Со ступеньки на ступеньку, из шлюза в шлюз поднимаемся все выше. Все шире и шире разворачивается панорама Онежского края, края озер, темно-зеленых, подернутых сизой дымкой лесов, края диабазовых и гранитных, укутанных в бархатные мхи валунов, края вечной мглы, низкого неба и почти вечного холода. Час назад ветер хлестал мелким дождем, а сейчас несет хлопья сухого, нetaющего снега. Снег в середине августа!

И вот мы уже на самой высокой ступеньке шлюзовой лестницы. Медленно, как бы нехотя раздвигаются северные ворота, и мы идем дальше.

Озеро Вадло — на 70 метров выше Онежского. Потом снова канал, шлюз. Проходим по торфяникам. Их черное дно покрыто пятиметровой толщей воды.

Озеро Матко, озеро Телекинское. Еще один шлюз.

Фирин, со всеми доброжелательный, время от времени возникает из недр корабля на палубе, и сейчас же к нему, как мотыльки на огонь, слетаются писатели, вопрошают, что, да как, да почему, да откуда, да сколько. Не было такого вопроса, на который бы Фирин не ответил, обстоятельно, исчерпывающе.

Вопрошали все, даже я. Один Мирский помалкивает. Слушает и молчит. Наконец выдает целую кучу вопросов.

— Был ли опыт строительства таких сооружений, как ББК?

— Не было,— ответил Фирин.— Не было ни у советских гидростроителей, ни у инженеров царской России. Сложнейшие гидротехнические проблемы решали самостоятельно.

— Были ошибки, просчеты?

— Не без того. Как во всяком новом деле.

— Во сколько обошелся канал государству?

— Точных цифр не помню,— сказал Фирин.— Но могу вас заверить, товарищи, что меньше потратили средств, чем, скажем, Фердинанд Лессепс на строительство Суэцкого канала.

Или разношерстная компания жуликов на сооружение Панамского. И рабочего времени затратили в несколько раз меньше.

— А за счет чего удалось удешевить стоимость ББК?

— За счет резкого сокращения сроков строительства. За счет хорошей организации труда. За счет энтузиазма каналармейцев, энтузиазма, вызванного тем, что им, лагерникам, была предоставлена возможность полноправно участвовать в грандиозном строительстве.

— И, вероятно, за счет бесплатной рабочей силы?

— Да, конечно. Люди, отбывающие наказание, не получают зарплаты. Так давным-давно заведено во всем цивилизованном мире. Еще вопросы есть?

— А в чем смысл секретности? Зачем было два года скрывать от народа и всего мира героическую каналармейскую эпопею?

— Собственно говоря, Беломорстрой не был засекречен в буквальном смысле этого слова. О нем просто не писали газеты, не вещало радио.

— А почему?

— Товарищ Сталин мудро посоветовал до поры до времени проявлять максимум скромности. Поменьше слов, побольше дела. Так мы и поступали. И вот теперь, когда канал работает, мы дали волю своей законной гордости. Конец — делу венец.

— А товарищ Сталин во время путешествия по каналу встречался с каналармейцами? Говорил с ними? Или каналармейцы не знали, что на пароходе «Анохин» находился товарищ Сталин?

— Да, не знали,— сказал Фирин.— И мы, чекисты, позаботились, чтобы не узнали.

— Товарищ Сталин не хотел привлекать к себе внимание каналармейцев, отрывать их от работы?

Вроде бы ничего плохого не было произнесено ни одной, ни другой стороной, но писателям почему-то стало неловко. Мне в особенности. Я чувствовал себя виноватым за настырные вопросы Святополк-Мирского, словно они задавались с моего одобрения.

— Еще вопросы будут? — спросил четырехромбовый чекист, давая понять своему собеседнику, что готов ему поведать о всех чудесах ББК.

Святополк-Мирский поднял руку.

— Есть! Скажите, какое количество каналармейцев трудилось в год-пик на трассе канала?

— В разгар стройки работало более ста тысяч человек.

— А сколько из этих ста тысяч было вредителей, карманников, домушников, тридцатипятников, бытовых преступников?

— Тысяч десять.

— А остальные, стало быть, крестьяне, мужики?

— Вы, очевидно, хотели сказать — бывшие кулаки, бывшие саботажники хлебозаготовок, бывшие расхитители колхозного добра?

— Нет! Я сказал, что думал. Для меня, знаете, как и для Толстого, каждый, кто обрабатывает землю, кто выращивает хлеб, кто кормит себя и город,— есть мужик. Так вот, я спрашиваю: основной рабочей силой на канале были мужики?

— Да,— согласился Фирин.

— Замечательный они народ — люди от земли. Вкалывали — дай бог каждому. Полностью искупили свою вину перед народом, Советской властью.

Святополк-Мирский слушал, кивал лысеющей головой и без всякого перехода спросил:

— Ну а как прижилась в новых условиях старообрядческая Выгореция?

— Кто?

— Выгореция.

— Что такое? Первый раз слышу. С чем ее едят, чем запивают?

— Я имею в виду Выгожскую пустошь, основанную северными раскольниками чуть ли не триста лет назад, в 1694 году в здешних местах, на реке Выг и ставшей своеобразной столицей северного раскола. Знаменита она в истории России высокой культурой земледелия, поголовной грамотностью, укладом, трудовым братством, самосохранением народных традиций. Что с ней случилось теперь?

— Скрылась под бурными водами истории и стала новым Град-Китежем.

Фирин засмеялся, довольный своей шуткой, и покинул палубу.

В кают-компанию скрылся. Потерял, видимо, охоту отвечать на вопросы писателей. Или неинтересно говорить о старине, пусть даже и знаменитой когда-то. Сейчас в наши дни для него, как и для всего народа, самым знаменитым на земле стал Беломорканал имени Сталина. Имя его запечатлено не только на триумфальной

арке Медвежьегорска и в официальных бумагах. Он материализован, овеществлен по всей трассе канала на гранитных пьедесталах у входа в шлюзы, на пристанях, на плотинах. Пароход «Анохин» встречают белые алебастровые, темные, высеченные из гранита, мраморные и бронзовые монумены и бюсты вождя.

Промелькнули две или три фигуры в полный рост в длинных шинелях. Кто все это создавал? Неужели и это руки каналаармейцев? Или в Москве и Ленинграде отлиты скульпторами? Так или иначе, но великая завершенная стройка увековечена великим именем. Все великое в нашей стране носит Его имя. Магнитогорский комбинат имени Сталина. Московский автомобильный. Сталинградский тракторный. Сталинград. Город Сталино. Сталиногорск. И наконец — эпоха Сталина. Великое нам выпало счастье — быть современниками Сталина.

Говорят, когда Сталин совершал путешествие по каналу, пароход «Анохин» сопровождали эсминцы и подводные лодки Балтфлота. И еще говорят, что балтийские корабли превратились в беломорские. Похоже, на Севере с его более свободным выходом в океан создается новая мощная база военного флота. Этим, вероятно, и объясняется то, что Сталин, годами не покидающий Кремля, преодолел громадное пространство, вчерашнюю глухомань — от берегов Балтики до Беломорья. И еще говорят, что в Сороке, в Белом море, недалеко от берега, когда туда прибыл Сталин с Кировым и Ворошиловым, состоялся большой парад военных кораблей.

Стараюсь не попадать в поле зрения Мирского, но он находит меня и достаивает доверия, которое мне, откровенно говоря, в тягость. Не могу и не хочу через его очки смотреть на нашу жизнь.

Он почувствовал мою отчужденность и спрашивает:

— Вы, кажется, не одобряете моей любознательности?

— Вы долгое время жили вдаль от Родины и потому многое воспринимаете... как бы поточнее сказать... на свой лад.

— Это разве плохо — воспринимать жизнь самостоятельно, без подсказки со стороны, без оглядки на перст указующий?

— Я этого не сказал.

— Нет, сказали. Другими словами, но именно это. И вы не первый. Это меня сильно огорчает. Более того, тревожит.

Могу оказаться не ко двору. Жаль, очень жаль, если это случится. Я полюбил Ленина. Полюбил и новую Россию. Многие нравятся, что сделано и делается. Но многое и непонятно. Есть немало такого, что Ленин не одобрил бы, будь он жив. И самое печальное, что я отчетливо вижу недостатки, промахи, ошибки, упущения, а иногда и произвол, а ваши глаза, привыкшие к большим и малым изъясам, не замечают их. Многие обижаются, когда их ткнешь носом в ту или иную проруху. Вот вы, например, смотрите на канал только как на великое чудо и не видите оборотной стороны.

— Что за оборотная сторона?

— Здесь на каждом шагу упрятаны тайны. Под каждой плотиной. Под каждым шлюзом. В судьбе и работе каждого каналаармейца. Если бы судьбе было угодно омолодить меня и определить на ваше завидное место, место молодого писателя, знаете, что бы я сделал? Написал бы повесть «Тайна трех букв».

С неодобрением смотрю на бывшего князя и говорю с откровенным вызовом:

— Какая тайна? Все открыто, все нам показывают.

— Я далеко не все для себя уяснил. Эта грандиозная водная дорога с ее мостами, водохранилищами, шлюзами, плотинами является, как и Магнитка, одним из новых чудес социалистического света. Если...

— Что — если? — сейчас же сорвалось у меня с языка.

— Если Беломорстрой есть именно то, только то, чем он нам представляется.

— А разве может быть иначе? — спрашиваю я, недоумеваю.

Он ответил спокойно и почему-то печально:

— Может, мой дорогой, может. Люди способны творить не только чудеса, но и всякого рода хитроумные ловушки и для своего же брата, и для себя. В истории человечества всякое бывало. Чаще всего великие народные бедствия начинались с благих намерений и заверений сильных мира сего.

— Не пойму я, к чему вы это говорите.

Мирский засмеялся, ощерив свои стертые почти до корешков зубы.

— А вы думаете, я знаю, чего это ради я разглагольствую перед вами? В одном лишь я не сомневаюсь: вы не пожалуетесь ни писателям, ни чекистам, что бывший князь совращает вас с пути праведного.

Плывем дальше, на север.

Местами канал возвышался над равниной метра на три или четыре. Крутые откосы искусственных насыпей.

Неоглядные просторы Выг-озера. Совсем холодно. Предусмотрительные чекисты извлекают из корабельных кладовых толстые, пушистые свитеры, раздают писателям.

Ветер сечет лица ледяной крупой, но мы не покидаем палубы и смотрим на нелюдимый мир, переделанный человеком.

Десятый шлюз. Он высечен в диабазовой глыбе. Фирин рассказывает, как день и ночь стрекотали здесь перфораторы. Самая крепкая, особой закалки сталь выдерживала не больше часа работы — перегорала. Гнезда для динамитных зарядов, чтобы взорвать скалу, пришлось просверливать чуть ли не на каждом квадратном метре.

Беломорско-Балтийский водный путь — это только начало освоения глухого края, говорит Фирин. Через год-два по берегам канала вырастут заводы и фабрики, перерабатывающие лес в картон, бумагу, целлюлозу. Сегодняшние поселки превратятся в крупные промышленные центры.

Слушаю Фирина, а сам украдкой поглядываю на Мирского: как он воспринимает сведения, составляющие истинную тайну ББК? Тайну его возможностей.

Лицо моего соседа по купе непроницаемо. Неужели до него не дошло сказанное авторитетнейшим человеком? Дошло, но не тронуло души и сердца? Скорее всего — последнее. И ничего нет удивительного. Тридцатипятника, осужденного за воровство, перековать в десять раз легче, чем князя, Рюриковича, почти пятнадцать лет жившего вдали от Родины. Ничего, дайте время, перекуется и он. Правда нашей жизни всемогуща.

Идем по каналу, вырубленному в граните. Последние тридцать восемь километров великого водного пути. Глубокие выемки чередуются с высокими утрамбованными насыпями.

Тут произошел разговор с одним из инженеров, сопровождавших нас от Медвежьей горы. С глубоким знанием дела, с азартом рассказывал он нам, как строились плотины, дамбы, шлюзы.

Инженер высок, мускулист. Холодный ветер, нежаркое солнце, дождь и ледяная крупа грубо, до шершавой красноты обработали его лицо.

— Я работаю на Беломорстрое с самых первых

дней,— говорит он.— Великие трудности были преодолены и каналоармейцами, и чекистами. Чекистам было труднее. Вы только подумайте, в ходе строительства нужно было перевоспитать разнокалиберных преступников. Перековать разнузданных, оголтелых, ожесточенных разгильдяев в армию тружеников! Задача для титанов.— Он внимательно оглядел обступивших его писателей и закончил: — Люди делают революцию. Революция делает людей.

— А что побудило вас приехать сюда, на север? Давно вы работаете с чекистами?

Инженер молчал. Потом сказал:

— Произошло недоразумение, товарищи. Я не вольнонаемный. Несколько лет назад я был осужден. Сюда попал в числе тысяч себе подобных. Но я привык не отделять себя от чекистов. Делаем одно дело. Работаем все по-ударному.

Инженер ушел на безлюдную корму. Мы проводили его взглядами.

В напряженной тишине слышится чуть хриловатый, насмешливый голос Катаева:

— Н-да!.. Черный ветер, белый снег.— Он дернул шеей, наклонил голову к плечу, будто конь, просящий поводья.— Пахнет хлебным романом, братцы! Уж кто-то, а я, одессит, хорошо разбираюсь в острых приправах.

Вот писатель, покоривший мое сердце. Немало книг посвящено Магнитке, но ни одна не может сравниться с катаевским «Время, вперед!». Прочитал в один присест, залпом. Перечитывал малыми порциями, по несколько страниц в вечер — еще лучше показалось. Завидую умению сжато, в двух-трех строчках, дать портрет человека, строительный пейзаж. Удивляюсь, как это удается. Катаев шумливый, все время навеселе. Щурится. Разговаривает резко. Нетерпеливо слушает других, часто перебивает. Во всем прежде всего видит смешную сторону. Когда я попытался пропеть дифирамб в честь его книги, он бесцеремонно оборвал меня:

— Разоряетесь, шер ами, нечем мне оплатить ваше низкопоклонство.

Но Катаев не только насмешничает. Всем интересуется живо. При очередной беседе с Фириним спросил:

— Скажите, Семен Григорьевич, каналоармейцы часто болели?

— Бывало. Не без того. Человек не железный.

— И умирали?

— Случалось. Все мы смертные.

— А почему мы не видели на берегах канала ни одного кладбища?

— Потому что им здесь не место.

Посуровел веселый и гостеприимный Фирин и отошел.

Задумчиво глядя вслед чекисту, Катаев сказал в обычной своей манере:

— Кажется, ваш покорный слуга сморозил глупость. Это со мной бывает. Я ведь беспартийный, не подкован, не освоил еще диалектического единства противоположностей. Какой с меня спрос?

Прозаики промолчали. Поэт Безыменский ударил пальцами по струнам гитары, запел песенку про Мэри.

Пароход «Анохин» движется дальше. Проходим мимо карьера. На дне копошатся заключенные: дробят камень, грузят на деревянные тачки щебенку. Восторженный Лидин снимает шляпу, кричит:

— Привет вам, ударники Беломорстроя! Ур-рраа!

Ударники не откликаются. Гремят кувалдами, шаркают по щебенке лопатами, толкают тачки.

Александр Архангельский насмешливо шуруется на Лидина:

— Н-да!.. Построили канал они, а радуемся мы.

А Янка Купала, глядя в карьер, вполголоса проговорил:

Мужики, мужики,
Все наши земляки.
От родной земли отчуждены.
К чужой земле пригвождены.

Лидина эта встреча так глубоко взволновала, что он впоследствии рассказал о ней на страницах «Литературной газеты»:

«На берегу шлюза разрабатывала карьер ударная фаланга лагерников. Мы, писатели, стоявшие на носу парохода, сняли фуражки и шляпы и стали кричать «ура» в честь ударной фаланги. Это было неожиданное приветствие, и люди, естественно, должны были отвлечься от работы, чтобы ответить на наше приветствие. Но тут мы увидели, как поступают настоящие ударники и строители. Ни один из них ни на секунду не оторвался от дела, как будто наше приветствие относилось не к ним, но с удесятенной энергией люди работали... Они поступили со всей искренностью, поразившей нас своим громадным мужеством и выдержкой. Я должен сознаться, что этот ответ

ударников пристыдил меня, как и многих других, вероятно. Многие из нас до сих пор имеют склонность к отписке, к декларациям и к пустозвонству, в то время как от нас ждут работы, и только работы. Пример этих ударников на Беломорско-Балтийском канале может послужить для всех нас образцом, как нужно работать, как нужно сурово относиться к аплодисментам, как позорно почивать на лаврах даже некоторых достигнутых успехов. И ведь самое поразительное во всем этом то, что нам служили сегодняшним образцом те самые люди, которые только вчера были негодным, вредительским и уголовным элементом, люди, которые были обречены на гибель и которые возвращены сегодня обществу в качестве его передовых людей, ударников и трудознаменцев. Была такая старая лихая песенка:

Эх, яблочко, куды котисься?
В ГПУ попадешь — не воротишься...

Мы можем сегодня эту песенку спеть несколько иначе.

Мы видим на примере людей, создавших Беломорско-Балтийский канал, что даже самые гнилые яблочки возвращены «этаким ядреной антоновкой».

Пароход преодолел последние километры канала и вошел в мутно-серые, с фиолетовыми нефтяными пятнами воды Белого моря. Большой поселок Сорока жметя к берегу. Темные от старости бревенчатые дома. Резные наличники. С моря, с той далекой его стороны, где Соловецкие острова, дует сырой, с тяжелым рыбным душком ветер.

Осматриваем порт и перевалочную базу железной дороги.

Янке Купале и Якубу Коласу приглянулись маленькие, с деревянными обручами бочонки-пузанки со свежесоленной, отборной селедкой. Они неосторожно, в шутку, спросили Фирина, нельзя ли прихватить с собой в Белоруссию эти симпатичные кадушечки как память о Белом море. Фирин ответил серьезно:

— Можно! — и тут же распорядился отправить на пароход «Анохин» подарок

Двинулись в обратный путь, с севера на юг. Писатели, переполненные впечатлениями, уже не с такой жадностью, как прежде, вглядываются в берега канала.

Прошли Выг-озеро. Потеплело. Стягиваем с себя

шерстяные свитеры, выданные чекистами несколько дней назад, складываем в кучу. Кто-то, отвечающий за них, недосчитался пяти штук. Саша Безыменский сейчас же сочинил песенку и вместе со своими товарищами из агитбригады, под аккомпанемент гитары, лихо исполнил ее. Песенка имела такой припев:

Мастера пера, пера,
возвращайте джемпера!..

Смеются писатели, смеются чекисты, смеются матросы. На обратном пути смех почему-то звучит гораздо чаще, чем по дороге к Белому морю.

В эти веселые часы и родилась стенная газета «За душевное слово» — бесцензурный орган путешествующих писателей. Редакторы-добровольцы — Архангельский, Безыменский, Александрович, Исбах. Художники — Кукрыниксы. Сотрудники и рабкоры — все, кому не лень смеяться.

Некоторые заметки стенгазеты «За душевное слово» так понравились мне, что я переписал их в блокнот. Расскажу в нашем литобъединении «За Магнитострой литературы», какой бесшабашно-веселый народ писатели, как ядовито, невзирая на лица, подтрунивают друг над другом.

«Л. Леоновым сдан в ГИХЛ, «Молодую гвардию», «Совлитературу» и МТП роман-эпопея «Канальчуки».

Габрилович заканчивает повесть о Бел.-Бал. канале — «И я там был».

В. Инбер по заданию Немировича-Данченко пишет либретто оперетты «Канальчики граненые».

Взирая на карельские граниты, старайся не думать о своем памятнике.

Будешь писать о великом канале, помни, что вода есть вода.

И еще помни: «Соть» уже написана. И «Гидроцентральный». И «Энергия».

Употребление сочетаний: «синие дали», «седые валуны», «холодные озера», «туманная Карелия» следует приравнять к расхищению общественного достояния.

На Беломорском на канале
Сто тысяч бревен мы вогнали.
А Безыменский — дайте срок —
Напишет столько ж тысяч строк.

И. Кулик».

Закончили путешествие по каналу и переселились в поезд.

Дождь с ветром смыл с провисшего неба все звезды. Дохнуло глубокой осенью, хотя еще был август. Еле-еле проступают в сырой темноте лагерные огоньки Медвежьей горы. Все дальше они, все бледнее. Прощай, Беломорско-Балтийский! Прощайте, каналоармейцы!

Завтра мы уже будем в Москве и разойдемся, разъедемся, кто куда, и неизвестно, суждено ли нам еще раз соединиться вот такой дружной семьей. Грустно. И не только мне. Братя-писатели притихли, запечалились. Допивают последние бокалы дарового вина и прощально, любовно, как кажется мне, вглядываются друг в друга и говорят только хорошие слова.

Фирин озабоченно спрашивает то одного, то другого:

— Ну, как самочувствие?

Каждый отвечает ему с энтузиазмом:

— Хорошо. Прекрасно. Лучше некуда. Спасибо!

Но Фирин еще и еще допытывается, истинно ли мы довольны путешествием. Не прошел он и мимо Катаева:

— Ну, как, Валентин Петрович, себя чувствуете?

Катаев судорожно вытягивает шею из воротника и, сильно щурясь, смотрит на чекиста.

— Неважно я себя чувствую.

На матово-смуглом лице Фирина сквозь вежливую улыбку темно просвечивает удивление.

— Что случилось? Надеюсь, не чекисты виноваты в вашем плохом настроении?

— Именно вы, чекисты, виноваты, что у меня так скверно на душе. Не персонально вы, товарищ Фирин. Вы мне кажетесь милейшим человеком.

Чекист с четырьмя ромбами в петлицах не привык к подобной откровенности. Таращит свои черные глаза на Катаева.

— В чем же мы провинились перед вами, Валентин Петрович?

— Не дали нам как следует посмотреть канал. Мало! На такое чудо надо смотреть неделю, месяц. И не таким кагалом, толпой в сто двадцать голов, а в одиночку, с толком, с чувством, с расстановкой.

— Не совсем понимаю вас, Валентин Петрович. Нельзя ли напрямик.

— Можно. Такая праздничная поездка не дает истинного представления о жизни каналоармейцев.

Фирин внимательно посмотрел на Катаева.

— Вы, кажется, хотите сказать, что сейчас на канале гасят парадные огни, убирают декорации, смывают грим?

— Что вы, что вы! — запротестовал Катаев. — И в мыслях не было подобного. Я сказал то, что хотел сказать. Не больше.

— Хорошо. Я предоставлю вам возможность посмотреть на Медвежьегорск в будни. Отправлю назад. Сейчас же! Поедете?

Присутствующие при этом разговоре ждут, что Катаев засмеется, отколет какую-нибудь одесскую шутку и этим закончит разговор. Но он дерзко смотрит на чекиста, говорит:

— А вы думаете — откажусь?! Поеду.

Фирин поднимается и, прихрамывая, стремительно удаляется в штабной вагон.

Скоро наш специальный поезд останавливается на какой-то глухой станции. Ветер. Дождь. На соседнем пути, окруженная чекистами в мокрых плащах, шумит-гудит моторная дрезина.

Валентин Катаев бодро покидает теплый, светлый вагон. В правом кармане макинтоша торчит палка копченой колбасы, в левом — белая головка бутылки. Фирин снабдил в дорогу.

Не знаю, что увидел Катаев, вернувшись на ББК. В огромной книге «Канал имени Сталина», вышедшей под редакцией М. Горького, Л. Авербаха, С. Фирина в 1934 году, он выступит как один из восторженных авторов главы «Чекисты».

А пока Катаев мчится сквозь сырую, беззвездную ночь назад, к Медвежьей горе, а все остальные летят дальше, вперед, к Ленинграду, к Москве. Пьют чай с лимоном, разбирают постели, блаженствуют в тепле, шумно разговаривают на сон грядущий.

Художники Кукрыниксы (их кто-то из писателей в шутку назвал «русской тройкой») набросали смешную карикатуру на автора «Я люблю». Саша Безыменский сочинил для этого рисунка четыре строки:

«Я люблю», — сказал он миру
С дикой страстностью поэта
И, уставившись на лиру,
Дождается ответа...

Праздник, начатый неделю назад в специальном писательском поезде, продолжается. Теперь в Москве, вернее, в Дмитрове, где размещается штаб новой, еще более грандиозной,

чем ББК, стройки — канала Москва — Волга. В ближайшие годы предстоит проложить водный путь протяженностью в 128 километров от матушки Волги до Москвы. Грандиозная работа. И опять за нее берутся чекисты и армия каналоармейцев. Быть новому чуду!

Писатели, те, что посетили ББК, главным образом москвичи, приглашены на слет ударников-каналоармейцев, посвященный завершению строительства ББК. Заодно посмотрим, как начинается новая великая стройка.

25 августа. Едем в Дмитров автобусами. Небольшой, довольно обветшалый старинный город готовится стать центром строительства канала. Уже намечена трасса — кое-где, участками, снят верхний луговой и торфяной покров. Обозначены берега будущего канала. Снуют вереницы грабарей. Много грузовых машин. Работают экскаваторы. Передвижная электростанция. Горы щебенки, песка, бревен, цемента, стальной арматуры. Желтеют на солнце свежей рубки дома. Новенькая узкоколейная дорога. И бесконечные ряды вагонов с грузами, доставленными со всех концов страны. Беломорско-Балтийский канал строили, можно сказать, из подручных материалов. Водный путь от Большой Волги до Москвы будет создан с помощью всей нашей индустрии.

На всю жизнь заряжен я строительным пафосом. Каждая стройка кажется пупом земли. Может быть, так и есть. Самое интересное, жизнеутверждающее, полное борьбы, отваги, героизма творится сейчас на бесчисленных наших стройках.

В Дмитрове приехавших приглашают в клуб, где собрались ударники-каналоармейцы. Большой зал полон людей. Сцена убрана еловыми ветками, цветами. Стены увешаны портретами ударников в каналоармейских бушлатах. В президиуме, рядом с начальником Беломорстроя Коганом и другими чекистами, — широкоплечий, в сером макинтоше, в тубетейке Алексей Максимович Горький. Он такой же, как на фотографиях. Морщинистое, с толстыми усами суровое лицо. Насупленные брови. Усталые глаза. Он пристально вглядывается в зал, в сидящих людей, а мы, затаив дыхание, смотрим на него. Он! Живой Горький.

Зал взрывается аплодисментами, криками «ура», «Да здравствует Горький!». Алексей Максимович сердито отмахнулся. Потом растерянно заулыбался, закурил сигарету, стал что-то выговаривать чекистам.

Наконец, установилась тишина. Это была особая тишина. Трепетная. Восторженная. Доверительная. Преданная.

Полная невыговоренной любви к человеку, сумевшему расказать в своих книгах правду о пережитом.

После начальника строительства и Фирина выступал воспитанник Болшевской трудкоммуны ОГПУ Овчинников, представляющий, как он сказал, две тысячи бывших воров и правонарушителей. С особым интересом слушали речь бывшего министра Временного правительства инженера Некрасова. Выступали и другие строители ББК.

Однако и я, и все сидящие в зале частенько поглядываем на Горького, с нетерпением ждем, когда он выступит. Так нужно всем нам его слово!

И он вышел на трибуну. Без тубетейки. Без бумажки в руках. Коротко подстрижен. Усы топорщатся. Смотрел в зал и кулаками вытирал слезы. Долго не мог ничего сказать. Наконец откашлялся и начал. Говорил глуховатым голосом, сильно окая. Медленно. Раздумчиво.

— Я счастлив, потрясен. Все, что тут было сказано, все, что я знаю,— а я с 1928 года присматриваюсь к тому, как ОГПУ перевоспитывает людей,— все это не может не волновать. Великое дело сделано вами, огромное дело!

В старину разбойники и купцы — а купцы тоже являются разбойниками — пели такую песню:

Смолоду много бито, граблено,—
Под старость надо душу спасать.

И спасали души — давали деньги монастырям, строили церкви, а иногда и больницы.

Вы не старый, вы молодой народ. Бито, граблено вами не так уж много: любой капиталист грабит больше, чем все вы, вместе взятые. А дали вы стране Беломорско-Балтийский канал, который, во-первых, имеет огромное экономическое значение, во-вторых, усиливает обороноспособность страны, а в-третьих, переработав себя в труде, вы дали стране отличных, квалифицированных работников, которые будут заняты на других стройках.

Но, кроме всего этого, вы подняли настроение доброй сотни литераторов, воочию показали им и себя, и то, что вы сделали. Это будет иметь большое значение. Многие литераторы, которые еще колеблются и многого еще не понимают в нашем строительстве, после ознакомления с каналом что-то приобрели, получили зарядку, и это очень хорошо повлияет на их работу. Теперь в литературе появится то настроение, которое двинет ее вперед и поставит ее на уровень наших великих дел.

Вы теперь сделаете канал Волга — Москва, вы проделаете ряд других работ, которые изменят лицо нашей страны, ее географию, и которые изо дня в день будут ее обогащать.

Обо всем этом нашим литераторам нужно написать. Ведь сначала происходит факт, а потом уже появляется художественный образ. А фактов достаточно.

Я чувствую себя счастливым человеком, что дожил до такого момента, когда могу говорить о таких вещах и чувствовать, что это правда.

К тому времени, когда вы будете в моем возрасте, полагаю, не будет классовых врагов, а единственным врагом, против которого будут направлены все усилия людей, будет природа, а вы будете ее владыками. К этому вы идете, и больше тут нечего сказать, но до этого надо свернуть голову капитализму.

Я поздравляю вас с тем, чем вы стали. Я поздравляю работников ОГПУ с их удивительной работой, я поздравляю нашу мудрую партию и ее руководителя — железного человека товарища Сталина.

Коган пригласил к себе домой на ужин Алексея Максимовича, Авербах, Всеволода Иванова с женой, Зелинского, Катаева, Бабеля и еще нескольких писателей. Среди немногочисленных приглашенных был и я. Потрясающе! Буду сидеть с великим Горьким за одним столом! Увижу близко-близко. И он, наверное, увидит меня. Может быть, он скажет мне что-нибудь. И, может быть, Авербах познакомит меня с ним. Вот это да! Вот это привалило!

Дорожки, посыпанные песком. Бревенчатый двухэтажный дом, окруженный соснами. На крыльце радушно, как полагается хозяину, принимает гостей Коган. Рядом Леопольд Авербах.

Когда я поднимаюсь на верхнюю ступеньку, Авербах кладет мне руку на плечо и, обращаясь к Когану, говорит:

— А это наш самый молодой писатель. Автор первой повести «Я люблю». Бывший беспризорник. Что, не похож?

Коган, будто разгадав мои мысли, говорит:

— Вы, благодаря своей биографии, можете хорошо понять то, что мы делаем, и написать книгу о каналаармейцах. Милости просим к нам в любое время.

Ужинаем в большой, обшитой светлой дубовой панелью комнате. Сияет громадная люстра. В голове длинного стола,

спиной к окну, сидит Алексей Максимович. Он в темно-сером просторном пиджаке, в полотняной, голубоватой, с отложным воротником рубашке, без галстука. Слева — Коган. Справа — Фирин и заместитель главного инженера Беломорстроя, назначенный главным инженером строительства нового канала, Сергей Яковлевич Жук. Дальше — Всеволод Иванов с Тамарой Владимировной, Катаев, Бабель, Киршон, Афиногенов, Бруно Ясенский.

Нам с Корнелием Зелинским не хватило места за общим столом. Накрыли отдельный столик. Отсюда Алексей Максимович плохо виден — его иногда закрывают чьи-то спины. Но я все время смотрю в его сторону. Алексей Максимович ест медленно, без всякого аппетита. Лицо спокойное, какое-то просветленное. Внимательно прислушивается к шумному, веселому разговору. И время от времени произносит какие-то слова. Я издали не разбираю, что он говорит. Повезло тем, кто находится вблизи. Но они, наверное, не понимают, не чувствуют своего счастья. Ничего не записывают. И даже, как мне кажется, не запоминают слов Алексея Максимовича. Смотрят на великого писателя земли советской обычно, как на обыкновенного человека. Смеются. Разговаривают между собой. Много едят и пьют. Чокаются. Передвигают тарелки. Звенят ножами и вилками. Удивительно! Привыкли, наверное, к общению с Горьким. Да разве можно к нему привыкнуть? Это же Горький!..

Он ни единого раза не взглянул в ту сторону, где я сидел. А что, если подойти, назвать себя, сказать: «Здравствуйте, Алексей Максимович!» Всю жизнь буду жалеть, если не найду сил и смелости подняться. Давай, лопух, поднимайся! Иди! Говори!..

Сейчас, сию минуту. Через мгновение. Преодолею себя, вскочу, подойду к Алексею Максимовичу и поблагодарю за то, что среди многих рукописей увидел и мою, прошелся синим редакторским карандашом и напечатал в своем альманахе.

Но сделать ничего не могу. Прирос к стулу. Корнелий Зелинский что-то говорит мне, потом толкает меня.

— Встань, Саня! Покажись! О тебе говорят.

— Обо мне? Кто? Где?

Растерянно оглядываюсь. Все сидящие за столом почему-то смотрят в мою сторону. И Горький тоже смотрит на меня. Да, на меня. Смотрит приветливо, дружелюбно.

Авербах своим сильным, веселым командирским голосом объявляет:

— Это он самый, Алексей Максимович, Авдеенко, автор «Я люблю».

Вот когда нужно подняться. Куда там! Окаменел. Онемел. До того растерялся, что обыкновенной улыбки не могу выдавить. Горький кивнул мне и отвернулся.

Ужин кончился. Горькому предстояла далекая и утомительная дорога домой.

На несколько дней задержался в Москве. Очень хотелось поговорить с Горьким. Авербах, когда я сказал ему об этом, неопределенно пожал плечами. Тогда я решил пробиться к Горькому сам, без посредников и приглашения. Взял да пошел, просто так, к нему домой.

До Никитских ворот добираюсь трамваем. Схожу и прямехонько, уверенно направляюсь на Малую Никитскую.

Дом, в котором живет Горький, принадлежал до революции, как я слышал, не то Морозову, не то Рябушинскому. Говорят, Алексей Максимович неохотно, под большим нажимом после своего возвращения из Италии поселился в этом особняке. Понятно. Противно бывшему волжскому бурлаку, всю жизнь ненавидевшему буржуев, околачиваться в роскошных покоях миллионера. Но что делать? Правительство сочло, что для великого пролетарского писателя обыкновенный дом не подходит. Второго Горького нет и не будет. Для буревестника революции не жаль и десяти дворцов. Живите и здравствуйте, Алексей Максимович, на благо народа.

Двухэтажный, с зеркальными окнами дом обнесен высоким и глухим забором. Подхожу к калитке. Открыта. Какой-то человек, работающий в саду, вопросительно смотрит на меня. Я спрашиваю, дома ли Алексей Максимович. Садовник пожимает плечами.

— Обратитесь к секретарю, — советует он.

Крючков, ближайший помощник Горького, его секретарь, сквозь выпуклые стекла очков настороженно вглядывается в меня. Я говорю, кто я такой и зачем пришел. Петр Петрович или не расслышал, или не понял, что я сказал. Переспросил фамилию и опять внимательно, пытливо взглянул на меня.

— Что вы хотите от Алексея Максимовича?

— Ничего. Просто так пришел... Повидать крестного отца, поговорить с ним, если можно.

— Крестного отца? — удивился Петр Петрович. —

Ах, да, ваша повесть напечатана в альманахе «Год XVI». Здравствуйте.— И он, будто только сейчас увидев меня, протянул руку.— Ну, как поживаете в новом качестве? Привыкли?

Я хочу ответить, но он перебивает меня и задает новые вопросы.

— Работаете на паровозе или уже бросили?

— Работаю. И не собираюсь бросать.

— Да? А как заработок?

— Вполне хватает.

— Значит, хорошо живете? Не нуждаетесь в деньгах?

Вот оно что! Боится, могу попросить денег. Неужели есть такие пролазы, которые просят у Горького десятку — тридцатку?

Крючков попросил немного подождать и ушел. Я остался один. Оглядываюсь, стараюсь все увидеть, запомнить. Стол Крюčkова придвинут к окну боком. На нем стопка листов, исписанных характерным почерком Горького. Письма, написанные Алексеем Максимовичем сегодня! Дальше, в углу, маленький столик, на нем несколько телефонов.

Дверь распахивается. Петр Петрович, улыбаясь, приглашает меня к Горькому.

Иду за ним.

Комнаты громадные, с широченными окнами без переплетов, с цельными стеклами. Потолки высокие, с выступающими полированными балками. Стены обшиты дубом и красным деревом. Бронза и зеркала. Радужные стеклянные перегородки, похожие на витражи в соборах. Черный рояль. Стол, за которым могут сидеть человек тридцать. Аромат каких-то духов и заморского табака. Сияющий паркет и толстые ковры. Безлюдье и тишина.

Неуютно, должно быть, чувствует себя в этом раззолоченном дворце Алексей Максимович.

И мне, магнитогорцу, живущему среди бараков, землянок и халуп, не по душе такое великолепие.

Переступаю порог кабинета и прямо перед собой, в двух шагах, вижу Алексея Максимовича. Он сидит за столом, сутулый, хмурый, с обвисшими усами, с темно-серым ежиком на большой голове. Спокойно, без всякого любопытства смотрит на меня.

Стою, смотрю и безмолвствую. И он ничего не говорит. Вот так встреча!

Великие люди вблизи совсем не такие, какими видятся издали. Я не первый, вероятно, замечаю это. Алексей

Максимович представлялся мне человеком веселым, любопытным, разговорчивым, с открытой душой, дружелюбным, свойским. А оказался мрачноватым, неразговорчивым.

Только через много лет я понял, почему именно так, настороженно, встретил Горький начинающего писателя. Он знал то, что еще неведомо было мне.

Я был счастлив, что так хорошо началась моя писательская жизнь. Алексей Максимович тревожился, выдержу ли я испытание удачей.

Я был уверен, что уже стал писателем. Алексей Максимович думал о том, как трудно мне будет работать дальше, как я буду страдать над чистым листом бумаги.

Я был уверен, что мой талант скоро заклокочет вовсю. Алексей Максимович беспокоился, хватит ли у меня сил, ума и воли вырастить ростки моих способностей.

Я собирался сразу же, вернувшись домой, засесть за работу. Алексей Максимович думал о сотнях и сотнях чужих книг, которые я непременно должен прочитать, прежде чем самому продолжать писать.

Он не говорил мне всего этого ни в первую встречу, ни потом, но я убежден, что думал он именно так, ибо на собственном опыте знал, какие муки испытывает писатель, желающий сказать о жизни что-то свое.

Он протянул руку, огромную и мягкую.

— Здравствуйтесь. Садитесь!

Кивает на стул, придвинутый к правому углу стола, к окну.

— Молодой вы. Это хорошо. Успеете кое-что сделать.

Постучал толстым синим карандашом по рукописи, лежащей перед ним, сказал:

— Вот, читаю работу вашего земляка Макаренко. «Педагогическая поэма». Очень интересно.

Взял верхнюю страницу и, держа в отдалении, медленно, с удовольствием прочел.

— Превосходно! Все видишь, все слышишь, все чувствуешь. Вкусно.

Прочел вслух еще одну страницу.

— Автору пока не видно, где он силен, где слаб. Ничего! Литератор не рождается в готовом виде. Зрелость — это удачи, воспитание неудачами, познание самого себя и, конечно, действительности.— Алексей Максимович снова постучал доньшком толстого карандаша.— Я по характеру своему оптимист и поэтому верю в Макаренко. Далеко пойдет этот бывший учитель. Очень хорошо, что он

педагог. Всякий литератор, даже семи пядей во лбу, должен иметь специальность. Это — мое давнее убеждение. Неравнодушен я к инженерам, людям науки. Доставалось мне не раз за то, что преклоняюсь перед ними. Но сие меня не смущало и впредь не будет смущать. За усмешками невежд прячется социально вредный пережиточек старины — мещанский скептицизм. По этому поводу я недавно малость пошумел. Да не всеми был хорошо понят. Придется еще раз, настоятельнее, позадиристее пошуметь.

— Читал я вашу статью, Алексей Максимович,— сказал я.

Поднял очки на лоб:

— Ну и как?.. Вот вы, рабочий, выдвигенец пролетариата, согласны или не согласны с моей оценкой работников науки и техники и критическим отношением к некоторым писателям?

Надо что-то сказать. Рассказываю о Гугеле, Беккере. И особенно много об инженере Тамаркине. Ему нет тридцати, а он уже стал деятелем, практически изменяющим мир. Строил Днепрогэс. Во главе армии землекопов и бетонщиков Магнитки воздвигал в лютый мороз плотину, чтобы к весне обеспечить комбинат водой. Сейчас Тамаркин — начальник строительства вагоносборочного цеха Уралвагонстроя в Нижнем Тагиле, где через два-три года будут выпускать тяжелые четырехосные пульманы, которые мы до сих пор ввозили из Германии и США.

Горький внимательно слушал. Когда я закончил, он, тяжело вздохнув, заговорил опять о своем:

— Горячая оказалась моя статейка. До сих пор кое-кого обжигает. Некоторые литераторы при всяком удобном случае вразумляют старика: перегнул, мол, палку... Как вы считаете, перегнул или не перегнул?

Не знаю, что сказать. Почему Горькому важно мое мнение? И почему через столько недель после опубликования статьи «О кочке и о точке» он захотел поговорить о ней? Разбушевались страсти?

Мое долгое молчание не нравится Горькому. Он хмурится, усиленно дымит сигаретой и барабанит по столу толстым синим карандашом. Боюсь, что воспринимает мое молчание как несогласие с ним, поспешно говорю:

— Алексей Максимович, писателям по душе точка зрения, а не кочка. В этом я убедился, путешествуя с ними по каналу.

Он невесело усмехнулся.

— Если бы! Известно мне, как мастера пера путешествовали по Беломорско-Балтийскому каналу. Одни с любопытством взирали на чудо двадцатого века, на строителей, бывших собственников, нарушителей законов, людей социально опасных,— и видели только экзотику. Другие скользили равнодушным взглядом и по бетонным плотинам и шлюзам, и по лицам строителей. Третьи — веселились.

Откуда известно? Кто настучал? Зачем?

Я говорю, какой хороший народ писатели, как они талантливы, образованны, как я их полюбил.

Горький хмуρο покачал головой.

— Не поняли вы этот премудрый народ. Каждый считает себя гением. Мало они интересуются тем, что делается в нашей замечательной стране. Вот я и выпорол зазнавшихся. И тех, кто бежит от ответственности перед читателем, эпохой, обществом.

Еще и еще напутствовал великий буревестник молодого писателя. На верную дорогу выводил. Говорил о разуме и воле пролетариата, о талантах, выращенных народом и дерзко стремящихся изменить условия жизни и построить новый мир.

— Домны ваши работают здорово. Мир удивляют. Ну, а люди как живут?

— Хорошо, Алексей Максимович, живем! — быстро сказал я.

Покрывил душой? Да. Не буду же я посвящать Горького в нашу бытовщину. Сами справимся со своей бедой. Нечего огорчать.

— Вот как!.. Хорошо? — Он посмотрел на меня, и его тусклые глаза стали совсем темными.— А я слышал, что плохо живут рабочие. Был у меня недавно, проездом из Магнитки, один неглупый и неболтливый человек, рассказывал...

Горький закашлялся. Смахнул с ресниц слезы, вытер усы большим платком, сердито продолжал:

— Говорят, вы золотые машины гноите и ломаете, цемент на ветер бросаете, грязь перестали замечать, к баракам и землянкам привыкли, много водки пьете, мало хлеба получаете, а культуры — еще меньше. Новый город, столица пятилетки — и такие старые пережитки!.. Как же вы миритесь с подобным безобразием?

Отмалчиваюсь.

Стыдно.

Ничего больше не сказал Алексей Максимович. Кивнул,

прощаясь, и склонился над рукописью. Я еще был в комнате, но он уже забыл обо мне. Ушел в себя.

Кончился чекистский коммунизм. Прощайте, бесплатные черная и красная икра, балык и теша, копченый окорок и колбасы, выдержанные вина и старый коньяк, шоколад и пирожные, безденежный проезд в мягком вагоне! Прощайте, роскошные интуристовские «линкольны»!

Тебе нужен билет от Москвы до Магнитогорска? Вынь да положь на бочку наличные. Хочешь поесть и выпить? Опять же выкладывай рубли. И подадут тебе жидкий кондер, сухую пшеничную или перловую кашу, кусок чернухи, тяжелой, как мокрая глина. Да и этот харч выдадут лишь в том случае, если предъявишь неотоваренные карточки. Да еще выступишь в очереди.

Перед отъездом пошел в книжную лавку писателей. Купил дореволюционные издания Гете, Гейне, «Божественную комедию» Данте. Вышедшие тома юбилейного издания Льва Николаевича Толстого. Все, что выпустило в свет наше издательство «Academia» — классиков всего мира. Множество книг по истории, географии, экономике, философии. Не пожалел денег, раскошелился и на «Историю нравов», «Историю костюмов», «Историю тканей». Раздобыл и такую дорогую редкость, как «Мужчина и женщина». В общем, стал владельцем уймы замечательных книг. Запаковали книги в несколько ящичков, отправили в Магнитку. Отправился домой и я.

Лежу на верхней полке с толстенной тетрадью и самопиской в руке и прислушиваюсь к торжественным раскатам органных труб. Впереди вспыхнула гигантская, во все небо, триумфальная радуга. Когда поезд проходит под ней, отовсюду доносится ликующее пение птиц, ласковый шелест ветра, мятное дуновение трав и цветов и восторженные голоса друзей:

— Поздравляем! Поздравляем!! Поздравляем!!! Добился! Преодоле! Победил! Уррра!

Ко многим счастье приходило слишком поздно, когда догорал огонь их жизни. Тебе же, Санька, выпало быть счастливым в цветущие годы. Каждая клеточка твоего тела наполнена силой. Много у тебя желаний и не меньше возможностей. Перед тобой расстилается широкая, залитая солнцем дорога, самая лучшая из всех дорог. Шагай!

Чего только не увидит и не услышит захмелевший человек! Говорят, успех доводит до головокружения. Но мне очень хорошо. Хлебнул сверх всякой меры и не потерял головы.

Да? Ты уверен в этом?

Да! Да!! Да!!! Безнадёжно захмелел тот, кто не способен здраво мыслить.

Ну-ка давай проверим твою трезвость. Скажи, что случилось? Почему ты чувствуешь себя на седьмом небе?

Вышла из печати моя книга. Она была еще теплой, а в «Литературной газете» уже появился добрый отзыв — большая статья редактора С. Динамова «Рождение художника». Хвалят и другие критики. А Профиздат, «Федерация», «Художественная литература», «Молодая гвардия», «Роман-газета» наперебой готовят повесть к переизданию... По правде сказать, я ошеломлен.

Еще бы!.. Ну хорошо, хвастай дальше.

Да, ошеломлен. В глубине души сознаю: перехвален.

Правильно! Так, только так ты должен думать. Береги скромность смолоду.

Согласен, но... со стороны виднее. Не имею права не верить великому Горькому, издательствам, критикам, журналам, собратьям по перу. Прибедняться — это тоже нескромно. Да, верно, мое слово пока не сияет, как у Катаева. Но у Катаева нет того, что есть у меня, — кровного родства с рабочим классом. Ведь как я начал писать? Вспомнил, как жили раньше, до революции, мой дед, отец, мать, братья и сестры, как жила Собачеевка, овражный поселок шахтеров и металлургов, сравнил их проклятую житуху со своей — и взялся за перо. Не учился писательскому делу, не знал того, что надо знать писателю, и все-таки сработал повесть. Видимо, неплохо получилось, раз напечатана...

Хвалят тебя не за мастерство, не за художество, а за пролетарское происхождение!..

Пошел ты, знаешь куда?..

Могу пойти куда угодно. Но не откажусь от своих слов.

Не художник ты пока. Одну автобиографическую книжку может накропать каждый и всякий. А вот когда возьмешься за вторую — тут тебе и капут.

Старая песня. Слышал уже подобные пророчества. Надоело! Самому себе заткнул глотку. Своя рука владыка.

Свистит, гудит, поет, стонет, ликует паровозный гудок: «Эй, вы, люди, слушайте, слушайте!»

Стучат колеса, разговаривают на своем таинственном языке. Я, паровозный машинист, хорошо разбираю, о чем они толкуют. Днем выстукивают всякую дребедень, слушать нечего, а вот в такую пору, глухой ночью, да еще в дождь...

«Так-так! Тук-тук!.. Ток-ток!.. Смотрите, люди! Радуйтесь!.. Гордитесь!.. Отступила, растаяла тьма веков, и забрезжило первыми своими лучами будущее, недостижимое для людей, живших ранее, до нас. Так вот оно какое, наше будущее! Побратски скрещенные серп и молот!..» «Нас возвышающий обман»...

Товарный вагон без колес — временный вокзал. Над дверью гордая надпись: «МАГНИТОГОРСК».

Приехали! Здравствуй, Магнитка. Соскучился я по тебе. После роскошного града Петра и реконструируемой столицы твои белые бараки, залитые хлоркой халабуды, землянки, избушки, домики, кирпичные четырехэтажные дома соцгорода, похожие на казармы, кажутся довольно-таки убогими. Ничего! Всякое мы видали. Верно, небогаты мы добротным жильем, красотой города. Но зато обладаем таким уникальным богатством, какого не имеет ни Ленинград, ни Москва: венчает наш город-завод Магнит-гора, таящая в своих недрах полмиллиарда тонн руды. Руды, которая в наших гигантских домнах, самых больших и технически совершенных, превращается в жидкий чугун, а потом, пройдя через разливочные машины, становится звонкими чугунными чушками. И я к этому имею прямое отношение — своим танк-паровозом доставляю по горячим путям ковши, полные огненного чугуна. Неприступным жаром дышат ведомые мною поезда, а по ночам озаряют темное южноуральское небо. Путь себе я прокладывал еще и фарами, и сигнальным гудком, и колоколом. Да, и колоколом!

Ночевал я дома, в своей холостяцкой комнатухе. Спал на узкой твердой койке. И снился мне немислимо счастливый сон: будто я стал писателем и подружился с великим Горьким и будто путешествовал от моря Балтийского до моря Белого по только что вошедшему в строй ББК.

Просыпаюсь с первыми лучами солнца, хватаю полотенце и бегу на озеро. Смою пыль дальней дороги и позолоту соскребу, нанесенную на меня невзначай редакторами

и критиками. Для большинства магнитогорцев пора купания прошла, но для меня она еще в разгаре. Не люблю я теплого озера.купаюсь на глубоких местах, чуть прогретых сверху, а внизу — холодных до ломоты в зубах, до судороги.

Бегу на излюбленный крутой обрыв, заросший муравой. Думал, не увижу ни одной живой души, а встретил моего друга Бориса Ручьева, красивого, веселого, насмешливого, острого на слово парня. Работал землекопом, плотником, бетонщиком. Теперь поэт. Его знают на Урале и в Москве. Багрицкий, Асеев, Светлов, Сельвинский, Луговской, Павел Васильев, Борис Корнилов, Ярослав Смеляков хвалят его стихи. Ему чуть больше двадцати. Кудрявая голова, румяные пухлые щеки, по-детски надутые губы. Небольшая, но ладная, крепенькая фигура. Чистой голубизны глаза. Все в Борьке Ручьеве юное, мальчишеское, а говорит солидным басом, по-мужицки степенно, непререкаемо-внушительно.

Я очень верю в большое будущее поэта Ручьева. Много хороших чувств и дум рабочих людей выражает он в своих стихах.

Борька сидит на мураве, голый до пояса, босой, курит, греется на нежарком солнышке. Увидев меня, не удивился, будто только вчера расстались. Спокойно протянул руку, спросил, когда приехал. И все. Больше ничем не поинтересовался. Не знает, что я приехал с первой своей книгой, что был у Горького, что путешествовал вместе с лучшими писателями по только что открывшемуся каналу Балтика — Белое море.

Он ко мне — с явной прохладцей, а я — с распростертыми объятиями. Обнимаю, стучу в грудь кулаком, дурака валяю, а сам с нетерпением жду, когда начнет расспрашивать, где я так долго пропадал, с чем приехал, почему сияю, словно новенький червонец. Вот кому я с превеликим удовольствием расскажу о том, что нежданно-негаданно обрушилось на меня. Борис все поймет, как надо, порадуетя вместе со мной крутой перемене в моей жизни. Он умеет радоваться чужой удаче.

Ну, Борис, давай, спрашивай!

Молчит, курит, смотрит не на меня, а на озеро, хотя там ничегошеньки интересного нет.

Ладно, раз он не испытывает интереса ко мне, я заинтересуюсь им. Кладу ему на плечо руку, спрашиваю:

— Ну, Борька, как вы, Магнитка и ты, жили без меня?

Он хмуро ответил:

— Ты что, Саня, с луны свалился? Или тебя не затронули беды Магнитки?

— Какие беды?

— Гугеля сняли.

Гугель, легендарный начальник Магнитостроя, снят?! Кем? Почему?

Я долго, очень долго молчу, потом спрашиваю:

— За что сняли?

— Говорят, не справился со своими обязанностями. Говорят, под монастырь подвел и строительство и завод. Говорят, командарм штурмовой армии исчерпал себя до дна.

— Кто говорит? Где? Когда?

— Да ты, оказывается, и в самом деле ничего не знаешь. Ну так слушай. Была у нас правительственная комиссия во главе с Серго. Я читал его приказ. Вопиющее равнодушие к бытовым нуждам рабочих, обвешивание в хлебных лавках, наплевательское отношение к оплаченным золотом машинам.

Я молчу, пытаюсь прийти в себя, а Ручьев еще и еще рубит:

— Вслед за Гугелем сняты секретарь горкома Карклин, председатель горсовета Румянцев, председатели завкома и горпрофсовета. Из старых членов бюро никого не осталось. Начальник орса и второй его помощник арестованы, отданы под суд: воровали продукты тоннами. В пригородном совхозе орудовала шайка.

Неужели это правда? Немыслимы в Магнитке подобные преступления.

— Боря, ты пошутил?

— Такими вещами не шутят. И правильно сняли Гугеля и Карклина.

Борька раздевается, прыгает с обрыва в воду, выныривает, машет рукой, кричит:

— Давай, Саня!

Я раздумал купаться. Холодно до того, что зуб на зуб не попадает. Ручьев плавает, ныряет, а я сижу на крутом берегу, думаю.

— Ну и водичка! Родниковая слеза.

Ручьев вылезает на берег, ошпаренный, как рак. Прыгая на одной ноге, вытряхивает из ушей воду, наскоро вытирается дырявым и застиранным вафельным полотенцем и, одеваясь, насмешливо поглядывает на меня.

— Ну, казак, чего голову повесил? Новости не понравились?

— Да, так не понравились, что выть хочется.

Натягиваю спецовку, холодную, задубевшую, будто с чужого плеча. От своей рабочей одежды, оказывается, успел отвыкнуть. Целый месяц щеголял в шелковой рубашке с ярким галстуком. Удивительно, до чего же быстро осваивается человек со сладкой жизнью.

Шагаю на работу. Горячие пути такие же, как и до моей поездки в Москву. И домны ничуть не изменились: рыжие от рудной пороши. Мощно гудит воздуходувка. Туда и сюда носятся кургузые, вороненые паровозы. То в первом, то в третьем, то в пятом желобах клокочет оранжево-белая плавка. Ковши с жидким чугуном уходят на разливочные машины.

Ничего не изменилось в Магнитке с тех пор, как я призвался в литературу. Только я стал другим. Где восторг? Где пыл души? Что случилось с моей способностью видеть в повседневном, обыкновенном — необыкновенное, праздничное?

Сижу на правом крыле «Двадцатки», но мое откидное креслице уже не кажется чудодейственной точкой опоры. Жесткое, неудобное, мозолит ягодицы. Реверс и регулятор теперь не кажутся, как в былое время, рычагами, с помощью которых я переворачивал мир.

Время тянется нудно. Рудная мука набивается в глаза. Доменный и коксовый газ душат, вызывают изжогу. Трещит голова от немислимого угара.

И от рабочего воздуха Магнитки успел я отвыкнуть. Изнежился под московским небом.

Что со мной? Постарел преждевременно? Зазнался?

Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не хочу выносить себе приговор. Поживем — увидим. Есть надежда, втянусь в работу — и всю муть как рукой снимет.

Прошел час, еще час, еще один, другой и третий.

Ничего не становится на свое место. Еле дотянул до шабашного гудка.

Всеми своими помыслами я не тут, на горячих путях, а в соцгороде, в своей холостяцкой комнатухе, за неказистым обшарпанным, колченогим письменным столом, где была написана моя книга.

Хочу писать! Писать днем и ночью. Утром и вечером. Писать и писать.

Я уже не работник завода.

Отрезанный ломоть!

Не вижу, как бывало раньше, перекипающего солнечного

зноя над чугунными ковшами. Не горжусь работой. Не трезвоню без всякой причины в сигнальный колокол, не пугаю девчат-работниц пронзительным, разбойничьим свистком «Двадцатки».

Отрезанный ломоть.

А как я раньше вкалывал! В прошлом году был случай, когда проработал на паровозе без подмены две ночи и три дня и после работы еще побежал на озеро купаться. Теперь с превеликим трудом вырабатываю одну двенадцатичасовую упряжку. Работаю, а в голове ни одной мысли о паровозе. Только о своей «Столице» думаю.

Добрался домой. Помылся, переоделся, пожевал, выпил чаю — и совсем выдохся. Во всех суставах ломота. Глаза слипаются. Не лист белой бумаги меня притягивает к себе, а подушка, постель. Выключаю свет и сейчас же, без всяких угрызений совести, проваливаюсь в сладкое небытие.

Предгорье Уральского хребта бесследно скрылось за мутной дождевой завесой. Дождь начался с первым гудком, еще в темноте. Утром ливень перестал, немного передохнул, позволив показаться солнцу, вернее его подобию, и опять хлынул с новой силой. Льет и льет. Равномерноскучный, по-осеннему холодный, никому не нужный, всем в тягость. Небо висит низко. Земля превратилась в труднопроходимое болото. Котлованы затоплены. На колеса грабарок наворачиваются пуды чернозема и глины. Буксуют машины. Откосы железнодорожных путей изъедены рыжей глинистой водой, отваливаются комьями, отваливаются и ползут. Рельсы скользкие, опасные.

Пришел на работу под дождем и домой возвращаюсь под дождем. Промокла не только одежда, но, кажется, и сам весь. Отсырела голова, набухли влагой кости и кожа.

Надо согреться. Не любитель я хмельного, но приходится прибегнуть к нему. Выпиваю целый стакан водки с перцем, накрываюсь с головой одеялом и полушубком и все не могу согреться. Знобит.

Проснулся поздним утром. В комнате холодно — пар валит изо рта. Окно в мутных подтеках — дождь все еще льет. Горло чем-то закупорено, наверно, схватил ангину. Есть нечего. Нет даже хлеба и холодной, картошки. Ни единой путной мысли в тяжелой голове.

Закрываю глаза и не открываю их и час, и два. Так вроде легче. Вот тебе и отдых после трудов праведных!

Двое свободных суток имею в своем распоряжении. Вряд ли хватит, чтобы выздороветь.

Через две недели еле поднялся. Закрыв бюллетень. Иду на работу. Пошатывается. Мутит.

На смену сплошным дождям пришли густые, тяжелые туманы. Ползут у самой земли, ватные, грязные, набухшие. Ощупью, постукивая палочкой по асфальту, бреду по обочине дороги. Машины ползут рядом с включенными фарами. Где-то в серой, сырой мгле пищат, хрипят, стонут и жалуются паровозы. Воздуходувка гудит приглушенно, немощно. Зарева плавок не видно. И самих домен не видно, и всего завода как будто нет на свете. Не верится, что иду по громадному городу, что в его домах, бараках и землянках живет более ста тысяч человек. Не верится, что рядом со мной, рукой подать, в доменных печах бушует тысячеградусное пламя.

Пока размышлял и клял себя, потерял дорогу. Не знаю, не пойму, куда иду, на завод или от завода. Когда и как это произошло, не заметил. Земля под ногами мягкая, с травянистым покровом. Кажется, забрел на какой-то пустырь, на резервный строительный участок. Заблудился. Где же домна? Где Магнит-гора?

Топчусь на месте, никак не могу сообразить, куда идти.

Эх, сидеть бы мне сейчас и писать.

Держусь за свой паровоз, как за якорь спасения. Почему не расстаться с ним? Прекрасно обходились без меня, пока я путешествовал по Беломорско-Балтийскому каналу и гулял по Москве. Пожалуй, и целый год не заметили бы моего отсутствия.

А что если я прямо сегодня пойду к своему начальнику, инженеру Полякову, и скажу откровенно: освободите от работы на паровозе, увольте, бога ради. Поляков не откажет, поймет как надо.

Денег, полученных за книжку, хватит на целый год, а то и на все два. Из комнаты никто не выгонит. Хлебной карточки не лишат. В тунеядцы не зачислят.

Нет, не пойду. Все знают, что я написал книгу, работая на паровозе. Все гордятся, что ударник призвался в литературу. Во всех критических статьях о моей книге подчеркивается, что я не порвал кровной связи с заводом, с рабочим местом. Как же я могу одним ударом обрубить эти связи? Нет, нельзя сейчас бросать «Двадцатку», надо подождать.

Поговорю с ребятами из нашего литературного

объединения, с Борькой Ручьевым, в горком партии пойду, посоветуюсь.

Туман, туман, туман. Вокруг меня. Надо мной. Подо мной. Во мне.

Заскрипели, завывли тормоза «линкольна». Задняя дверца машины распахнулась, и послышался мягкий, веселый говорок Гугеля:

— На сыщика и разбойник бежит! Садись, земляк, рядком, да поболтаем ладком.

Яков Семенович втянул меня в машину.

— Погоняй, Петя! Ну, земляк, как поживаешь?

— Хорошо, Яков Семенович. А вы?

— Мое дело десятое. Не обо мне сейчас речь. Значит, хорошо? Так и дальше держи.

— Говорят, вы покидаете нас.

— Покидаю. Южную Магнитку буду строить. В Донбассе. Приезжай в гости.

— Почему вас сняли, Яков Семенович?

— Я сам себе каждый день задаю такие вопросы. Думаю. Разбираюсь. Пока одно могу сказать: наверно, правильно сняли. С пользой для Магнитки и для меня.

Такой вот поворот. А ведь совсем не так уж давно на страницах «Правды» писатель Ефим Зозуля восхищался Гугелем. Вылепил прекрасный портрет волевого начальника. Но Гугель, как я слышал, посмеивался над своим изображением. Спрашиваю:

— Яков Семенович, почему вам не понравилось сочинение Зозули?

— Откуда ты взял? Кому не нравится, когда нахваливают! Еще больше себя любишь. Забываешь про свой маленький рост. Богатырем себя видишь.

— Нет, правда, Яков Семенович!

— Не завидуй Зозуле. Не про нас, начальников, тебе надо писать. Не я отгрохал эти домны, мартены. Не на моих плечах держится Магнитка. Ищи героев в котлованах, на верхотуре домны, где работают монтажники. А насчет своего портрета я вот тебе что скажу... Не волевой я был начальник, а канатоходец. Эквилибрист. Не схитришь — не победишь. Ловчил и с рабочими, и с самим наркомом. А что делать? Денег и материалов дают в обрез, а требуют... Гугель, кровь из носа, к Первому мая забетонируй фундамент блюминга!.. Гугель, не оскандалься, к сроку задуй мартеновскую печь!.. Гугель, не подкачай с четвертой домной!.. Гугель, не прозевай и то, и это, пятое, и десятое!.. Люди хватают за грудки на всех

перекрестках: Гугель, дай квартиру, живу в затопленной землянке!.. Гугель, почему скудный паек?.. Гугель, где Дворец культуры, асфальтированные дороги, водопровод?.. Почему мало бань и прачечных?.. Гугель, у Магнит-горы появились кочевники и начались грабежи, убийства!.. Гугель, почему мертвых тащишь за тридевять земель? Стыдишься кладбища?.. Гугель, и родильные дома, и стадионы, и больницы, и столовые поднимай скоростными методами!.. Горы неотложных проблем наваливаются на беднягу Гугеля! И не решишь их подписью. Грубая материя требуется. Вот и приходилось изворачиваться: здесь недодашь, там недоговоришь, в другом месте стороной обойдешь опасный вопрос, в четвертом прикинешься Иванушкой-дурачком, в пятом наобещаешь с три короба, в шестом вместо разноса вынужден хвалить, премировать... Нехорошо! А что делать? Живем в сложное переходное время, в капиталистическом окружении. При социализме будем богатыми и правильными до самого дна, а пока... издержки производства.

Все запомнил, что говорил Гугель. Обязательно напишу о нем. Что бы там ни говорили, в чем бы Гугель ни был виноват, он неотделим от Магнитки, немало вложил в нее своих трудов.

Сижу на своем танк-паровозе, скучаю в ожидании плавки. В поле моего зрения появляется высоченный, широкоплечий человек. Подходит к паровозу и, глядя на меня, ни с того ни с сего улыбается. Кто такой? На нем длинное расстегнутое пальто. Пепельного цвета гимнастерка перехвачена широким ремнем. Брюки заправлены в сапоги.

— Здравствуйте. Вы, если не ошибаюсь, машинист Авдеенко? Автор книги «Я люблю»?

Я киваю и жду, что будет дальше.

Говорит он по-русски правильно, без всякого акцента, но не похож на русского. Лицо смуглое. Нос с небольшой горбинкой. Глаза продолговатого разреза, темные, с антрацитовым блеском.

— Здравствуйте! — еще раз, с подчеркнутой приветливостью сказал незнакомец и легко и быстро поднялся ко мне на паровоз, протянул руку. — Очень рад познакомиться. Вашу книжку я прочитал еще в Москве. Хорошая повесть.

Отмалчиваюсь и теперь. Кто он? Неужели и в самом деле

разыскал меня только для того, чтобы познакомиться?

Смотрит на меня с радостным любопытством, как на писаную торбу. Голова чуть склонена к правому плечу. Глаза слегка косят, как у Катюши Масловой из «Воскресения». Очень симпатичный взгляд, привлекательный.

Первый раз в жизни вижу этого великана, не знаю, кто он, инженер, хозяйственник, журналист или партработник, но чувствуется, что занимает пост на ответственном участке.

— Сколько вам лет? — спрашивает незнакомец.

— Двадцать шестой пошел.

— Только и всего?

— Разве это мало?

Горький при встрече тоже удивился моему возрасту.

Незнакомец будто понял ход моих мыслей.

— Скажите, сильно изменилась рукопись после того, как ее отредактировал Горький?

— Совсем не изменилась.

— Неужели Горький не сделал никаких замечаний?

— Сделал. Но совсем немного.

— А где рукопись теперь?

К счастью, оказалась в моих руках. Как ни старались работники альманаха «Год XVI» зажилить, я все-таки оставил ее у себя. Говорю об этом незнакомцу.

— Прекрасно! Я к вам заеду и посмотрю рукопись. Можно?

— Вы меня знаете, а я вас — нет. Не пора ли познакомиться?

Он засмеялся и опять протянул свою ручищу.

— Пора! Я Бесо Ломинадзе, секретарь горкома и парторг ЦК на Магнитке.

Бесо Ломинадзе? Знакомый незнакомец. Назначен сюда совсем недавно. Но я много слышал о нем. Знаю его биографию. Член подпольного партийного комитета в Баку. Работал там в самом пекле контрреволюции. Пробивался сквозь фронтовой огонь в красный Дагестан, чтобы встретиться с посланником Ленина Микояном. Много раз видел Ленина, разговаривал с ним. Избирался секретарем ЦК КП(б) Грузии. Работал секретарем Исполкома Коммунистического Интернационала молодежи. Был первым секретарем Закавказского крайкома. Членом ЦК. За выступление на Пленуме ЦК в тридцатом году был выведен из ЦК. Но доверия, видно, не потерял. Прислан на Магнитку парторгом ЦК.

До чего же вовремя появился на моем пути этот

симпатичный грузин-великан. Вот с кем можно посоветоваться. Вот кто может помочь.

— Ну как, молодой писатель, вам работается? — спрашивает Ломинадзе.

— Хорошо! — против воли сорвалось у меня привычное слово. Собирался одно сказать, а выпалил другое.

— Хорошо?.. А я был уверен, что вам сейчас очень и очень трудно.

— Почему трудно? — спрашиваю я с деланным изумлением. Противно притворяться, но все-таки притворяюсь. Зачем разыгрываю из себя недотепу? Привычка, нажитая еще с детских времен.

Ломинадзе не догадывается, в какой тупик я сам себя загнал. Или делает вид, что не догадывается.

— Всем писателям трудно писать вторую книжку. А может, вы исключение, а?

И я взял да и сознался напрямик, без всяких вступительных оговорок, во всем, что переживаю.

— Да, верно, мне сейчас очень и очень трудно. Не могу работать на паровозе, как прежде. Хочу и не могу. Но и писать тоже не могу как следует. Надо сосредоточиться на чем-нибудь одном. Известное дело, за двумя зайцами погонишься...

— Хотите стать вольным художником? Правильно я понял вас?

— Я не собираюсь совсем бросать паровоз. Временно, на какие-нибудь полгода. Пока доведу до конца новую работу.

— Рано вам и очень опасно профессионализироваться. Не следует порывать естественных связей с заводом. Надо как можно больше накопить жизненных впечатлений. И что же сейчас вы пишете?

— Роман о Магнитке.

— Вот как!

— Почему вы удивились?

— О чем же роман, о каком времени?

— О рождении Магнитки. О людях, стоящих у ее колыбели.

Ломинадзе поскущел. Почему?

— Котомку Микулы Селяниновича хотите оторвать от земли?

— Думаете, не одолею? — спросил я.

— Писавшие о Магнитке литераторы не сумели понять истинных ее проблем. Крепкий это орешек. Хорошим начальником строительства до поры до времени был Яков

Семенович Гугель, а потом заспотыкался. Перед моим отъездом сюда мы с товарищем Серго долго толковали о Магнитке. Построили великолепные, по последнему слову техники, домны и мартены, прокатные станы и коксовые печи. Таких и в Америке не найдешь. Но не позаботились о кадрах, о том, кто будет работать на новейших агрегатах. Понадеялись на старых, демидовской закваски, сталеваров, горновых и прокатчиков да на южан, донецких рабочих. Не подготовились к освоению завода. Были уверены: нет таких крепостей, которые мы не могли бы взять с ходу. Не взяли! Каждый день в цехах аварии. Выходят из строя дорогие, сложнейшие машины. Бывший крестьянин не умеет обращаться с машиной. Вот вам о чем надо сейчас писать. Надо полным голосом сказать правду. В силах вы это сделать?

На другой день, в субботу, после обеда в дверь моей комнатухи настойчиво постучали. Отрываюсь от недописанной страницы. Кого принесла нелегкая?

— Да, да! — кричу я недобрим голосом. — Входите!

На пороге — Бесо Ломинадзе. Пригибая в дверях голову, входит. В руках — две толстые книги в старинных переплетах.

— Тяжелющие!.. Теперь эти кирпичи — ваша собственность. Божественный Монтень. Увлечение моей молодости.

Монтень? Кто такой? Чем и когда прославился?

— Флобер считал, что писатель, не знающий Монтеня, не имеет права писать. Серго зачитывался Монтенем в казематах Шлиссельбургской крепости. Толстой включил Монтеня в «Круг чтения».

Спохватился, вспомнил, зачем разыскал меня в соцгороде.

— Где же рукопись? Дайте взглянуть на нее.

Достаю из стола пачку серой грубой бумаги, показываю страницы, на которых Горький ставил след своего синего карандаша.

Медленно перелистывает рукопись, закрывает папку.

— Хотите поехать со мной в горы, на Банное озеро?

Еще спрашивает! Едем!

Бесо Ломинадзе — настоящий партийный руководитель. Чувствует себя как рыба в воде на литейном дворе

домны, на трибуне, за столом президиума, за шахматной доской в клубе ИТР. Одинаково приветлив в разговорах с подручным горного, малограмотным пареньком, вчерашним деревенским пахарем, и со знаменитым Свицыным, китом русской металлургии. Вот человек! Таких я еще не встречал. Даже не верится, что в тридцатом году он в чем-то загибал. Верный и преданный большевик. Не будь это так, его бы не прислали к нам парторгом ЦК. Говорят, и сам Сталин простил Бесо ошибки и, как в старое время, любит его.

Меня постоянно тянет к Бесо, стараюсь быть там, где бывает и он. Чаще всего по вечерам его можно найти на пятом участке, в нашем не ахти каком просторном клубе ИТР, на втором этаже, в продыmlенной комнате шахматной секции. Он беспрестанно курит. Коробка «Казбека» лежит под рукой справа. Тут же, на шахматном столике, стакан с чаем. Бесо сидит, подперев рукой голову, и, кроме шахмат, ничего не видит.

С Бесо Ломинадзе мы говорили обо всем на свете. Он рассказывал о своих встречах с Лениным. Играли в шахматы, в карты. Пили доброе грузинское вино. Я читал ему главу из нового романа. Обсуждали только что вышедшие книги. Он хорошо знал поэзию. Напечатал в «Литературной газете» статьи о поэзии и о «Дне втором» Эренбурга.

Ничто ему не чуждо. Как-то вечером в Березках, в его доме, мы затеяли борьбу. Неравная схватка: он — гигант двухметрового роста, а я — на голову ниже, но моложе. Дорого обошлась наша возня хозяйке Нине Александровне: разбили немало посуды, свалили на пол зеркальный шкаф. Потери понес и я: лопнул командирский ремень добротной кожи, изорвана гимнастерка. Бесо сейчас же отдал мне свой ремень, тоже командирский.

Однажды зашла речь о Сталине. Вот что Бесо рассказал:

— Мои отношения со Сталиным были сложными. Со стороны, вероятно, казалось, что я пользуюсь абсолютным доверием Сталина. И были основания так думать. На пост первого секретаря Закавказского крайкома я был им рекомендован. Во всех делах отчитывался перед ним. Много раз встречался, и никогда он меня не прорабатывал ни при людях, ни один на один. Доброжелательно встречал и провожал. И все-таки каждый раз внутренний голос подсказывал мне, что в наших отношениях не все гладко. Иногда он как-то неприязненно оглядывал меня с ног до

головы. И тогда мне казалось, что ему не по душе мой рост. Бесо «Ломинадзе обыкновенный человек, а вымахал в два метра, а он, вождь,— низкорослый, тощенький. У Бесо густые волосы, чистое смуглое лицо, а у вождя — тонзура и оспины. Бесо Ломинадзе говорит по-русски лучше иного русского, а он, вождь русского и других народов, не может преодолеть сильного кавказского акцента. Я чувствовал: он доверяет Бесо, но от и до. Любит, но и опасается: как бы соратник не обернулся противником. И чутье не обмануло меня. В тридцатом на Пленуме ЦК, когда обсуждались внешнеполитические дела, я выступил с речью, которая не полностью совпадала с позицией Сталина. Это ему очень и очень не понравилось. Не по душе пришлось и речь другого члена ЦК, Сырцова, председателя Совнаркома РСФСР. Сырцов позволил себе покритиковать кое-какие наши мероприятия в области внутренней политики. Обоим досталось. Сталин окрестил наши выступления как право-левацкий блок Сырцова — Ломинадзе и навязал Пленуму соответствующую резолюцию. Сырцова сняли с поста председателя Совнаркома и вывели из ЦК, и я был выведен из ЦК, перестал быть первым секретарем Закавказского крайкома. Перевели в Москву, назначили парторгом моторостроительного завода. Три года работал. Друзья сообщили по секрету, что Сталин сменил гнев на милость, готов простить мои «прегрешения», если я покаюсь. «Не в чем мне каяться!» — вспылил я. Снова и снова уговаривали покаяться, хотя бы для вида. И я, знаете, пошел на сделку с совестью, согласился. Принял меня Сталин глубокой ночью, почти на рассвете. Часа два заставил ждать в приемной. Когда я вошел, он сидел за большим зеленым столом, в его торце, и что-то писал. Не взглянул, не поднял головы. Я обозлился. Как можно так обращаться с человеком, унижать его?! Я стоял у порога и думал о том, что сейчас повернусь и уйду от него навсегда. Не успел. Он поднял голову, сделал неопределенный жест: проходи, мол, чего стоишь. Я подошел, поздоровался. Он не ответил на приветствие даже кивком головы. Усмехнулся, жестко, высокомерно произнес: «С чем пришел, умник? Говори!» Я опять испытал соблазн уйти. Сдержался. «Чего же ты молчишь? Неужели за три года не выучил, что положено говорить в подобных случаях?» И я заговорил. Стоял, прямо, в упор, смотрел на него и говорил. В самом кратком виде повторил все, что говорил три года назад на Пленуме. Он швырнул в меня черной курительной трубкой, выругался

по-грузински... С того дня я ждал кары, но... состоялось решение о назначении парторгом ЦК на Магнитку. Серго выручил.

Непривычно мне было слышать такие слова о Сталине.

Благодаря тому, что великие называли «божественной беседой с самим собой», я могу в любое мгновение предстать перед Алексеем Максимовичем Горьким, рассказать ему о своем житье-бытье и попросить доброго совета:

— Трудно работать на паровозе и писать. Раздваиваюсь. Очень мало времени остается для работы над романом.

Ждал, что разгневется. Но он сочувственно молчит. А потом сочувствует и словом:

— А почему бы вам не расстаться временно с паровозом, не взять длительный отпуск? Работа над книгой требует свободного времени и сосредоточенности.

— Ломинадзе отговаривает меня от того, чтобы я бросал «Двадцатку».

— Хотите, я напишу ему письмо, уговорю дать вам отпуск?

— Хочу, Алексей Максимович. Напишите! — чуть не закричал я.

Горький опускает со лба очки, подвигает к себе стопку линованой бумаги и что-то медленно, старательно пишет.

Тем и хороша «божественная беседа с самим собой», что можно казнить себя и миловать, и просвещать, и возвышать.

В один прекрасный день меня обжигает прекрасная мысль: превратить заочный горьковский университет в очный. Вкладываю в большой конверт страниц двадцать бумаги, на которых запечатлены «божественные беседы», и отправляю в Москву, на Малую Никитскую. Пусть посмеется Алексей Максимович над моей писаниной. А может, и не посмеется? Может, внимательно, серьезно прочтет и захочет высказаться?

Ура! Не посмеялся. Прислал письмо на имя Ломинадзе. Вот оно:

«Дорогой т. Ломинадзе —

Убедительно прошу Вас дать Авдеенко отпуск до августа. Отпуск необходим для того, чтоб Авдеенко мог основательно проработать и кончить начатый им роман. Я совершенно уверен в серьезнейшей революционно-культурной

значительности его работы, и нужно, чтоб он, Авдеенко, получил свободное время для нее.

Привет. М. Горький
20 IV 34 г.»

Пишу с самого раннего утра. Пожую что-нибудь, выпью чашку чая — и снова пишу. Сбегаю вниз, на тринадцатый участок, в горкомовскую столовую, пообедаю — и опять приковываю себя к столу. Весь день-деньской кропаю, до синих сумерек. Ложусь рано, встаю с рассветом и вкалываю.

Перечитал свою писанину — и приуныл. Пресно, скучно.

Прошло несколько дней. Еще раз прочитал — вроде бы неплохо. Выходит, надо не рубить с плеча то, что вчера сделал. Не спешить отказываться от самого себя. Работать! Работать! Работать!

За две недели не написал ни единой строчки. Только читал — Стендаля, Тургенева, Монтескье, Толстого, Шекспира, Чехова. Боже мой, как я мог жить, не зная о существовании таких чеховских шедевров, как «Художество», «Гусев», «Студент», «Скрипка Ротшильда», «Степь».

Нежданное-негаданное постановление правительства. Наш необъятный Урал, раскинувшийся по ту и эту сторону Уральского хребта далеко на полярный север и глубоко на юг, до казахстанских степей, разделяется на ряд областей: Свердловскую, Челябинскую, Пермскую, Тюменскую и Курганскую. Магнитка отходит к Челябинской.

Эта важная новость коснулась и нас с Борисом Ручьевым. Молодых писателей вызвал к себе секретарь Свердловского обкома Иван Дмитриевич Кабаков и уговорил переселиться в Свердловск. И стали мы с Борисом жить в прекрасном сосновом лесу на берегу озера Шарташ. Иван Дмитриевич отдал нам свою бывшую дачу. Неплохо я устроился, но тоскую по Бесо Ломинадзе. Осиротела без него душа.

В трудах пролетели июнь, июль, настал август, работа над романом близится к концу, но я должен ее отложить на несколько дней. И делаю это с легким сердцем, так как предстоит поездка в Москву, на Первый съезд писателей.

Две недели продолжался писательский праздник. Вся страна праздновала. Москвичи осаждают Колонный зал Дома союзов. Все газеты печатают доклад Горького, выступления писателей.

Выступил и я. Говорил далеко не гладко. Очень волновался — не догадался написать речь заранее. Ничего, обошлось. Встречался с Горьким. Прямо там же, в Колонном зале, во время заседания, в президиуме съезда. Подсел к нему, поговорил. Алексей Максимович поинтересовался, как идет работа над романом.

— Как только закончите, тащите рукопись мне. Жду с нетерпением. Если не застанете в Москве, приезжайте в Крым, в Тессели.

Вот человек! Совсем недавно умер его единственный любимый сын. Как он мужественно держится!

Во время перерыва уральская делегация вместе с москвичами была на заводе «Динамо». Заглянули и к автомобилестроителям. Встречал нас Иван Алексеевич Лихачев. Чем-то он похож на Гугеля. Из одного гнезда вылетели. Оба из рабочих.

Были мы и под Москвой — в буквальном смысле этого слова. Совершали экскурсию по будущей трассе метро. Выступали перед метростроевцами.

Кончился наш съезд тоже празднично. Всю ночь пировали писатели в Колонном зале. Возвращались в гостиницу по пустынной предрассветной Москве. В тот же день уехали на Урал.

Вернулся в Шарташ и засел за работу. Тихо, безлюдно стало в лесу и на озере. Я остался в одиночестве в огромной даче. Рано утром бродил по березовым рощам, по ельнику. После завтрака садился за рабочий стол и вставал из-за него только вечером. Тут, в Шарташе, застали меня и первые морозы.

Середина октября. Дописана и перепечатана последняя страница. Громадная, толщиной в два кирпича, рукопись «Столицы» лежит на столе. Толщина ее объясняется просто: во всем городе не нашлось обыкновенной писчей бумаги, и роман пришлось напечатать на обратной стороне географической карты Урала, забракованной и пущенной в потребительский обиход.

Положил рукопись в чемодан, купил билет и поехал в Крым, в Тессели, куда меня приглашал Горький. Поехал, не предупредив ни телеграммой, ни письмом, на свой

страх и риск. Я точно не знал, где именно находится Тессели, поэтому поехал вначале в Ялту, надеясь там выяснить.

Поселился в малолюдной гостинице «Ореанда», в номере с балконом, выходящим на бульвар и море. После уральских затяжных дождей, после первых морозов был ошеломлен и деревьями, по-летнему зелеными и пышными, и теплым морем, в котором еще купались, и высоким южным небом, густо засеянным ясными крупными звездами, и свежим, ароматным крымским воздухом. Весь вечер бродил вдоль моря, сидел на берегу, думал, мечтал о встрече с Горьким и не боялся никакого приговора.

Утром на городском почтамте заказал телефонный разговор с Тессели. Тут же, без промедления, соединили. Ответил суровый мужской голос:

— Басов у телефона.

Вот теперь я растерялся. Кто такой Басов? Что ему сказать?

— Вас слушают,— кричал на другом конце провода какой-то Басов.— Вы куда звоните? Кто нужен?

Заикаясь, говорю, что звоню на дачу Горького. Называю себя, говорю, что хочу видеть Алексея Максимовича, что приехал с Урала с рукописью романа.

— Ничего не слышу. Погромче, пожалуйста!

Странно: я хорошо слышу Басова, каждое слово различаю, а мой голос до него не доходит. Не знал я тогда, что у Басова это обычный прием в разговоре с людьми, жаждущими встретиться с Горьким. Что он не вправе был сам решить, принять ли меня. Не знал и того, что Басов был комендантом важного государственного объекта, головой отвечающим за жизнь и покой великого писателя.

Еще и еще, срывая голос, кричу в трубку, кто я такой и зачем приехал.

— Не слышу,— твердит Басов.— Позвоните часа через три, когда исправят телефонную линию, или лучше — завтра.

Утром, не позавтракав, отправляюсь на почтамт. Соединяют с Тессели, как и вчера, мгновенно. Сегодня Басов отчетливо разбирает каждое мое слово. Как только назвал себя, сразу прерывает:

— Да, да. Все ясно. Я доложил Алексею Максимовичу о вашем приезде, и он сказал: «Милости просим!». Вы знаете, как найти нас? Доезжайте до Байдарских ворот, потом спускайтесь вниз и на ближайшем перекрестке, у Фороса, сверните вправо — и вы приедете, куда надо.

Когда упретесь в ворота, посигнальте, мы вас встретим. Если будут затруднения с машиной, мы пришлем свою. Ждем в любое время. Всего хорошего!

Я повесил трубку и готов пуститься в пляс. Горький ждет меня!

В гостинице заказываю машину. Подают длинный, открытый, с кожаными подушками, сияющий хромированными частями, с гончей собакой на радиаторе, заокеанский «линкольн». Бросаю на заднее сиденье чемодан, пальто, шапку, сажусь рядом с шофером.

Захотелось посмотреть на Ай-Петри. Поллюбоваться с вершин морем. Я спросил шофера, можно ли это сделать.

— Пожалуйста! Заплатите сверх заказа, сколько положено,— и все в порядке.

Едем!

Ялта отдаляется, снижается, уменьшается, а море разрастается. Только отсюда, с высоты, видишь, какое оно большое, бескрайнее и синее-синее, почти черное.

Шофер, дядя Коля, вопросительно смотрит на меня: не пора ли поворачивать назад? Нет. Дальше! Вперед! Выше!

Теперь, вглядываясь в золотую пору моей жизни, я могу сказать, что дорога от Ялты к Тессели, через крымские горы, была дорогой больших надежд, дорогой самого полного счастья. Вот поэтому, вероятно, я и не спешил к Горькому. Может быть, я смутно чувствовал, догадывался, что поднимаюсь на вершину жизни, куда еще раз мне не попасть.

Во второй половине дня, сделав огромную петлю по крымской земле, через Бахчисарай, Севастополь, Байдарские ворота я попал в Тессели.

Колючая проволока забора. По ту сторону проволоки, в кустах стоит красноармеец с винтовкой. Он настороженно смотрит на интуристовскую машину, на ее пассажира.

Хватаю чемодан и решительно направляюсь к воротам.

— Здесь живет Алексей Максимович Горький?

— А вы кто?

Говорю, кто я, откуда и почему попал сюда.

— Я доложу коменданту о вашем прибытии. Подождите.

Он скрылся в глубине парка. Дядя Коля развернулся, но на всякий случай не уезжает.

Минут через десять отмыкают ворота. Дядя Коля машет мне рукой.

Мы идем по тенистой, щебенчатой, утрамбованной дороге и скоро выходим на освещенную солнцем, густо

засыпанную морской галькой площадку, к большому, приземистому, в форме буквы «Г» дому. Он громадный и тихий, как будто пустой.

Меня вводят в белый флигелек, стоящий несколько в стороне от большого дома. Попадаю в какую-то канцелярию. Письменный стол у окна, в углу столик с телефонами. Графин с водой. Напротив стола диван с жестяной инвентарной биркой на проволочке. Два стула.

Из-за стола выходит светлоглазый человек в белой рубашке, сильно загорелый. Это и есть, как я догадываюсь, Басов.

После взаимных приветствий и расспросов, как я доехал и почему задержался, после неизбежного для таких случаев перекура Басов сообщает, что Горький сейчас отдыхает и что ему будет доложено о моем приезде потом, ближе к вечеру. Он ведет меня в заднюю комнату комендантского флигелька, показывает на солдатскую кровать и говорит:

— Располагайтесь, пожалуйста. Поживите пока здесь, а там видно будет.

В комнатушке прохладно, полутемно и по-казенному неуютно. Кроме узкой кровати, покрытой грубым солдатским одеялом, и табуретки, здесь ничего нет. Хочется удрать на свет, на свежий воздух.

Из моей комнатушки нельзя попасть на улицу, не пройдя через канцелярию коменданта. Увидев меня, Николай Васильевич удивленно восклицает:

— Уже отдохнули?

Я сажусь на диван, напротив Басова, и начинаю пытаться, как живет-поживает Алексей Максимович, как его здоровье, как он работает.

Басов охотно отвечает на все вопросы. Здоровье Алексея Максимовича неважное. Настроение тоже ниже среднего.

Спрашиваю: так, может, мне не беспокоить Горького, уехать?

— Поживите, подождите, пока Алексей Максимович наберется сил, воспрянет духом. Два дня назад он был мрачнее тучи, плохо ел и плохо спал. А вчера повеселел и даже гулять просился у Липы. Липа, Олимпиада,— это ангел-хранитель, домашний врач Горького с дипломом фельдшерицы. Сиделка, няня.

И дальше Басов рассказывает, что вместе с Горьким здесь и внучки Дарья и Марфа с воспитательницей, друг Алексея Максимовича Ракицкий, по домашнему прозвищу

Соловей, и художник Павел Корин с женой. День в доме начинается рано, с восьми утра. В девять все обитатели собираются в столовой. Завтракают и расходятся кто куда. Алексей Максимович обычно идет в свой кабинет и не показывается до самого обеда. После обеда отдыхает до пяти, до чая. Потом, если хорошо себя чувствует, отправляется в карьер рубить камень или гуляет в парке. Ужинает в семь.

Познакомив гостя с распорядком дня, Николай Васильевич особо предупреждает: вечером, выходя из дома, надо соблюдать осторожность, остерегаться. Я переспросил, чего именно должен остерегаться? Николай Васильевич объяснил: «Понимаете, сторожевые собачки вас могут покусать, если вы случайно, гуляя, наткнетесь на них». Предупреждение Басова я принял, что называется, к сведению. Ни в первый день, ни в последующие с наступлением темноты не покидал дома.

Пока Алексей Максимович отдыхает, я, в сопровождении Басова, отправляюсь в парк. Пологий скат, щедро обогреваемый солнцем, густо зарос редчайшими даже для Крыма, как объясняет мне Басов, деревьями. Спрашиваю Николая Васильевича, откуда он, как попал в Тессели. Басов не очень разговорчив, но все-таки кое-что рассказывает. Мастеровой. Солдат. Чекист.

Выглядит Басов очень моложаво. Не верится, что он вступил в партию за два года до первой русской революции. Старый большевик с молодым лицом.

От дома к морю, к бухте, ведет гравийная, хорошо утрамбованная тропинка. Бухта — самая тихая и теплая на южном побережье Крыма. Северный ветер, дующий с вершин Яйлы, сюда почти не доходит. Здесь не хуже, чем в Сорренто.

Николай Васильевич уходит по каким-то хозяйственным делам, а я остаюсь на берегу моря. Синее оно, мраморно гладкое, манит к себе. Впереди, слева, справа, куда ни посмотришь, — блеск горячего солнца, тишина, безлюдье. Один на один с морем. Проходит час, а я все ныряю, плаваю.

Возвращается Басов. Стоит наверху, на обрыве.

— Ну, как водичка, хороша? Вволю накупались или еще будете?.. Алексей Максимович спрашивал вас. Пойдемте.

Натягиваю на мокрое тело одежду и поднимаюсь наверх. Прежде чем идти в основной, большой дом, захожу во флигель, достаю из чемодана рукопись. Хочу показаться

на глаза Горькому со своим новым детищем. Как бы там ни было, пригоже оно или уродливо, а все-таки родилось. И не без прямой помощи Алексея Максимовича. Все время, пока работал, я чувствовал на себе его пристальный, теплый и добрый взгляд. Как же мне теперь не волноваться? То ли сделал, что ждет от меня Горький? Так ли? Не обманул ли его надежды? Не напрасно ли он вознес меня с трибуны Первого съезда писателей?

Перед дверью, ведущей в большой дом, останавливаюсь, чтобы перевести дыхание. Рукопись расползается во все стороны, вот-вот рассыплется по листочку. Прижимаю к груди, беру в охапку, иду вслед за Басовым. Стучимся в высокую дверь и попадаем в рабочий кабинет Горького.

Три венецианских окна кабинета обращены в прохладу парка. У глухой стены большой диван под полотняным чехлом. Каменная, отделанная мрамором ниша. Большой стол, заваленный рукописями и книгами, придвинут боком к четвертому окну, самому светлому, полному солнца, цветущих поздних роз и блеска моря. Все это я разглядел потом, когда несколько пришел в себя, освоился с обстановкой.

Даже в просторной и высокой комнате Горький кажется великаном. Сутулится, неуверенно держит голову, но все равно громадный. Он в темно-сером мешковатом пиджаке и синей полотняной рубашке. Стоит у края стола, слегка опираясь о него ладонью, и внимательно, тревожно-печальными глазами вглядывается в молодого писателя.

Прошло два месяца с тех пор, как я видел его в последний раз в Колонном зале на заключительном заседании учредительного съезда писателей, а как он сильно изменился. Шея высохла, истончилась, схвачена дряблыми и крупными складками. Лицо стало еще более серым, рыхлым, и глубже прорезались на нем старые, каменные морщины. Поредели и повисли усы. Доконал его съезд.

Он подает мне прохладную, вялую руку и глуховатым, неверным голосом говорит:

— Здравствуйте. Садитесь. Рассказывайте.

Смотрим друг на друга и молчим. Что же я могу рассказать? Все, что обдумал в дороге, все, что собирался поведать о себе, о рукописи, теперь кажется неинтересным. Великолепные розы цветут под окном, шумит на теплом ветру вечнозелеными своими кудрями ливанский кедр, сияет море, солнечные ливни падают с ясного неба, добрый дух струится из парка, от разомлевших деревьев, от

разогретой крымской земли, жизнерадостно перекликаются птицы, а Горький... Почему? Несправедливо! Хочется броситься к нему, обнять, просить, требовать, чтобы не поддавался болезням. Работал. Радовал, изумлял людей!

В моем взгляде, на моем лице, вероятно, написано, о чем я подумал, Алексей Максимович хмуро усмехнулся, резко вздернул подбородок и почти сердитым басом сказал:

— Ну, рассказывайте!.. Закончили? Что-то многовато получилось.

Он положил громадную ладонь на толстенную рукопись «Столицы», и глаза его, холодные, обесцвеченные усталостью и нездоровьем, чуть потеплели.

— Посмотрим, посмотрим!..

Почему я вывалил на стол эту грудку? Деликатный он, не отказывается. Отодвинет в сторону своего гениального «Клима Самгина» и примется за мою «Столицу». Не имеешь права на такое дорогое внимание. Да и не в праве дело. Не до меня сейчас Алексею Максимовичу. Он нуждается в тишине, в покое, в отдыхе.

— Что ж,— сказал Горький,— буду читать. Надеюсь, не оплошали.

— Не знаю, Алексей Максимович. Может быть, вам и читать не стоит.

— Стоит.

— Боюсь, Алексей Максимович, разочаровать вас.

— Я сам умею разочаровываться.

— Все-таки... Мне кажется...

Горький перебивает меня.

— Успокойтесь. Буду читать, а потом поговорим.

Придвинул поближе рукопись, раскрыл ее. Я тут же вышел из кабинета.

Басов ждал меня на веранде. Поднялся навстречу.

— Договорились?.. Алексей Максимович у нас стоворчивый.

В семь вечера Басов объявляет, что наступил час ужина, и приглашает меня в большой дом. Я порядком проголодался. Но не спешу к ужину. Страшновато. Впервые сяду на стол вместе с Горьким, в кругу его семьи и близких. Как надо держать себя? Что и как говорить? Или лучше всего молчать?

— Пора, дорогой товарищ! — торопит Басов.— Не принято у нас опаздывать.

Он провожает меня, кладет на мою спину руку и почти вталкивает в ярко освещенную огромную столовую. Он сейчас же исчезает, а я остаюсь.

— Добрый вечер!

Предо мною вырастает человек в сером твидовом пиджаке, неопределенных лет, с дряблым, морщинистым, без всяких следов растительности лицом и необыкновенно добрым взглядом. Это Соловей. Он любезно здоровается, легонько берет меня под руку, ведет к большому, чуть ли не во всю комнату, столу, отодвигает самый крайний, тяжелый стул.

— Пожалуйста, располагайтесь, милости просим! Это будет, если не возражаете, ваше постоянное место.

Боюсь пошевелиться. Не смею ни на кого взглянуть. Щеки, лоб, чувствую, стали красными. Ну и ну! Вчера я, полный гордой независимости и достоинства, прямо-таки по-княжески пировал в роскошном зале «Ореанды», а сегодня...

— Вы крепкий чай любите или слабый?

Кто-то мягко, осторожно трогает мой локоть.

— Извините! Вас спрашивают.

Поднимаю голову. Смуглолицый, черный, худощавый, в черной косоворотке человек выжидательно смотрит на меня.

— Чай вам предлагают.

Стол, за которым я сижу, громадный, не меньше бильярдного. Он накрыт белоснежным хрустящим парусом, заставлен сверкающей посудой, ломится от блюд с чем-то жареным и пареным, печеным и вареным. Белый хлеб. Пирог. Пирожные. Бруски сыра. Вазы с яблоками, грушами, виноградом. Шумит и отливает золотом большой самовар.

Напротив меня у края стола сидит Алексей Максимович. Сейчас он не похож на того строгого портретного Горького, которого я недавно, днем, видел за рабочим столом, над «Климом Самгиным». Тихий, уютный дедушка. Рядом, по правую руку, — внучки Марфа и Дарья.

Коренастая, плотная, с пухлыми щеками женщина, сидящая у самовара, одну руку кладет на литой медный кран, другой подставляет стакан. При этом она не спускает с меня живых, по-матерински ласковых глаз и, наверное, в третий раз спрашивает:

— Вам крепкий или... пожиже? Какой вы любите чай?

Конечно ж, это Липа, Олимпиада.

Говорю, что мне все равно, какой пить чай, слабый или крепкий.

Алексея Максимовича почему-то заинтересовали мои слова. С удивлением смотрит на меня.

— Вы до сих пор не знаете, что такое чай? Хорошо! Жить долго будете, все сто лет. Не то что мы, окаянные чаевники. Я еще мальчишкой вкусил этой душистой отравы. Чем она гуще, крепче, ядовитее для сердца, тем желаннее. Н-да, его высокоцтво, чай!

И вдруг начинает рассказывать, когда, где и как люди открыли чудодейственную силу чайного листа, как культивировали, как он попал в Россию и как не сразу, но зато прочно завоевал всеобщую любовь.

Говорил Алексей Максимович медленно, веско, подбирая слова, прислушиваясь к себе, будто восстанавливая в памяти давно пережитое, полузабытое. Слушаю басистое вкусное оканье нижегородского волжанина и ясно вижу его живущим много сот лет назад, где-то в теплых горах Индии, Индокитая, на Цейлоне.

Я постепенно осваиваюсь, надежнее оседлал стул. Не опускаю голову. Уверенно держу в руках вилку и нож. Ем и пью все, что дают. Все вижу и слышу.

Слева, около двери, в которую я вошел, монументально стоит дубовый, в несколько этажей, с тяжелыми дверцами буфет. Около него хлопочут три девушки в белых накрахмаленных передниках и наколках, обутые в мягкие, на войлочных подошвах, туфельки. Тихие и приветливые, одна другой краше, они исчезают с ворохом посуды и вновь появляются с дымящимися, только с огня, блюдами. Меняют приборы и снова исчезают.

Справа от меня, на моей стороне стола сидят Соловей и смуглый человек в черной косоворотке, который только что подходил ко мне. Из разговора я понимаю, что это художник Корин.

На другой стороне стола щебечут чуть курносенькие, скуластые, лобастые, удивительно похожие на деда девушки — Марфа и Дарья. Алексей Максимович молча, задумчиво смотрит на внучек и медленно, малыми глотками пьет вино.

Поужинав, он сразу начал дымить. Курит, как всегда, одни и те же сигареты: длинные и тонкие, необыкновенно душистые, египетские.

Сразу после ужина Марфа и Дарья и их воспитательница исчезли из столовой. Девушки в наколках и фартуках быстро и бесшумно убрали со стола посуду, поменяли скатерть, унесли остывший самовар.

В углу, у окна с видом на море, на особой подставке красуется маленький, изящно отделанный готический охотничий замок: остроконечные башенки, шпили, зарешеченные балконы, окованные черным железом ворота. Это, как выясняется, радиоприемник. Кто-то включает его.

Художник Корин сел в сторонке, так, чтобы хорошо был виден Горький, раскрыл альбом, перебирает карандаши.

Соловей и Липа погасили верхний свет, включили настольную лампу под громадным абажуром, выложили на стол две колоды новеньких карт. Алексей Максимович вооружился очками, зажег очередную сигарету, и началась игра в так называемую «тетку». Много знаю карточных игр, но эта незнакома. Внимательно присматриваюсь. Играют молча, вдумчиво, с удовольствием. Увлечен и Алексей Максимович. Но скоро азарт его проходит. Снова посерело, осунулось лицо, потух живой огонек в глазах. Очки сдвинулись на самый кончик носа, вот-вот упадут — не поправляет их Алексей Максимович. Длинные руки с тяжелыми кистями выложены на стол. Усталые и печальные глаза незряче смотрят на карты.

Вот когда доходит до меня смысл нехитрой игры в «тетку». Это, как видно, верный способ дать возможность Горькому отдохнуть после работы, отвлечь его от тяжких мыслей.

На столе вновь замелькали карты.

Я потихоньку, за спиной у Горького, на цыпочках, перехожу в полутемный угол комнаты, сажусь около радиоприемника, осторожно действую рычажком. Неожиданно наскакиваю на бравурный марш.

Алексей Максимович внимательно посмотрел в мой угол и ничего не сказал. Соловей же бросил карты, поднялся, подошел ко мне и шепотом попросил приглушить музыку.

— Не любим мы, — сказал он, — грома труб и барабанов.

Часов в десять игра в карты прекратилась. Алексей Максимович поднялся, накинул на плечи пиджак, висевший на спинке стула, опустил в карман коробку сигарет и, сутулясь, шаркая мягкими туфлями о паркетный пол, медленно, в сопровождении Липы, удалился к себе.

Ушел и я. Николай Васильевич встретил меня у подъезда и проводил в комендантский флигелек.

Утром Басов объявил, что меня переводят в большой дом, на половину гостей.

Поселили в правом крыле, в новой пристройке. Комната просторная, светлая, хорошо обставленная, с выходом в широкий и длинный коридор, покрытый ковровой дорожкой.

Так началась моя жизнь в Тессели.

В девять утра собираемся в столовой, к завтраку. Алексей Максимович молча входит из своей половины, молча кивает, молча щекочет усами щечки внушек, молча пьет свой чай и так же молча уходит. И лишь после этого те, кто остается в столовой, начинают беседовать.

Обед начинается ровно в два часа дня. Опять мертвое молчание. Для домашних Горького оно, видимо, привычно, меня же угнетает.

После длительного отдыха, после пяти часов Алексей Максимович выходит в столовую к чаю и спрашивает меня:

— Лом в руках когда-нибудь держали?

— Приходилось.

— Вот и хорошо. Пойдем в карьер камень добывать. Вы должны отработать затраченные на вас харчи,— шутит Горький.— Таков у нас обычай.

Прямо из столовой направляемся в карьер: Алексей Максимович, Соловей и я. Соловей несет темно-серый макинтош Горького. Идем к воротам, к выходу из парка. Алексей Максимович идет медленно, постукивая палкой о тропинку, часто останавливается, тяжело и шумно дышит. В очередной раз остановившись, опираясь руками о палку, он взглянул на Соловьями сказал:

— Прочитал я письмо...— Он назвал фамилию, которую я как следует не расслышал.— Плохо ему живется. Просит денег. Надо немедленно послать. Телеграфом. Завтра же.

— Хорошо, Алексей Максимович, пошлю. Сколько?

— Ну, а как вы думаете?

Соловей пожал толстыми бабьими плечами, и его морщинистое бабье лицо стало виноватым.

Горький нахмурился и пошел дальше. Палка его часто и отрывисто, как у слепца, отсчитывала шаги. Спина по-стариковски сутулилась. Голова, накрытая черной, с широкими полями шляпой, низко опущена. Шел Горький, раздумывая, казалось мне, как сразу, капитально выручить человека из беды, поставить на твердые ноги. Проситель, как я понял, был когда-то в очень близких отношениях с

Горьким. И просьбе его он весьма и весьма сочувствует.

Соловей вопросительно, с тревогой поглядывает на Горького. Ждет указаний, на какую сумму следует раскошелиться. Прижимистый секретарь, нелегко расстается даже с чужими деньгами. Больше, чем на тыщу рубликов, не расщедрится.

Горький прошел, погруженный в раздумья, шагов пятьдесят. Остановился, повернулся к Соловью, положил громадные ладони на рукоять палки и внушительно, веско сказал:

— Пошлите ему... сто рублей!

Слово «сто» он произнес так, словно «тысяча». Почему? Не знает цену деньгам?

Выходим за ворота. Здесь к нам присоединяется комендант Басов и еще шоферы газика и американского лимузина. Машины зачем-то стоят тут же, у ворот. Целая экспедиция! С заступами, ломиками и кувалдами по узкой горной дороге направляемся вверх, к скалам. Идем медленно, долго, приноравливаясь к шагам Алексея Максимовича: он часто останавливается, отдыхает.

Приходим в маленький каменный карьер. Небольшая скала, вдоль и поперек покрытая трещинами, слоистая, выветренная, уже наполовину разработанная. Сюда почти каждый день, после чая, выполняя предписание врачей, приходит Горький добывать камень.

Вот как это происходит. Я вооружился увесистым ломом. Басов взял кувалду. В руках у шоферов тяжелые заступы. Поглядываем на Горького, ждем указаний. Осторожно передвигаясь по вершине скалы, срезанной уже больше чем наполовину, Алексей Максимович острым наконечником палки дотрагивается до трещины и азартно командует:

— Давай, круши!

Я вонзил острие стального лома в указанное место. Сюда же врубаются заступы шоферов. Откалывается громадная глыба. Николай Васильевич взмахивает кувалдой. Камни с грохотом, под одобрительные возгласы нашего прораба, летят вниз.

В молодости Горький, видимо, ловко действовал ломом и заступом. И хорошо знает, как с наименьшей затратой сил разбивать выветрившуюся скалу. Он точно указывает нам, куда нанести удар, чтобы камень быстро распался.

Вот так и работаем: Горький прикасается дирижерской палочкой к скале, а мы, охая и потя, раскалываем ее в

восемь рук ломом, кувалдой и заступами. Все работают, кроме Соловья. Он слишком вял, чтобы махать заступом. Неотступно следует за Алексеем Максимовичем. Когда тот особенно увлекается, встревоженно просит:

— Отдохните, Алексей Максимович!

Прораб отдыхает, а мы вкалываем.

Только разогрелись, только вошли во вкус работы, как Соловей объявил:

— Шабаш, господа.

Так и сказал: «господа». Оговорился? Забыл, в какой стране, среди каких людей находится? Пошутил? Не знаю. Он из каких-то «бывших». Эмигрировал после революции и вернулся спустя много лет. Не видать бы ему Родины, если бы не Алексей Максимович.

Соловей бережно набрасывает на плечи Горького макинтош. Шоферы подают в гору, задом, к границе карьера машины. Горький садится в лимузин. Мы рассаживаемся в газике и направляемся к дому. Минуты через две мы у подъезда.

Алексей Максимович, в сопровождении Липы и Соловья, скрывается на своей половине. А я иду к себе и записываю в тетрадь события дня. Потом отправляюсь в парк и дальше, к морю.

Ровно в семь все вновь собираются за общим столом. Алексей Максимович хорошо себя чувствует. Наверное, повлияла удачная работа в карьере. Шутит с Дарьей и Марфой. Весело спрашивает у румяных девушек в белых фартучках, чем сегодня будут кормить. Вина пьет больше, чем вчера.

После ужина — игра в неизменную «тетку». Но сегодня она почему-то не ладится, к моему удовольствию.

Алексей Максимович кладет карты на стол и говорит, тяжело вздыхая:

— Эх, Федор, Федор!.. Жалуются, говорят, на нестерпимую тоску по родине. Все якобы готов бросить и полететь в Россию.

Горький опять вздыхает и разгоняет тучу дыма, стоящую над столом.

— Да, может быть, и бросил бы, полетел, если бы не дражайшая супруга. Помню, еще пять лет назад, в Риме, в моем присутствии заявила, что он может вернуться в Россию только через ее труп. А труп — во какой.— Горький широко раскинул руки.— Даже Федору Ивановичу не переступить.

Алексей Максимович долго молчит, глядя на маленький

костер, который он разложил в пепельнице. И мы все молчим. Ждем, что еще скажет.

Весь вечер говорил только о Шаляпине. Неторопливо, с грустной улыбкой, тихо тлеющей в усах, вспоминал летние вечера, проведенные с Шаляпиным в какой-то дачной местности. Большим мастером на всякого рода проделки и озорство был Федор Иванович. Как-то раздобыл ходули, вздыбился на них, напялил на себя простыню, взял в руку косу и пошел по ночной улице. Представляете, каков он был на ходулях? Идет по деревянному тротуару, стучит деревом, грохочет басом. Людей пугает. Вот в таком виде он и появился перед распахнутыми окнами веранды, на которой сидела компания его друзей и знакомых. Дамы с ума чуть не сошли. Да что там дамы! И кавалеры завопили от ужаса, когда увидели гиганта в белом саване с косой в руках.

А в другой раз, в другом месте Шаляпин пробрался под дачу, в которой жил его приятель, и начал оттуда, из подполья, с того света вопрошать:

— Ну как, Ваня, поживаешь на грешней земле? Ко мне, в ад, еще не собираешься? Давай, торопись!

Ваня закричал «караул» и навсегда покинул любимую дачу. Затаив дух, слушаю Горького.

За все время, пока я жил в Тессели, только в этот вечер, вспомнив Шаляпина, Горький был веселым и разговорчивым.

Нет, был еще один эпизод. Из Москвы с оказией пришла посылка. Надежда Алексеевна, невестка Горького, и Петр Петрович Крючков прислали холстинковые синие рубашки, которые по какой-то причине были забыты при отъезде из Москвы. Посылку распаковали при мне, и я видел, с какой радостью Алексей Максимович поглаживал свои любимые, порядком изношенные рубашки. Привык к ним, других не переносил.

В двенадцать дня в моей комнате неожиданно появляется Соловей.

— Алексей Максимович прочитал вашу рукопись. Хочет поговорить. Приглашает.

На ватных ногах, с сердцем, готовым разорваться от страха, вхожу в кабинет.

Алексей Максимович кивает на стул. Сажусь, ни жив ни мертв. Совершенно отчетливо понимаю: от того, что он скажет, зависит моя жизнь.

Горький не спешит. Медленно перелистывает рукопись, возвращается назад. Опять перелистывает. Наконец находит нужную страницу, медленно, внятно читает ее вслух и подвергает жесточайшей критике.

Я начинаю лихорадочно записывать все, что он говорит. Заполняю одну страницу, другую, третью. Горький почему-то умолкает, хмуро смотрит на меня. В чем дело? Я не понимаю, чем вызвано его недовольство.

Он кивает на стопку бумаги, лежащую передо мной. Серdito спрашивает:

— Почему вы так пишете?

— Как? — Внутри все холодеет.— Я записываю ваши... ваши замечания, советы...

— Я не об этом. Почему только на одной стороне листа пишете? В стране голод на бумагу, а вы...

Мгновенно отлегло от сердца. Невелика беда. Перевожу дыхание и охотно выполняю указание Горького. Отныне и вовеки буду относиться к бумаге по-горьковски.

Говорит Алексей Максимович час, говорит другой, и все о недостатках. Судя по его критическим замечаниям, рукопись он прочел внимательно, терпеливо, отлично помнит каждое действующее лицо.

Слушаю Горького, записываю и уныло думаю: не получился роман о Магнитке, о ее строителях. Так и должно было быть. Не мог я, вчерашний ударник, призванный в литературу, одержать победу там, где требуется большое, испытанное мастерство. Первая книга удалась потому, что написана по мотивам собственной биографии. Эта же, новая,— не о себе, не от себя. Отсюда промахи, недоделки, наивности, скороговорка.

Хорошо еще, думал я, что не выпускал рукопись из рук, не показывал ни журналу, ни издательству.

— Вот и все мои придирки,— говорит Алексей Максимович все тем же голосом сурового критика.— Хорошую книгу вы написали. Материал дьявольски трудный. И все-таки справились. Это своеобразная история пятилетки. Крестьянин Максим Недоля был бессовестным собственником — стал ударником, гордостью Магнитки. Это, знаете, такая дистанция — не измеришь ее никакой старой меркой. Хорошо! Поздравляю!

Я потрясен. Верю и не верю тому, что слышу. Дрожат руки. Дрожит лицо. Дрожит душа. Широко открытыми глазами смотрю на Горького и ничего не могу сказать. А надо бы.

Горький выходит из-за стола, кладет мне на плечо руку. Я бросаюсь к нему, обнимаю. Алексей Максимович тоже обнимает, что-то говорит.

На другой день, прощаясь с Алексеем Максимовичем, я спросил, где печатать роман. Он пренебрежительно махнул рукой.

— Пусть вас это не беспокоит. Напечатает любой журнал, любое издательство. Главное, довести работу до конца, преодолеть недостатки. Не жалейте себя. Не теряйте ни одного дня. Работайте в полную мощь. Соревнуйтесь с товарищами. Оттачивайте талант. Будьте честолюбивым. Честолюбие не надо путать с тщеславием.

Покинул я Тессели в первых числах ноября. Уезжал окрыленным.

Вернувшись домой, засел в Шарташе за роман. Старался учесть все замечания Горького.

Первого декабря по каким-то делам отправился в город. Пешком дошел по снежной рыхлой тропе до университетского городка, сел в трамвай.

Полон трамвай народа — и ни одного веселого или хотя бы мало-мальски беспечного лица. Почему? Накануне отмены продовольственных карточек на хлеб, на продукты, накануне съезда Советов?

Двое мужчин возбужденно продолжают какой-то страшный разговор:

— Убит наповал.

— Кто стрелял?

— В сообщении сказано: стрелял враг рабочего класса Николаев.

— Вы о чем, товарищи? Кто убит?

— Час назад по радио передавали: убит Киров.

— Киров?!

Смятение и гнев. В Мироныча рукой Николаева стреляли враги рабочего класса. Недобитые буржуи? Дворяне, каких в Ленинграде несметное количество? Бывшие белогвардейцы? Наймиты всесветного капитала? Пока неизвестно. Расследование, конечно же, установит, что к убийству причастны и те, и другие, все вместе взятые. И еще затаившиеся до поры до времени, «раскаявшиеся», обозленные навеки оппозиционеры всех мастей. Недаром товарищ Сталин указывает, что классовая борьба по мере нашего продвижения вперед к социализму все более и более обостряется.

Чем значительнее наши успехи, тем яростнее, отчаяннее удары врага. Удары исподтишка, из подворотни, из замаскированной норы. Но и мы, надо думать, не будем сидеть сложа руки. Сокрушительным ударом ответим на удар классовых подонков, врагов народа!

Каждое утро толпы у газетных витрин.

«Правда». 2 декабря 1934 года.

Правительственное сообщение о гибели Сергея Мироновича Кирова.

Телеграммы со всех концов страны, выражающие всенародную скорбь и гнев против врагов рабочего класса, совершивших злодейское покушение на вождя.

Соболезнования, соболезнования, соболезнования. Жирный, крупный, режущий глаза и рвущий душу шрифт. Черные рамки сливаются в сплошную решетку.

«Правда». 3 декабря. Вверху слева — большая фотография: Киров в гробу. Громадными буквами напечатано сообщение: «Прибытие в Ленинград т. т. Сталина, Молотова, Ворошилова, Жданова».

На другой странице стихотворение Безыменского:

Гигантской мерой
Ненависти нашей
Мы воздадим
Безумному врагу!

«Правда». 4 декабря.

Большая фотография: Сталин и Жданов в почетном карауле. Еще одна фотография с подписью: «Товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов и Жданов у гроба т. Кирова». Под ней мелкими буквами: «Снимок доставлен из Ленинграда 4 декабря в 3 ч. 40 минут утра на самолете. Летчик тов. Крузе».

И сообщения:

«В Президиуме ЦИК Союза ССР.

Президиум ЦИК Союза ССР на заседании от 1 декабря сего года принял постановление, в силу которого предлагается:

1) Следственным властям — вести дела обвиняемых в подготовке или совершении террористических актов ускоренным порядком;

2) Судебным органам — не задерживать исполнение приговоров о высшей мере наказания из-за ходатайств преступников данной категории о помиловании, так как Президиум ЦИК Союза ССР не считает возможным принимать подобные ходатайства к рассмотрению;

3) Органам Наркомвнудела — приводить в исполнение приговоры о высшей мере наказания в отношении преступников названных выше категорий немедленно по вынесении судебных приговоров».

«В Народном Комиссариате Внутренних Дел СССР. За халатное отношение к своим обязанностям по охране государственной безопасности в Ленинграде Народным Комиссариатом Внутренних Дел смещены со своих должностей и преданы суду: начальник управления НКВД по Ленинградской области Медведь Ф. Д., заместитель начальника Управления НКВД по Ленинградской области Фомин Ф. Т. и ответственные работники Управления НКВД по Ленинградской области — Горин А. С., Лобов П. М., Янишевский Д. И., Петров Г. А., Пальцевич М. С. и Мосевич А. А.

Временное исполнение обязанностей начальника Управления НКВД по Ленинградской области поручено заместителю Народного Комиссара Внутренних Дел т. Агранову Я. С.

Дела об арестованных за последнее время белогвардейцах по обвинению в подготовке организаций террористических актов против работников Советской власти —
по Ленинградской области [перечень фамилий]
по Московской области [перечень фамилий] переданы 2-го декабря сего года на рассмотрение Военной коллегии Верховного Суда СССР».

«Правда». 5 декабря.

«Вчера в Москву прибыло тело Сергея Мироновича Кирова. Гроб установлен в Колонном зале».

«О внесении изменений в действующие Уголовно-процессуальные кодексы союзных республик.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:

Внести следующие изменения в действующие Уголовно-процессуальные кодексы союзных республик по расследованию и рассмотрению дел о террористических организациях и террористических актах против работников Советской власти:

1. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти дней.

2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела в суде.

3. Дела слушать без участия сторон.

4. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать.

5. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении приговора.

Председатель Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР М. Калинин
Секретарь Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 1 декабря 1934 года».

Из передовой «Правды» 6 декабря:

«Сталин вчера перед кремацией обнял павшего вождя ленинградского пролетариата, своего друга. В последний раз... И вместе со Сталиным великая и грозная советская страна запечатлела свой поцелуй на его холодном лбу».

Язык суровой необходимости. Язык государства, вынужденного отвечать ударом на удар противника. Стил, позаимствованный законодателями у Сталина, а может быть, язык самого Сталина. Война войне. И все же муторно на душе. Омрачен, полит кровью праздничный год, великий праздничный год. Год XVII съезда партии, съезда победителей. Год завершения первой пятилетки и закладки фундамента второй. Год освоения того, что отгрохано, возведено, введено в строй, чему дан ход, что заработало, выдает продукцию, что озарило бетонные и железные корпуса трудовым огнем, что напоено индустриальной кровью и плотью, светит, греет и делает народ более богатым, более уверенным в завтрашнем дне, более сильным и более умным, что летает в небесах, проникает в глубины океана, стреляет, кует, выплавляет, создает трактора, автомобили, экскаваторы, что прокладывает каналы, метро. Год присвоения труженику-ударнику

— сыну первой пятилетки звания Победителя. Год наивысшего героизма рабочего класса, заложившего фундамент социалистической экономики. Год, венчающий разгром последнего капиталистического класса в СССР — кулачества. Год, когда основные массы крестьянства-колхозника стали опорой Советской власти в деревне. Год окончательного закрепления СССР на магистральном социалистическом пути.

Декабрьский день в разгаре. На улице светлым-светло от яркого зимнего солнца, от крепко засушенного сильным морозом чистого снега, а здесь, в Театре оперы и балета имени А. В. Луначарского по-вечернему сияют люстры, светильники и сотни людей — врачи, актеры, преподаватели, писатели, журналисты, художники, инженеры — цвет советской интеллигенции города Свердловска — заполняют ряды зрительного зала, все ярусы и ложи. Идет собрание. Особенное, непривычное, может быть, одно из первых в истории последних лет. Я сижу на сцене, в президиуме рядом с Борисом Горбатовым и лихорадочно набрасываю в блокноте то, что мне хочется сказать. После речи очередного оратора и меня приглашают на трибуну.

Перебираю вырванные из блокнота листочки, смотрю в зал, долго молчу, не зная, с чего и как начинать. Впервые в жизни попал на такую высокую трибуну. Смущают сотни и сотни глаз, настороженно-пытливо устремленных на меня. Все, что хотелось сказать, вдруг показалось глубоко личным, интересным только мне одному, никому другому ненужным.

Пауза была невыносимо тяжелой и неловкой.

Отступить и перестраиваться на ходу поздно. Пришлось говорить о том, что подготовил.

Привожу это выступление в таком виде, в каком оно было напечатано в «Правде» 9 декабря 1934 года.

«Несколько дней назад мне принесли вот этот серый, грубый кусок бумаги — пригласительный билет на общегородское собрание советской интеллигенции. Я читал и перечитывал скупой текст билета. Бросил писать, взволнованно ходил по комнате. Думал, улыбался, радовался и на все лады произносил это странно звучащее для меня слово — «интеллигент». Я — интеллигент! Я — интеллигент!

Я вспомнил свою жизнь.

Моя родина — южный Донбасс, металлургический и угольный город Макеевка. Я помню своего отца, большого рыжего мужчину, попавшего работать в грузчики на домны благодаря своей огромной силе. Он уходил на работу с рассветом. Сумерками я бежал к заводским воротам и встречал отца, красного от рудной пыли, злого и тихого. Молча совал он мне в руки черствый кусок хлеба — «зайчик» и, гремя деревянными колодками ботинок, шел домой, низко неся тяжелые ноги, путая шаг.

Наш путь лежал через французскую колонию — особую, аристократическую часть города, где жили директор металлургического и угольно-химического общества «Унион», инженеры — бельгийцы, французы. Сумерками колония заигралась светлыми и теплыми огнями. Белые окна в малиновых домах были раскрыты, и сквозь занавеси, сквозь зеленые и молодые листья тополей бежали, вспыхивая, как звезды, сказочные звуки музыки. Мне казалось, что музыка — это что-то невидимое, воздушное, от ветра и солнца. Мне казалось, что из окон вылетают голуби и несут каждый на своих крыльях по скрипке, перебирают струны клювами и поют жалобно перьями.

Отец сердито толкнул меня в спину, и мы пошли дальше по мостовой, гремя колодками о камни, обходя стороной гуляющих обитателей аристократической колонии. Мне бросалось в глаза обилие белого, розового — шляпы, прозрачные шарфы, чесучовые пиджаки, белые рубахи, галстуки. Одежда людей, наслаждающихся прохладой летнего вечера, пахла цветами, степью и чистым, с мороза, бельем. Среди этих людей я выделил высокого и сухого, как безлистная акация, мужчину в белом пиджаке, белом картузе, с медными молоточками над черным козырьком. Он держал под ручку женщину, которая была в розовом мягком, как дым, платье. У их ног прыгала белая пушистая собачка. Человек в белой фуражке обернулся на грохот колодок, глянул на нас невидяще, сощурился, и, оставшись чем-то недовольным, быстро отвернулся, щекоча своими усами плечо розовой женщины. Ей, должно быть, было очень весело — она звонко засмеялась, чем удивила собачку: та подняла голову и радостно затыкала, потряхивая бубенчиками на крохотном ошейнике.

Тогда для меня было совершенно непонятно, почему отец больно сжал мою руку и произнес коротко и хлестко: — У... интеллигенты!..

Мне было тогда семь лет, но я запомнил на всю жизнь

это слово, губы отца, прошептавшие проклятье, его сжатый кулак, ненависть и злобу.

Человека в белой фуражке с медными молоточками на околыше я встречал потом еще несколько раз. Когда на заводе бельгийско-французской компании «Унион» задували новую домну, был устроен молебен. В летнее небо чадил дым ладана. Церковный хор пел молитвы. Пылило по улице с непокрытыми головами многолюдное шествие. Следом за священником, подняв высоко голову в белой фуражке, потный и красный, шел мой знакомый интеллигент. Он прижимал икону к груди, распевал молитву. Выпрашивал у бога долгой жизни бельгийской домне, на пользу общества «Унион».

В тот же день, вечером, я видел его в лакированном экипаже перед заводскими воротами, рядом с бородатым человеком в шляпе и с трубкой в зубах. Говорили, что это был один из главных акционеров. Интеллигент соскочил на землю и протянул своему заграничному хозяину руки: берите, мол, опирайтесь, можете бить и миловать.

Даже мне, маленькому, несмышленишу, было жалко и стыдно смотреть на русского интеллигента, на его вихляющийся зад и согнутые колени.

И еще я видел его во время заводской забастовки. Он схватил моего отца за борт брезентовой куртки и что-то кричал, брызгаясь слюной. Он толкал его и поносил до тех пор, пока не вывел из терпения. Отец свалил инженера в формовочный песок, кто-то из чугульщиков схватил железную тачку, наполненную мазутом, интеллигента окунули в черную жижу, посыпали опилками и с грохотом, под улюлюканье горновых, каталей, газовщиков, покатали по стальным плитам доменного двора.

В ворота завода влетела на храпящих, разгоряченных лошадях дикая сотня чубатых, красноголовых, краснолампасных казаков. Засвистели нагайки. Лошади, грызя удила, сбивая чугульщиков, каталей, горновых, топтали их, молотили тяжелыми и острыми подковами.

Отец упал на ржавую заводскую землю, и на его брезентовой куртке остался красный след лошадиного копыта.

Интеллигент, черный с ног до головы, кое-как выкарабкался из тачки. Изорванный, мокрый, он потрясал над головой кулаками, нещадно ругал казаков, что они недостаточно поворотливы и метки, требовал, чтобы они засекали насмерть бунтовщиков, топтали их так, чтобы от них и мокрого места не осталось.

В последний раз я видел двойника моего знакомого интеллигента на процессе по делу вредителей металлургической промышленности. Он сидел на скамье подсудимых, опустив голову, небритый, грязный, одряхлевший, обреченный на вечное презрение народа...

И вот сегодня меня самого вдруг назвали интеллигентом. Это было сказано впервые так точно, официально. Интеллигент! Интеллигент! Я снова и снова повторяю это когда-то ненавистное для меня слово, а в моем мозгу и сердце идет усиленная работа. Я ищу ответа, как же это случилось, что я, внук и сын рабочих, стал интеллигентом? Почему не отрекаюсь? Почему так взволнован? Почему с такой радостью готовлюсь пойти на собрание? Почему?

А как бы сложилась моя жизнь, думаю я, если бы не было Советской власти? Был бы голод, холод, ужас бесправия, беспощадность и дикость хозяев, вырождение, смерть.

Я хочу говорить сегодня только о радости. Я пришел на собрание, посвященное выборам Советов, чтобы сказать:

Я счастлив, что стал интеллигентом. Я пишу книги, учусь, радуюсь, живу в сильной, громадной стране, не думаю о черном завтрашнем дне, выбираю сам себе рабоче-крестьянских депутатов — все благодаря тебе, Советская власть.

Я буду жить при социализме, когда все люди станут братьями, в мире вечно радостном и счастливом — все благодаря тебе, Советская власть.

Мечтаю полететь на Луну, объездить весь земной шар, увидеть социализм в Европе и Америке. Я могу так дерзко мечтать, ибо моя творческая фантазия никем не принижается, ибо она имеет реальную основу — и все это благодаря тебе, Советская власть.

Я смел, жизнерадостен, силен, люблю все красивое, здоровое, хорошее, правдивое. Я похож на моих товарищей, мои товарищи похожи на меня — и все это, все благодаря тебе, Советская власть.

У меня поседеют волосы, кожа станет морщинистой и коричневой, мне исполнится сто лет, но я и тогда буду любить людей, солнце, звезды, нашу замечательную жизнь — и все это благодаря тебе, Советская власть.

Видишь ли ты меня, отец, слышишь ли меня?.. Вот каким новым содержанием наполнилось ненавистное тебе слово — интеллигент».

Газета «Правда» без моего ведома, не спрашивая согласия, напечатала мою речь на собрании интеллигенции Свердловска — собкор редакции, оказывается, в тот же день раздобыл стенограмму и передал ее содержание по телефону в Москву. «Уральский рабочий» тоже напечатал.

Мог ли я не радоваться? Мог ли я теперь не задумываться над тем, как я должен ответственно подходить к тому, что пишу, что говорю.

Январь 1935 года. На Уральском съезде Советов я избран делегатом на Всероссийский и Всесоюзный съезды Советов.

Получив делегатский мандат и бросив в гостинице «Националь» чемодан, иду в «Правду». Ее редактор, Мехлис Лев Захарович, передал через своего уральского корреспондента, чтобы я, как только попаду в Москву, немедленно зашел в редакцию. В последние месяцы «Правда» часто привлекала меня к работе.

Иду по вечерней Москве. Падают легкие крупные хлопья праздничного снега. Белым-бело вокруг: троллейбусы, автомобили, трамваи, дома, люди. Много сегодня на улицах народа. Пылает лозунг: «Привет делегатам Съезда Победителей!»

И вам привет, дорогие москвичи! Вы тоже победили на своем фронте. Всюду, куда ни глянешь, видны плоды великого труда. Очистились от лесов Большой Кремлевский дворец, гостиница «Москва», первые станции метро.

Завершилась труднейшая борьба, какой не знала история всех времен и народов. Борьба за индустриализацию, за коллективизацию, за социализм. Вчера, у истоков пятилетки, мы были страной крестьянской, малограмотной. Сегодня мы стали страной металлургической, автомобильной, страной машиностроения, страной, добывающей вдоволь угля, нефти, руды, апатитов. Тихоходная Россия обрела мощные крылья — у нее появилось собственное самолетостроение. Тысячи тракторов вышли из ворот Челябинского, Сталинградского и Харьковского заводов. Четыре года назад мы голодали-холодали, ценили каждый кусок хлеба на вес золота. Теперь мы наполнили элеваторы колхозным зерном. Закономерно, что завершение пятилетки и отмена карточек на хлеб совпадают. Сегодня мы подводим итоги, намечаем планы.

Хорошо думается в такой вечер, озаренный праздничными огнями.

Перед площадью Пушкина внимание привлекает нарядный, с зеркальными окнами магазин. Он, несмотря

на вечерний час, полон народа. Пристраиваюсь к людскому потоку и попадаю в булочную.

Острый аромат свежесыпеченного, теплого хлеба. Хлеб пшеничный, черный, пеклеванный, ржаной. Булки. Пряники. Калачи. Бублики. Сухари. Листовые хлебы. Подковки с маком. Гребешки с сахаром. Кавказские чуреки. Замысловатые крендели. Рулеты с маком. Ромовые бабы. Квадратные кирпичики английских кексов и горы подрумяненных, горячих пирожков с мясом, капустой, рисом, картофелем и всякой всячиной. Через весь магазин протянута узкая полоска материи, на ней черным по белому написано, что магазин имеет в продаже двести двадцать сортов хлеба.

Никогда не видел такого хлебного изобилия. К открытию съезда Советов столько сортов выставили! Глаза разбегаются, не знаешь, что купить! Хочется попробовать и то, и се, и это. Почти всю свою жизнь покупал хлеб плохо выпеченный, некрасивый, невкусный. Шесть лет назад были введены в стране карточки. Не ел хлеба досыта.

Продавщицы наваливают мне в огромный лист бумаги всякого хлебного добра, напутствуют:

— Ешьте на здоровье!

На площади Пушкина, где особеннолюдно, останавливаюсь и весело, горласто объявляю:

— Угощайся, народ честной! Бескарточный хлеб! Хлебушко! Хлеб да свобода — сила народа.

Кое-кто с удивлением, а то и подозрительно смотрит на меня, проходит мимо. Но большинство разделяют мою радость: улыбаются и принимают угощение.

Лифт возносит на третий этаж, в редакцию «Правды»

Мехлис, рослый, черноволосый, с суровым, властным взглядом, усаживает меня в кресло, поздравляет, что избран делегатом.

— Прекрасная у вас была речь в Свердловске на собрании интеллигенции,— говорит Мехлис.— Громадный резонанс имела. Вовремя прозвучала. Почти все коммунистические газеты мира перепечатали ее. Хорошая речь. Но она была бы еще лучше, если бы вы не разъединили Советскую власть и Сталина.

Я с удивлением, почти с ужасом, смотрю на редактора «Правды».

— Разъединил?! Как это... разъединил?

— Да, именно так, разъединил.— Мехлис подходит к столу, перелистывает подшивку, находит декабрьский номер «Правды», в котором напечатано мое выступление, и читает: «Я счастлив, смел, дерзок, силен, любопытен, люблю все красивое, здоровое, хорошее, правдивое — все благодаря тебе, Советская власть».

Мехлис бросает подшивку на стол, возвращается в кресло и кладет ладони на мои колени.

— Советская власть — это прежде всего Сталин. Именно его мы должны благодарить за все, что делалось и делается в стране хорошего. А вы об этом ничего не сказали. Почему? Не ожидал, знаете!.. Кто же должен благодарить Сталина, как не вы, вышедший из самых низов, пролетарий, ставший писателем?! Не лично Сталину нужно ваше благодарственное слово, а стране, партии, народу. Нужно, как никогда ранее. Презренный наймит Николаев стрелял в Кирова, но он рассчитывал, что пуля поразит и величайший всенародный авторитет Сталина, его ум, волю и нашу любовь к вождю народов. Однако он просчитался! Теперь мы будем говорить о любви к вождю везде и всюду, с каждой трибуны. Я уверен, что и съезд Советов пройдет под знаком любви к Сталину. Гимн народной любви заглушит жалкое завывание врагов... Ну, теперь согласны со мной, что ваша прекрасная речь имела существенный изъян?

Как я мог не согласиться с Мехлисом? Лев Захарович, как никто другой, знает, какой труд вложил Сталин в дело преобразования страны. Долгое время был ближайшим помощником Сталина, трудился с ним бок о бок.

На другой день после открытия съезда «Правда» под рубрикой «Заметки делегата» опубликовала две странички моего дневника, написанные накануне вечером в Большом Кремлевском дворце. обстоятельно рассказал, какими бурными аплодисментами встретил съезд появление в президиуме товарища Сталина. Мехлису очень понравилась моя работа.

Написал по его просьбе еще одну «заметку делегата» — о работнице калининской ткацкой фабрики «Пролетарка» Яковлевой Наталье Ивановне. Идет в завтрашнем номере.

На вечернее заседание еду вместе с Мехлисом — он пригласил в свою машину. В Кремле разделились: он направился в президиум, а я туда, где сидит уральская

делегация. Прежде чем занять свое место, написал записку с просьбой предоставить слово и опустил ее в специальный ящик.

Съезд продолжает свою работу. Первым выступает маршал Тухачевский. Его речь о возросшей силе Красной Армии встречена овацией делегатов.

В президиуме объявляют мою фамилию. Я вскакиваю, быстрым шагом иду к трибуне. Все во мне трепещет, во рту пересохло. Стрекочут кинокамеры. Щелкают фотоаппараты. Жаркие, ослепительные лучи прожекторов-юпитеров бьют в лицо. Глухим, неповинуящимся голосом читаю все, что написал ночью в гостинице «Националь».

Речь, названную «За что я аплодировал Сталину», заканчиваю такими словами: «Когда у меня родится сын, когда он научится говорить, то первое слово, которое он произнесет, будет — Сталин».

В зале вспыхнула буря аплодисментов.

На первом этаже Большого Кремлевского дворца, в просторной комнате, где работает редакционная комиссия съезда, встретился с маршалом Тухачевским. Сидим друг против друга за столом и правим стенограммы своих выступлений. По правде говоря, я больше глазами работаю, чем пером. Не могу насмотреться на знаменитейшего полководца, героя гражданской войны. Живой Давид, изваянный Микеланджело. И он время от времени поглядывает на меня — и сдержанная улыбка светится в его больших продолговатых глазах. Мне хочется с ним поговорить, хотя бы обменяться двумя-тремя словами. На мое счастье, он сам заговорил:

— Зачем вы так безжалостно черкаете стенограмму прекрасного выступления?

— Ваша речь в десять раз лучше моей, но вы тоже черкаете стенограмму.

— Я вычеркиваю кое-какие цифры и отдельные фразы, предназначенные только для ушей делегатов, а вы... Можно взглянуть, что вы сделали?

Я протянул ему несколько страниц отличной кремлевской бумаги. Он бегло просмотрел мои вычерки, поправки и вернул.

— Тревога моя была напрасной. Все в порядке. Извините.

Поднялся, сдал в комиссию свою стенограмму и вышел.

Я зачарованно смотрел ему вслед. Энергичен, целеустремлен. Знает, чего хочет, что надо делать и на что способен.

Во время перерыва встретил в фойе магнитогорского земляка и узнал ужасную новость... Дошла, долетела в самый короткий срок до Кремля. В автомобиле, по дороге из Магнитки в Челябинск, направляясь на бюро обкома, куда был срочно вызван, застрелился Бесо Ломинадзе.

— Почему?.. Когда? — вскрикнул я.

Мой земляк как-то странно, осуждающе посмотрел на меня.

— Слышал я, что его старые сподвижники по Коммунистическому Интернационалу молодежи Хитаров, Шацкин, Чемоданов и еще кое-кто арестованы в связи с покушением на товарища Кирова. Видимо, Ломинадзе, страшась возмездия, пустил себе пулю в лоб.

Как быстро все разложил по полочкам! Никаких сомнений! Никакой трагедии не видит и не чувствует в жизни Бесо Ломинадзе! Что-то в этом роде сказал ему и хотел отойти, но он схватил меня за рукав гимнастерки.

— Не советую афишировать свою дружбу с Бесо Ломинадзе — жизнью можешь поплатиться. Такое время... — сказал вполголоса и поспешил удалиться.

А я с такой же поспешностью, спустился вниз, в гардероб, оделся и вышел на свежий, морозный воздух. Страшно думать о Бесо. Такой человек, такой жизнелюб не захотел жить!.. Что вынудило его застрелиться?

Пешком добрался до Арбата, а потом и до улицы Сивцев Вражек, где была московская квартира Ломинадзе. Застану ли кого-нибудь дома? Не в Магнитке ли, около свежей могилы, жена Бесо Нина Александровна и сын Серго?

Тихонько стучусь в дверь. Меня сразу услышали — в квартире была мертвая тишина. Дверь открыла Нина Александровна. Постарела. Мучительно старается вспомнить, кто перед ней. Я обнял ее. И тут она узнала меня.

Мать Бесо, приехавшая из Тбилиси, — в черном глухом шерстяном, старинного грузинского покроя и шитья платье. На груди — старинное серебро.

Узнав, что я друг Бесо, она схватила мою руку и поцеловала, а я приложился к ее седеющей голове. Пахла она, казалось, лавром, чинарой, вечными снегами Казбека, восковыми свечами. Обеими руками вцепилась в ремень,

которым была перехвачена моя гимнастерка, и, не отпуская, умоляет, чтобы я говорил и говорил о ее сыне. Рассказываю, как Бесо появился на моей «Двадцатке», как мы разговаривали, а она: «Бесо!.. Бесо!.. Бесо!..»

Я говорю, как мы однажды затеяли борьбу, как в схватке перегорел мой ремень и Бесо отдал мне свой. Вот этот самый! А она встала на колени, обхватив мои ноги, обцеловывала ремень, плакала:

— Дайте!.. Он мой... Не буду снимать до конца жизни. Дайте! Пожалуйста!

В Большой Кремлевский дворец вернулся в перерыве между заседаниями. В фойе встретил Ивана Дмитриевича Кабакова, секретаря Свердловского обкома партии.

— Слышал, что случилось в Магнитке? — спрашивает Иван Дмитриевич.

— Да, Ломинадзе застрелился. Вам, конечно, известно больше моего.

— Выстрел в Магнитке — это эхо перводекабрьского выстрела в Ленинграде. Первое эхо.

— Эхо?.. Как это понимать, Иван Дмитриевич? Неужели Ломинадзе имеет хоть какое-нибудь отношение к тому, что случилось в Смольном?

— Разумеется, не имеет. Я давно знаю Ломинадзе. Еще лучше узнал его, когда он стал парторгом ЦК в Магнитке. Большевик первостатейный. Честный и правдивый. Любил жить. И делал этот умело, красиво.

— Почему же покончил с собой?

— Никакой загадки нет. Ему стало известно, что его друзья Хитаров, Чемоданов, Шацкин арестованы. Подозреваются не то в прямом, не то в косвенном участии в убийстве Кирова. Ломинадзе вызвали в Челябинск, чтобы арестовать.

Вокруг нас прогуливались возбужденные, веселые делегаты, а мы с Иваном Дмитриевичем стояли у невидимого гроба и проливали невидимые слезы.

Я прервал молчание, спросил Кабакова:

— Смерть наступила мгновенно?

— Его привезли в Магнитку тяжело раненным. Умер, не теряя сознания. В последнюю минуту сказал: «Лучше смерть, чем арест именов Советской власти». Вот какие дела творятся у Магнит-горы, пока мы тут аплодируем...

Кровь бросилась мне в лицо. Наш разговор с Кабаковым прервал незнакомый человек с седыми висками. Глядя

на меня, протянул мне запечатанный конверт и сказал:

— Меня просили передать вам это.

Сказал и сейчас же растворился в толчее делегатов. Я нисколько не удивился, не встревожился. Не он первый в дни съезда обратился ко мне. Несколько незнакомых делегатов в перерывах между заседаниями, во время обеда там же, в Большом Кремлевском дворце, поздравляли меня с замечательным, как они утверждали, выступлением. А другие просто пожимали руку. Поэтому я полагал, что врученное мне послание составлено в известном духе, в духе заключительного слова Вячеслава Михайловича Молотова.

Разорвав конверт, на котором была написана моя фамилия, я извлек блокнотный листок небольшого размера. Прочел написанное четким почерком: «Чья-либо личная диктатура, власть предержащего и покушение на честь и достоинство человека — две стороны одной медали. Вот чему и кому вы аплодировали.

Читатель, еще вчера возлагавший на вас большие надежды».

Я разорвал на мелкие клочки анонимное послание и бросил в урну.

Иван Дмитриевич не сводил с меня вопрошающего взгляда.

— Кто и чем вывел вас, счастливейшего из людей, из себя?

— Так... вопль трусливого обывателя из-под вонючей подворотни.

— По какому поводу?

Я любил Ивана Дмитриевича, старого большевика, за все, что он сделал для революции, для Урала и Тульщины. Любил за простоту, за отсутствие комчванства, за скромность, родственную скромности Ильича. Наконец, я любил его и за то, что он сердечно относился ко мне, верил в мое будущее. Для меня он был человеком, достойным подражания.

— Какому-то делегату не понравилось мое выступление, и он счел своим долгом сообщить мне об этом в самой безобразной форме.

Кабаков долго молчал. Сердце мое тревожно заняло. Я почувствовал, что Иван Дмитриевич сейчас не со мной, а с неизвестным мне автором послания. Так и оказалось. Когда Кабаков заговорил, его голос уже был не таким, как раньше. Прямо глядя мне в глаза, он сказал:

— Интересное совпадение. Мне тоже не понравилось

ваше выступление, как и человеку из подворотни, как вы изволили выразиться.

— Да? — растерянно переспросил я. — Почему, Иван Дмитриевич?

— Потому, что вы все победы, одержанные Советской властью и партией, приписали одному-единственному человеку и тем самым принизили небывалую в истории человечества самодеятельность народа. Конечно, в нашей системе велика роль генсека, и все же не благодаря ему одному мы добились в переустройстве мира колоссальных успехов. Есть в нашей работе и серьезнейшие недостатки, упущения, непростительные промахи. И это вы, советский писатель, видевший жизнь со своего рабочего места, должны были хорошо знать и говорить всю правду о ней, а не расточать одни похвалы. Вы скрыли от делегатов то, что каждому магнитогорцу известно: теперешнюю тяжелую жизнь Магнитки на строительной площадке, в рудных забоях, в бараках, на улице, везде и всюду. Подводя итоги пятилетки, вы, как делегат съезда, должны были назвать имена виновников такого положения, в том числе и мое, и бывшего начальника Магнитостроя Гугеля, бывшего секретаря горкома Карклина, бывшего председателя горсовета Румянцева. Очень мы провинились перед Магниткой. И перед Уралмашем тоже. Это вам хорошо известно, больше, чем кому-либо другому. Удивительно и обидно, что вы об этом умолчали.

В глубине души я осознал правоту Ивана Дмитриевича и все-таки попытался найти оправдание своей позиции. Я сказал, что сейчас в Кремле подводятся победные итоги пятилетки, а не осуждаются, не критикуются наши недостатки и промахи социалистического строительства — об этом мы поговорим в другое время. И еще я сказал Ивану Дмитриевичу, что выступал в строгом русле, прорубленном для меня и других делегатов победоносным по форме и духу докладом Председателя Совета Народных Комиссаров товарищем Молотовым. И потому, наверное, он одобрил мою речь в заключительном слове.

Кабаков иронически усмехнулся и поднял руки над головой, выстриженной под машинку, как у новобранца.

— После таких доводов у меня один выход — капитулировать, что я и делаю. Ваша взяла.

Вот какой разговор происходил между нами в самом неподходящем месте — в большом светлом помещении курилки, где, помимо кресел, стоящих у окон, выходящих в один из внутренних двориков Кремля, находились еще и

туалетные кабины, устроенные вдоль двух стен. Говорили мы под непрерывный рев воды, спускаемой из бачков.

Мои добрые отношения с Кабаковым, репрессированным в тридцать седьмом, мне поставили в вину мои грозные судьи: Сталин, Жданов, Андреев — в сороковом году. Но об этом речь впереди.

На вечернее заседание еду вместе с Мехлисом — он пригласил в свою машину. В вестибюле редакции «Правды» к нам присоединяется Федор Панферов.

— Нам, кажется, по дороге, товарищ Мехлис? Подвезете?

— Пошли! — энергично машет рукой Мехлис.

Внизу у подъезда ждет «линкольн». Рассаживаемся.

Редактор «Правды» садится впереди с шофером, а мы с Панферовым на заднем сиденье.

— Ну как, читал? — толкая меня, спрашивает Панферов.

— Что?

— Мою статью о Горьком. С утра «Правда» нарасхват. Все делегаты только о ней и говорят. Гвоздь сегодняшних событий, можно сказать.

— Что за статья? — спрашиваю я, и сердце мое сжимается от недоброго предчувствия.

— «Открытое письмо А. М. Горькому». Неужели не читал?! Как же ты пропустил мировую сенсацию?

Открытое письмо Горькому!.. И как это я не удосужился прочитать мировую сенсацию?

В Большом Кремлевском дворце сейчас же, как только оставил пальто на вешалке, разыскал сегодняшнюю «Правду», забрался в дальний угол безлюдного Георгиевского зала и медленно, слово за словом, читал статью. Две больших, сверху донизу колонки на последней странице «Правды», на левой ее стороне. Крупный, жирный заголовок: «ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО А. М. ГОРЬКОМУ».

Пробежав глазами первые строчки, я усмехнулся. Обиделся Панферов на справедливую критику, высказанную Алексеем Максимовичем в адрес «Брусков», и решил сам покритиковать Горького. На кого замахнулся, Федор Иванович? Кого хочешь убедить, что Алексей Максимович неправильно критиковал твои «Бруски» и речь на съезде писателей?

«Я до сих пор скрепя сердце молчал об этих делах, чтобы не отвлекать внимание от общего большого вопроса, поднятого партией,— о качестве нашей художественной литературы. Но специфический характер «проработки» меня, проработки в худшем смысле этого слова начинает надоедать, тем более подобная проработка вносит большое недоумение в ряды литературного молодняка. Я полагал, что подобная проработка прекратится после вашего письма к П. Васильеву, опубликованного в «Известиях», где вы пишете, что «немедленно после моего мнения о небрежности его работы на Панферова зарычали, залаяли даже те люди, которые еще накануне хвалили его». Но в «Правде» от 24 января я прочитал вашу третью длиннейшую «Литературную забаву». И в этой «Литературной забаве» вы снова слишком увлекательно забавляетесь, забывая о том, что имеете дело с живыми людьми, а не с манекенами. На этот раз вы критикуете мою речь «О мудрой простоте», произнесенную на всесоюзном съезде писателей и опубликованную в свое время в нашей печати. В этой речи я утверждал, что в нашей стране,— на основе новых, социалистических производственных отношений, в связи с тем, что у нас ликвидируется разница между городом и деревней, умственным и физическим трудом — формируется новый язык — язык революции».

Эх, Федор Иванович! После того, что вы написали о сегодняшней деревенской действительности, я сомневаюсь, в самом ли деле вы знаете деревню. Колхозники, прочитав ваши утверждения, что у нас уже ликвидируется разница между городом и деревней, между умственным и физическим трудом, поднимут на смех, как фантазера, забежавшего вперед на десятилетия. Жизнь колхозников очень нелегка, много придется поработать, чтобы подтянуть деревню до жизни города. Этот заскок и критиковал Алексей Максимович. Именно это великий писатель назвал литературными забавами. По правде говоря, он чересчур мягок. Вы заслуживали более суровых слов. Вам не понравилась и такая критика.

«Кажется, ясно, о чем я говорил? — пишете вы. — А вы и тут почему-то приходите в некое замешательство, заявляя: «Трудно понять, что он (Панферов) хочет». Но, если вам трудно понять, что я хочу, зачем же вы с первых же строк начинаете ругаться, утверждая, что Панферов «обнаружил», что подлинное значение дискуссии о языке не понято им, и увеличил количество неграмотной болтовни?»

Абсолютно бездоказательно вы пишете, что я занимаюсь «болтовней», называя мою речь на съезде писателей: «беспомощная статейка», «малограмотная статейка». Что это за методы спора? Это заушательство, которое вы в своей третьей «Литературной забаве» осуждаете, заявляя: «орать на него (писателя), издеваться над ним — это значит пользоваться приемами преподавателей неоспоримых истин в старых царских школах». Правильно! Нельзя сводить серьезный спор на мелочи, не следует упрощать позиции «противника», намеренно их оглуплять».

Громадная проблема, поднятая в статье Горького, кажется Панферову мелочью. Уличенный в левацком заскоке и в неграмотной болтовне, он упрекает Горького в том, что тот упрощает его позиции и намеренно их оглушает.

И чем дальше в лес, тем больше дров.

«Вот вы пишете в своей последней статье: «У нас развелись матерые литераторы солидного возраста... Они числятся коммунистами, пребывая по уши в тине мещанского индивидуализма». Это большое и серьезное обвинение вы бросаете коммунистам».

«Кто же это такие — «матерые, солидные»? Вот они: Шолохов, Фадеев, Безыменский, Киришин, Афиногенов, Бела Иллеш, Гидаш, Бруно Ясенский, Гладков, Бахметьев, Серафимович, Билль-Белоцерковский, Ставский, ну пусть и Панферов и ряд подобных имен. Если вы об этих коммунистах-писателях говорите, что они пребывают «по уши в тине мещанского индивидуализма», не хотят учиться, ничем не интересуются, кроме собственного пупа, то ведь этому никто не поверит. Наша общественность знает, что писатели-коммунисты никогда не пренебрегали политикой. Они — общественники и в любое время готовы сменить перо на винтовку, стать в ряды граждан нашего Союза, защищающих свою социалистическую Родину от врагов. У вас тут, очевидно, обмолвка. Ее надо поскорее снять и назвать имена «матерых, солидных» коммунистов-писателей, которых вы имеете в виду. Таких «коммунистов», о которых вы пишете,— будь они сто раз талантливы — партия в своих рядах держать не будет».

И далее Панферов от «деликатных» намеков переходит к атаке на Горького.

«В своей статье вы настойчиво нахваливаете книгу Зазубрина «Горы». Известна и нам сия книга. И не удивляйтесь, почему ее так мало почитают наши читатели.

Разве секрет, что Зазубрин клеветнически писал о войне, якобы объявленной партией крестьянству? У Зазубрина в книге, помимо прочих небылиц, коммунисты отрубленную голову врага таскают и показывают всем. Так коммунисты не поступали с врагами. Так действовали только колчаковцы, деникинцы и прочие белогвардейцы. Другой коммунист Зазубрина купил бывшую барыньку за два пуда муки исключительно для того, чтобы овладеть ею. Так клеветает Зазубрин на коммунистов. И не случайно коммунистическая группа всесоюзного съезда писателей единодушно отвела кандидатуру Зазубрина в правление союза. Немало в расхваливаемой вами книге Зазубрина языкового хлама: «нонче зверь отшатился», «вода горы колыбает», «чует мое сердце», «кумыной ни одно восударство не живет», «чоде вы зорить нас, хрестьян, хотите», «зашербарчал», «испредирил», «понужную», «шеперься».

Кто же такой на самом деле «клеветник» Зазубрин? Очень талантливый сибирский писатель, один из зачинателей советской литературы, автор известной эпопеи «Два мира», в которой рассказывается о становлении Советской власти и о крушении старых порядков в Сибири и на Дальнем Востоке. Зазубрин один из организаторов журнала «Сибирские огни». Он давно и заслуженно пользуется уважением и любовью Алексея Максимовича. Именно Алексей Максимович и рекомендовал избрать Зазубрина на съезде в члены правления Союза писателей. Панферов знал об этом и, тем не менее, нанес Горькому удар.

Хорошо знал Панферов и биографию бывшего князя, профессора Кембриджа, Святополка-Мирского, ставшего благодаря Горькому советским гражданином и выступающего в печати с критическими статьями, смело и независимо. Осмелился критиковать самого Фадеева! Никто до сих пор не находил недостатков в его книгах, а Мирский поднял на него руку! И вот такого-то Мирского, бывшего князя, недавнего англичанина, защищает великий Горький.

Панферов так и пишет:

«В тех же, в третьих по счету, «забавах» вы поднимаете до небес Мирского и обрушиваетесь на Фадеева. Тут же вы утверждаете, что Мирского начали критиковать за то, что он родился не от той мамы. Неверно это. Нельзя так упрощать вопрос. Мирский безответственно заявил, что «советская литература достигла своего нынешнего высокого уровня без участия Фадеева», что творчество Фадеева развивается в **«НАПРАВЛЕНИИ ЛОЖНОМ»**

И, МОЖНО СКАЗАТЬ, ПРОТИВОПОЛОЖНОМ ОБЩЕМУ НАПРАВЛЕНИЮ РОСТА СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ». Это — клевета и на советскую литературу, и на тов. Фадеева, которого ни один честный советский писатель не позволит выбросить из литературы. Легкость, с которой Мирский хотел разделаться с Фадеевым, — именно это справедливо вызвало настороженное отношение к Мирскому, не завоевавшему еще доверия нашей общественности».

Все переиначил Панферов. Не поднимал Алексей Максимович Мирского до небес и не обрушивался на Фадеева в статье «О литературных забавах» и ни в какой другой.

Понятна позиция Панферова, но совершенно непостижима позиция Мехлиса. Как мог он сделать вид, что не знает о подлинном отношении Горького к Мирскому и Фадееву? Как он мог напечатать такого рода обвинения?

Как сейчас себя чувствует Алексей Максимович, что думает об этом письме?

На другой день, прямо с утра, я направился не в Кремль, где все еще заседал съезд Советов, а на Малую Никитскую к Горькому.

Алексей Максимович сидел за своим рабочим столом — хмурый, серолицый. Встретил меня молча, без единой приветливой искорки в глазах. Я сразу же без всякого вступления начал говорить о статье Панферова, о том, какое удручающее впечатление она произвела на меня. Говорил все, о чем думал вчера весь вечер, всю ночь. Алексей Максимович хмуро смотрел на меня, барабанил пальцами по краю стола и дымил сигаретой. Когда я кончил говорить, он еще раз, особенно глубоко затянулся, выдохнул клуб дыма и усмехнулся, горько и печально.

— Напрасно возмущаетесь. Поздно! Автор письма уже руками и ногами отрешивается от своей писанины. И раскаивается в гордом поступке.

Я с недоумением смотрю на Алексея Максимовича. Ничего не понимаю. Какой автор отрешивается? Кто раскаивается в своем поступке? Панферов?

Горький чуть перегнулся через стол и указал рукой на стул, на котором я сидел.

— Вчера вот на этом самом месте, где вы теперь изволите сидеть, ерзал, будто на иголках, Федор Панферов. Автор «Открытого письма». Извинялся. Просил понять, войти в его особое положение.

Алексей Максимович откинулся назад, зажал мундштук между большим и указательным пальцами левой

руки, хлопнул по нему ладонью, выбил в пепельницу недокурок. Тут же, вставив новую сигарету, поджег ее и, глядя на догорающую спичку, сказал:

— Что написано пером, то не выбьешь топором.

Больше не хотел, да и не мог, вероятно, разговаривать о Панферове. Слушал, что я говорил. И меня заморозил своим молчанием и безжизненными, полными тоски глазами. Прежде я не видел Алексея Максимовича таким печальным, усталым и тяжелым, как сегодня, тридцать первого января тысяча девятьсот тридцать пятого года.

После окончания съезда я поехал в Магнитку, чтобы побывать на могиле Ломинадзе и узнать подробности его гибели.

Разыскал шофера Ломинадзе. Вот что он рассказал:

— Это случилось сразу, как мы выехали на Верхнеуральский большак. Хорошо, резво ехали. Ветер со снежком дул слева. Поземка. Но мы оба в тулупах, чувствовали себя в тепле и уюте. И вдруг я услышал резкий, похожий на выстрел пугача хлопок. Прозвучал справа, по ходу машины, оттуда, где переднее колесо. Остановился, повернул голову в сторону товарища Ломинадзе и сказал с досадой: «Лопнула камера!» А он: «Нет, это не камера лопнула, а я пульнул себе в грудь»... Сказал и замолчал. Я тоже молчу. Смерть как перепугался. Не знаю, что делать: вперед или назад ехать или стоять на месте. Товарищ Ломинадзе набрался сил и сказал: «Дамский выстрел... Давай, Петр, поворачивай назад. Домой...» Я мигом развернулся и полетел в Магнитку. Не в горком партии поехал, а прямо в Березки. К Нине Александровне и Серго... Не смогли спасти товарища Ломинадзе. Вечная ему память. Вот был человек...

— Где его похоронили? — спросил я.

— За Магнит-горой. На общем кладбище. Гроб сделали по специальному заказу. И могила не трехаршинная — большим, крупным человеком был товарищ Ломинадзе, более чем за два метра вымахал. Памятник поставили железный. За одну ночь сварганили в прокатном цехе. И ограду железную сварили. Все честь по чести. По-людски. Только недолго могила была могилой. Ночью по чьему-то указанию сломали ограду, памятник, погрузили на машину, увезли. Могилу с землей сровняли, засыпали снегом...

Вскоре после моего возвращения в Свердловск раздался ночной телефонный звонок, и я услышал голос бывшего помощника Ломинадзе. Мрачно и коротко он сообщил: Нина Александровна, убитая горем, лежит пластом. Серго тоже заболел. В доме безденежье. Жить не на что. Все друзья исчезли.

Боль и стыд снова сжали сердце. Как же это я не догадался послать Нине Александровне денег? Наутро, чуть свет, пошел на почтамт, отправил денежный перевод телеграфом.

В Магнитогорске начались репрессии. Ждал кары и я, но ее не последовало. Наверное, потому, что после выступления на съезде Советов я был защищен благосклонностью Сталина. Глубоко ошибался. От Сталина, как я убедился, никому не удалось защититься — даже личная дружба и совместная работа в течение многих лет в составе Политбюро. Кровожадность его была неутолима.

Через пятьдесят с лишним лет в газете «Магнитогорский рабочий» от 7 ноября 1987 года, в большой статье Е. Карелиной, посвященной Ломинадзе, я прочитал такие строки: «Даже упоминать его имя стало опасным. И на этом фоне очень смелым выглядел поступок замечательного человека из плеяды старых магнитогорцев-партийцев — Маргариты Яковлевны Далинтер. Она была секретарем партячейки на мартене, работала в аппарате горкома под руководством Ломинадзе, глубоко уважала его за открытый, честный характер, прямоту и неподкупность. Эти черты были в полной мере свойственны и ей самой. Придя вскоре после трагической гибели Ломинадзе на одно из партийных собраний, она предложила почтить его память минутой молчания. Этого оказалось достаточным, чтобы обвинить ее в пособничестве врагам народа, двурушничестве. Десять лет она платила за свой поступок в лагерях, еще десять пробыла на поселении».

Возвращаюсь в середину тридцатых годов.

В стране большой спрос на строителей Магнитки — молодых, но уже опытных инженеров, умных и энергичных прорабов. Ждут не дождутся магнитогорцев на новостройках Азовстали, Криворожья, Кузнецка, Кемерово, Липецка, на Уралмаше, в Нижнем Тагиле. Героических создателей плотины на Урал-реке готовы принять с распростертыми объятиями на канале Москва — Волга. Монтажников блюминга и прокатных станов требуют к себе через Наркомтяжпром мариупольцы, краматорцы. Мало

кому отказывает Серго в высококвалифицированных специалистах, хотя и любит Магнитку. Все стройки ему дороги.

Яков Семенович Гугель, бывший начальник Магнитостроя, воздвигает в Мариуполе, на берегу моря, крепость южной металлургии — Азовсталь. Вместе с ним уехало немало инженеров, мастеров.

Бывший начальник коксохимстроя Магнитки Марьясин обосновался неподалеку от старого, демидовских времен, нижнетагильского завода, командует новой огромной стройкой, будущим Уралвагонзаводом. Вместе с ним работает легендарный прораб Днепрогэса и Магнитки Тамаркин, о котором я рассказывал Горькому. Строит крупнейший в мире вагоносборочный цех.

Еду в Нижний Тагил, чтобы написать о Тамаркине очерк для «Правды».

В парткоме Уралвагонстроя меня встречает смуглый, с блестящими глазами, очень кудрявый и очень веселый, энергичный товарищ — секретарь парткома и парторг ЦК Шалва Окуджава. Он толково посвящает меня в дела строительства. День, вечер и часть ночи провел я в разговорах с Окуджавой. Ужинаю и ночую у него, в рубленном доме, хорошо натопленном и еще сочащемся прозрачной живицей. Сын Окуджавы, маленький Булат, почему-то не сводит с меня глаз. Смотрит, все смотрит и будто хочет спросить о чем-то и не решается. Глаза у него темные, печальные, не улыбочивые.

Утром, когда я возвращался к себе после бритья и душа, обнаружил в своей комнате полуодетого Булата. Он стоял у стола над моим путевым дневником и мучительно, как мне показалось, раздумывал над единственной строкой вверху чистого, в клеточку листа.

Мальчик вспыхнул, увидев меня на пороге, и убежал. Догадываюсь о его состоянии. Первый раз видит живого писателя.

После завтрака Шалва Окуджава показывает мне громадную, неоглядную площадку Уралвагонстроя, потом ведет к Тамаркину.

Моисей Александрович сидит у себя в кабинете за большим дубовым столом. На нем свежий костюм, твердый белый воротничок, широкий галстук. Движения — неторопливые, уверенные. Говорит он тихо, подбирая слова, как бы прислушиваясь к себе.

— Товарищ Серго в первое свое посещение Уралвагонстроя сказал нам: «У вас пока одно хорошо: ничего еще

не сделано, значит, ничего еще не испорчено. Выгодная позиция. Вы должны создать лучший в мире завод и лучший в мире город. Только так. Запрещаю вам строить унылые стандартные дома. Денег не пожалеем».

Я увидел этот зарождающийся город. Многоэтажные жилые корпуса окружены лесом. Просторно, красиво, много воздуха и света.

Тамаркин пришел на голое место. И не бросился, сломя голову, строить цех. Сначала построил теплые бараки, дороги, механические мастерские, столовую, магазин, завод железобетонных конструкций. А приступив к основной работе, сразу же ввели диспетчеризацию.

Да, это большая, важная новость на промышленной стройке. Я видел ее в действии. Пункт управления. Отсюда во все уголки строительства проведены телефоны. Диспетчер — ответственный инженер — и его помощники командуют тысячами рабочих, сотнями машин. Каждый механизм находится под постоянным, жестким контролем.

— Вспомните Магнитострой,— говорил Тамаркин.— Сколько было грохота, криков, ругани, штурмовщины, зряшной суеты, бессонницы.

— А теперь вы вдоволь спите? — улыбнулся я.

— По потребности! Журналы и новинки читаю, в кино хожу. Нормальная жизнь.

Вечером мы ужинаем с Тамаркиным в его большой квартире на Пихтовой горе. Вспоминаем Магнитку. Пришла пора более организованного и эффективного труда, чем в годы первой пятилетки. Завоевали горбом, тяжелым опытом право быть настоящими строителями.

Очерк о М. А. Тамаркине напечатан в «Правде» под названием «Инженер трех эпох». Теперь буду думать над тем, как провести Тамаркина через будущий роман, посвященный Магнитке.

Не стал Тамаркин героем моего романа. Ненастной ночью тысяча девятьсот тридцать седьмого года, не желая разделить судьбу репрессированного начальника Уралвагонстроя Марьясина, он поцеловал спящую жену, пошел на строительную площадку и приложил руки к обнаженным высоковольтным проводам.

Так погиб инженер трех эпох.

Все ждут от меня второй книги, полной чувств, свежих мыслей, масштабных, подлинно жизненных событий, а я... меньше всего я жду от себя сотворения чуда, хотя часов по двенадцать кряду не вылезаю из-за стола, работаю

не покладая рук, ни на минуту не перестаю думать о том, что сделано и что еще надо сделать, врос в жизнь персонажей моей будущей книги.

Книга... шкура неубитого медведя. Золотой самородок, который я ищу, перелопачивая горы земли, камней, песка. А его может и не быть в прииске, который я разрабатываю. Тяжкая это ноша, возложенная на меня многочисленными доброжелателями, начиная от Горького и кончая читателями. Не о том пишу, что способно потрясти или взволновать. Рассказываю, как в степи, между Магнит-горой и рекой Урал в зимнюю вьюжную ночь блуждает в белых потемках Андрей Сулимов, будущий первый житель Магнитки, как обосновался в железной долине, с чего начал, как заложил первый камень в фундамент металлургического гиганта, как по его следам прошла целая армия строителей и среди них мужик Максим Недоля, бежавший из деревни от колхозов, раскулачивания, от хлебозаготовок. Мои герои прокладывают железную дорогу, роют котлованы, творят бетон, плотничают, возводят электростанцию, голодают, холодают, горят энтузиазмом, митингуют, варварски, из-за безграмотности ломают заграничные машины, оплаченные золотом. В центре событий — бывший землепашец Максим Недоля, по уличному прозвищу Недоносок. Он ошеломлен Магниткой, ее всесветным многолюдьем, растерялся, не находит себе места на огромном пространстве, а потом... потом заражается энтузиазмом и становится героем Магнитки и первой пятилетки.

Вот, пересказал свой замысел и еще больше приуныл. Кому все это нужно? Только не массовому читателю. Большие чувства, большие мысли, захватывающая история человеческой души — вот вечная тема, которую на свой лад должен разрабатывать каждый писатель.

Так думал я, но работать не переставал ни на один час. Не мог ее бросить. Видел и слышал своих героев живыми, а не вымышленными. Ободрял себя тем, что говорил мне Горький, тем, что на все лады утверждали газеты, местные и кремлевские вожди, тем, что страна жила пятилеткой, тем, что Магнитка была ее эпицентром, столицей нового рабочего класса, великих его творений.

Отчаяние сменялось надеждой, верой в способность одолеть трудности, вырасти вместе с Андреем и Максимом, Уралмашем, Сталинградским тракторным и сотнями других строек. Судьбой народа был строитель новой жизни. И я не мог не быть с народом. И не мог я, магнитогорец,

не написать роман о рождении Магнитки, любимого детища народа. И мое это детище — Магнитка. Я с ней связан невидимой пуповиной. И в Шарташе, на роскошной обкомовской даче, живу ее трудной жизнью, жизнью котлованов, бараков, артельных грабарок, вчерашних крестьян, жизнью инженеров, рабочих, партийцев, присланных в Магнитку со всех концов страны. И моя это личная судьба — Магнитка. Если напишу книгу, достойную ее, то стану писателем, если нет — вернусь на горячие пути, на паровоз, по которому тоскую, на котором не испытывал творческих мук, не сомневался в своих способностях.

В самом начале лета 1935 года я получил телеграмму-молнию. Мехлис просил немедленно приехать в Москву по весьма важному делу. В тот же день я наскоро собрался и сел в скорый поезд Владивосток — Москва. Прямо с вокзала поехал на Горького, 48, в редакцию «Правды».

Мехлис разговаривал со мной в своем обычном стиле: сурово, с проблесками дружеского радушия, энергично и предельно кратко. Сказал, что как член главной редакции «Истории фабрик и заводов», посоветовавшись с Алексеем Максимовичем и получив его благословение, решил на длительное время послать меня на строительство канала Москва — Волга с тем, чтобы я написал документальную повесть.

Вот так новость! Несмотря на все уважение к Мехлису и к «Правде», на безграничную любовь к Горькому, не могу покинуть Урал. Я привязан к его замечательным людям, к заводам-гигантам. Написал две книги об Урале и буду писать о нем всю жизнь. И уральцы считают меня своим. Так или примерно так ответил на предложение Мехлиса.

Лев Захарович сказал, что я недооценил честь, оказанную мне Горьким и «Правдой», что недопонимаю значения будущего канала Москва — Волга.

— Да будет вам известно, уральский патриот, — тут Мехлис иронически ухмыльнулся, — товарищ Сталин и ЦК считают строительство канала Москва — Волга ударной стройкой второй пятилетки, на которой разгорится битва за людские души, изуродованные пережитками прошлого. Битва бескровная, без грома, пушек и железного скрежета, но такая, которой суждено войти в историю. Десятки тысяч преступников, правонарушителей будут перекованы трудом, приносящим радость. Это будет дальнейшим развитием опыта Беломорстроя. Поражаюсь, как вы этого

не поняли, не почувствовали? Ведь вы были» в Дмитрове на слете ударников-каналоармейцев. Слушали выступление Горького.

Даже после такой тирады главного редактора «Правды» я все еще не сдавался.

— Лев Захарович, я хорошо понимаю значение канала, с превеликой радостью отправился бы на грандиозную стройку, если бы... Чувствую себя в долгу перед Магниткой, перед уральцами и, наконец, перед Иваном Дмитриевичем Кабаковым... Я должен и хочу писать об Урале.

— Да кто тебе предлагает бросать Урал? Напишешь о канале и вернешься к своей Магнитке. Я сейчас позвоню Кабакову.

Мехлис подошел к телефону ВЧ и быстро договорился с Иваном Дмитриевичем о моем временном перемещении.

Чувствую, что не будет даже времени съездить домой за вещами, за рукописями,— так силен напор Мехлиса.

Он сразу же соединился по «вертушке» с Лубянской, с наркомом НКВД, кратко рассказал Ягоде о задании, которое я получил, и попросил сейчас же принять меня и практически решить, как и куда определить на канале. Положив телефонную трубку, протянул мне руку.

— Действуйте!

На открытом «линкольне» редактора я поехал навстречу своей новой судьбе. Машина остановилась на площади Дзержинского, напротив главного подъезда бывшего дома страхового общества «Россия». Массивные, светлого дуба, окованные темной бронзой двери распахнулись. Два чекиста с кубарями, очевидно, предупрежденные, не потребовали ни пропуска, ни документа. Спросили только фамилию и открыли дверь лифта.

Я поднялся на третий этаж и увидел перед собой человека с одним ромбом в петлицах, небольшого роста, плотного, перетянутого новенькими и пахучими, из отличной кожи ремнями. Наверное, ему успели позвонить снизу, из главного подъезда.

— Герсон! — отрекомендовался он.— Вас ждут. Прошу! — И повел по длинному, без окон, ярко освещенному коридору. Красная ковровая дорожка глушила шаги.

Входим в приемную. Герсон распахивает правую дверь, ведущую в большой, светлого дуба тамбур. Апартаменты больших начальников почему-то начинаются с глухой прихожей.

Громадная комната, вернее, зал. Длинный стол с зеленым сукном. Два ряда высоких стульев. Пять или шесть

окон выходят на площадь Дзержинского. В глубине кабинета, в дальнем правом углу, вижу наркома. Слева от него массивный несгораемый шкаф. Столик, заставленный разноцветными телефонами. В этом же кабинете, за этим столом работал Феликс Дзержинский? Так ли было при нем?

Первый раз встречаюсь с новым, недавно утвержденным наркомом НКВД. Сутулый, тощий, узколиций, с прореженными сидящими волосами, сосредоточенно хмурясь и бережно трогая коротко подстриженные усики, он пытливо вглядывается в меня, пока я преодолеваю расстояние от двери до стола. Скупым жестом указывает на кожаное кресло. Я сажусь и проваливаюсь почти до пола. Хозяин кабинета возвышается надо мной на другой стороне стола.

Странное ощущение. Не совершал никаких преступлений, ни в чем себя не чувствую виноватым, послан сюда великим Горьким и главным редактором «Правды» — и все-таки робею. Необъясним этот унижительный и беспричинный страх. Отрыгнулось, может, навеки забытое беспризорничество? Видимо, прошлое следует за человеком, как его тень, до конца жизни.

— Ну? — Нарком раскрыл плоскую, цвета морской волны коробочку, достал длинную сигарету, вставил в янтарный мундштук и с наслаждением закурил. Рисовая бумага и лучший в мире табак, сторя, образуют новую сигарету — из хрупкого пепла.

— Те же самые, если не ошибаюсь, египетские сигареты, которые курит Алексей Максимович, — сказал я.

Он улыбнулся, отрывисто и нехотя.

— Да, те же. Был в гостях у Алексея Максимовича и стащил, когда он отвернулся.

И опять замолчал, предоставляя мне решать, пошутил или говорил всерьез.

Нарком глубоко затягивается и, выпуская к потолку душистую струю дыма и глядя туда же, говорит:

— Пока вы добирались сюда, я кое-что придумал. В качестве писателя вам трудно будет собирать материал среди чекистов и каналармейцев. И те и другие, по разным причинам, не будут откровенны, скроют самое существенное, необходимое вам. Вы окажетесь белой вороной. Работайте на канале, как и все. Вас должны принимать за своего человека.

Жду, что еще скажет. Кажется, собирается сделать меня каналармейцем, осужденным лет на пять — восемь.

Ни за что! Хватит! Побывал в шкуре уркагана и не желаю залезать в нее даже ненадолго.

— Лучше всего вам обосноваться на канале под чужой фамилией, так сказать, на нелегальном положении,— говорит нарком.

Нелегальное положение? Всякое бывало в моей жизни...

— Пошлем в качестве чекиста с двумя ромбами. Хватит? Всего на два меньше, чем у меня... Есть у нас на канале, в Центральном районе, вакантная должность заместителя начальника. Подойдет?..

Я киваю.

Нарком протягивает руку к аппарату селекторной связи, нажимает на один из рычажков и говорит в пространство:

— Павел Петрович, зайдите!

Через минуту входит человек в сером костюме, в косоворотке, белокурый, белокожий. Вот с кого писать портрет Васьки Буслая. Подошел к столу и почтительно замер. Нарком кратко изложил помощнику суть дела: кто я такой, с какой целью отправляюсь на канал и как следует оформить мое назначение.

Потом резко повернулся ко мне, спросил:

— Под какой фамилией хотите работать?

Вопрос так неожидан, что я растерялся, пожал плечами.

— Хорошо, я придумаю вам фамилию. Рыбалка!.. У меня все,— прибавил нарком, глядя на помощника.

Тот молча, так же твердо ступая по ковру, вышел. Пора и мне уходить.

На прощание хотелось сказать наркому какие-то особенные слова. Я поднялся и, пожимая ему руку, сказал в самых торжественных тонах, что не пожалею сил, времени и оправдаю доверие, оказанное Горьким, «Правдой» и чекистами, напишу хорошую книгу о канале и его людях. Нарком нахмурился и с раздражением, почти гневно проговорил:

— Не люблю хвастунов. Зачем надуваетесь? Вы же не Киршон, не Луговской. На канале вас ждет немало трудностей. Бывший грабитель, бывший миллионер, кулак, торговец, взломщик — это, знаете, не чистенький и красивенький Никита Изотов, а человек, на все готовый: на отчаянную смерть от пули конвойного и на трудовой подвиг в котловане. В общем, сами скоро увидите, куда попали! Нелегкая будет жизнь. Но как бы ни было трудно,

всегда будьте правдивым. Все пойму, кроме неправды. В наших органах, в нашей работе неправда преследуется законом. На том стою и того же требую от каждого человека. Так нас воспитывает Центральный Комитет. Иной раз нам трудно и страшно сказать правду секретарям ЦК, страшнее, чем умереть, а мы все-таки говорим.

В тот же день с помощью всемогущего помощника Ягоды Павла Петровича Буланова я обмундировался, привинтил к малиновым петлицам по два темно-вишневых ромба, получил пистолет с патронами, выписку из приказа наркома о назначении, ордер на однокомнатную квартиру в доме № 3 по Большому Комсомольскому переулку. В том самом доме, кстати, где жили писатели Фадеев, Афиногенов, Киршон. Работник административно-хозяйственного управления наркомата, показывавший мне квартиру, смущенно, не надеясь на положительный ответ, спросил:

— Подойдет? Не мало для вас?

Я мельком осмотрел новое жилье, просторное, с двумя огромными, во всю стену, окнами, хорошо обставленное. Конечно, подойдет. Беспечно и браво, с легкостью человека, привыкшего менять хижину на дворцы и дворцы на хижины, ответил работнику жилотдела:

— Не беспокойтесь, хватит и одной комнаты! Я не собираюсь здесь долго задерживаться. Перевалочный пункт.

Мои мысли уже там, на канале. С чего начну работу? Как? Почему нарком счел нужным предупредить о правдивости? Почему придумал такую фамилию — Рыбалка?

Не прошло и суток с тех пор, как покинул Урал, а столько чудесных превращений произошло! Я уже не я. Был штатским человеком, стал военным. Да не просто военным, а чекистом. Был писателем таким-то, а стал заместителем начальника Центрального района. И принял все как должное. После того, что случилось со мной в последние два года, я уже не способен воспринимать с удивлением никакие чудеса. Два ромба на чекистских петлицах? Экая невидаль. Что они по сравнению с тем, что мне выдано от Горького, от читателей, от правительства?..

Шагаю по улицам Москвы в новенькой форме чекиста и не без удовольствия замечаю, что привлекаю к себе внимание. Москвичи, наверное, удивлялись, видя совсем молодого человека с ромбами, которые обычно носили большие военачальники. Даже у Ворошилова только четыре

ромба. Никто не узнает во мне писателя, портрет которого в последние два года неоднократно печатался в газетах.

Перед тем, как отправиться в Дмитров, проведал своих новых московских друзей Беспаловых, Ивана и Фраду. Захотелось их повидать и себя показать в чекистском обмундировании. Хозяина, к сожалению, дома не оказалось. Хозяйка — дома.

Увидев меня, Фрада расхохоталась, всплеснула руками.

— Что случилось? По какому случаю так шикарно вырядился? Призвали в армию? Снимаешься в кино? Или решил испугать нас малиновой фуражкой?

— Меня призвали на службу чекисты. Буду работать над книгой о каналоармейцах.

— Что такое каналоармейцы?

— Не читаешь газет, Фрадушка! Каналоармейцы — это те, кто за два года тихо и скромно отгрохал Беломорканал и начал строительство канала Москва — Волга.

— Да, да, слыхала. Перековка, чекисты-кузнецы... И ты соблазнился! Не думала, что ты такой непостоянный обожатель Магнитки.

— Временно разлучаюсь с Магниткой.

— Любимой тоже сначала изменяют временно, а потом... Эх, раз и еще много-много раз!

Отчитав меня, она сейчас же забыла, чем я вызвал ее неудовольствие, и стала готовить кофе, к которому пристрастилась, живя с Иваном в Стокгольме и Берлине. Пять лет прожили они за границей. Как корреспондент ТАСС, Иван Беспалов присутствовал на процессе Димитрова и передавал по телефону информацию для советских газет.

Пью маленькими глотками ароматный напиток и рассказываю, какая сила заставила меня «изменить» Магнитке. На Фраду не подействовали и такие имена, как Максим Горький, Лев Мехлис, Генрих Ягода. Но все же пообещала:

— Приедем с Иваном к тебе. Посмотрим на каналоармейцев.

От Фрады отправился на Никольскую, в Гослитиздат, где Иван был большим начальником. Он встретил меня иначе, чем его жена. Одобряет планы. Верит, что напишу нужную народу книгу. И тоже пообещал приехать в гости в Центральный район.

Пока мы беседовали, в кабинет Беспалова заглядывали

какие-то люди. Увидев мою малиновую фуражку и ромбы, они быстренько и аккуратно закрывали дверь, молча и смущенно, а кто и встревоженно, испуганно исчезали. Впервые с той минуты, как надел форму, я почувствовал, как тяжела шапка Мономаха, то бишь малиновая фуражка.

Было лето тридцать пятого. Всего полгода прошло, как убили Кирова, как вслед за этим последовали аресты и высылки из Ленинграда в Сибирь, в казахстанские степи.

Застрелился Бесо Ломинадзе. Осквернена его могила.

Едва-едва, чуть-чуть будущее коснулось своим невидимым крылом моей души. Коснулось и пропало. Время от времени напоминало о себе. Смутно. Невнятно. То был слабый голос Правды, заглушаемый громкими раскатами речей, указов, передовиц, почти круглосуточным радиоговорением.

И сегодня, вспоминая события тех трагических лет, я хочу написать, как б ы л о н а с а м о м д е л е , а не как должно быть или как могло быть.

Исповедь — не покаяние в грехах, не скрытая форма самовозвеличивания, не набат, не колыбельная песнь, даже не лебединая. Исповедь — это всего-навсего достоверные показания сына своей эпохи.

Хочу говорить только о том, о чем и как думал тогда, более полувека назад, а не теперь, в эпоху перестройки, после сокрушения культа Сталина.

Тогда, в тридцать пятом, Ягода был для меня высокоуважаемым наркомом. Тогда и Беломорканал, и будущий канал Москва — Волга представлялись мне чудом творения. Тогда я казался людям и самому себе парнем эпохи начавшегося социализма.

Самообман, самоослепление и вместе с тем законная гордость тем, что действительно уже сделано твоим народом и тобой.

Переночевав в новой квартире, еду в Дмитров, в главный штаб, к начальнику лагеря строительства канала Москва — Волга Семену Фирину, старому знакомому.

Фирин выходит из-за стола и с притворной строгостью оглядывает меня с ног до головы.

— Плохо подогнана форма. Ремень не затянут. Гимнастерка топорщится сзади, как хвост у индюка. Пистолет

сполз с положенного места на брюхо, пуп прикрывает, фуражка легкомысленно, с казачьей лихостью торчит на голове. В общем, не чекист, а так...

Фирин смеется и, раскинув широко руки, крепко обнимает.

— Хорош ты в нашем обмундировании, глаз не оторвешь. Вот твоя настоящая одежда — военная! Я бы на твоём месте до конца жизни из нее не вылезал.

Покончив со всеми формальностями и пообедав с Фириним в его громадном бревенчатом, среди нетронутого леса, доме, я отправился на место назначения, к Заикину, начальнику Центрального района, опытному строителю, старому чекисту, работавшему и на Беломорско-Балтийском канале.

Дали мне рабочий кабинет. Выделили резвую, объезженную гнедую лошадь по кличке Волга. Приставили расторопного ординарца из донских казаков, Алексея Харитоновича.

Поселился неподалеку от станции Влахернская, непосредственно на трассе канала, у самой колючей проволоки. В небольшом домике, окруженном фруктовым садом, мы жили вдвоем с ординарцем.

С утра, с того часа, когда сигнал призывал каналоармейцев к работе, и до поздней ночи, до отбоя, осваиваю трассу будущего канала. Верхом на резвой Волге. На попутных грузовых машинах. На единственном в районе газике. На своих двоих. Возвращаюсь домой, обляпанный засохшей глиной, цементным раствором, с песком в волосах и на зубах и с записной книжкой, исписанной до последней страницы.

В Центральном районе нет ни одного уголка, куда бы я не заглянул. Но и этого показалось мало. В последующие дни и недели прошел и проехал вдоль всего канала. Видел гигантскую, более чем в сто километров, щель, прорубленную через пригороды Москвы, Химки, Хлебниково, Влахернскую, Яхрому, Дмитров. Видел, как тысячи людей воздвигали земляные и бетонные плотины, строили шлюзы, мосты, дороги, рабочие поселки, новые деревни для колхозников, переселяемых с затопляемых мест. Видел вереницы прибывающих поездов, груженных цементом, балками, рельсами, арматурой, лесом-кругляком, разнообразными машинами, досками, шифером и стеклом. Не было в стране другой стройки, которая бы поглощала такое количество материалов. Миллионы кубометров земли перемещались. Горы камней и бетона закладывались в

шлюзы, плотины, водосбросы, дюкеры, откосы канала, в автомобильные дороги, идущие вдоль будущей водной трассы, постоянные, рассчитанные на долгую жизнь, и временные, необходимые строителям. И все это создано каналармейцами.

Где бы я ни появлялся, сразу же раздавалась команда:

— Смирно!..

Бетонщики, землекопы, бригадиры бросают работу, замирают, вытягивая руки по швам. Строевым шагом приближается ко мне, вернее к моим ромбам, прораб или начальник участка и докладывает, чем занимаются люди.

Всегда не по себе в такие минуты. Ясно, что каналармеец после того, как вытянется по стойке «смирно», не сможет, если даже и захочет, поговорить по душам. Да и не больно разговоришься с землекопом, когда его товарищи, обнаженные по пояс, потные, бегают туда и сюда с тяжелыми тачками.

Не умею я разговаривать с каналармейцами. Мои вопросы непривычны для них, сбивают с толку. Я это не сразу понял. Настоящий гулаговец, такой, как Фирин, не позволит себе спросить, за что человек попал в лагерь. Резко, отрывисто допрашивает: «По какой статье осужден? Сколько получил? Когда? Где?» Я же порядочно покружусь вокруг да около, задам полдюжины производственных вопросов и только потом вопрошаю, за какие грехи Петров или Иванов попал сюда.

Неподалеку от строящегося шлюза, в углу проволочной выгородки, обтесывает бревна небольшая, из трех человек, бригада плотников. Мужики в соку, в зрелой поре. Подхожу. Здравуюсь. Отвечают бодро. Топоры блестят в сильных, уверенных руках. Лица прокалены солнцем и ветрами. Один спрашивает:

— Вы, часом, не курящий, гражданин начальник? Расщедритесь!

Суетливо выхватываю из кармана коробку «Казбека» и раскрываю перед заключенными. Они деликатно, толстыми, негнуцимися пальцами берут по папиросе, закуривают.

Перекур. Слава тебе, скромная и великая цигарка!

Сажусь на бревно, вытягиваю ноги, упакованные в болотные сапоги, начинаю беседу:

— Ну, как жизнь, ребята?

Хотел одним махом соорудить мост через пропасть,

приблизиться к заключенным, расположить к себе. «Ребята» обмениваются взглядами, откровенно насмешливыми.

— Живем, гражданин начальник. Хлеб жуем.

— Живем всем чертям назло! — Это уже новый голос. Мрачный бас раздаётся у меня за спиной.

Оборачиваюсь и вижу прораба — Пугача Федора Терентьевича. Ему лет тридцать. Над очень светлыми глазами куцые бровки. На подбородке синее подкожная угольная отметина — несмыываемый шахтерский герб. Не первый раз встречаюсь с Пугачем. И раньше с интересом приглядывался к нему.

— Разрешите и мне, гражданин начальник, угоститься вашим «Казбеком».

Моя коробка еще раз пошла по кругу.

Пугач с удовольствием дымит, щурит нездешние, чересчур светлые глаза.

— Гражданин начальник, как вы думаете, какими ветрами занесло сюда меня, горного инженера, комсомольца с двадцать пятого года, коммуниста с тридцатого? И вот их,— он кивнул на плотников,— этих бывших хлебопашцев? Помните Великую французскую революцию? «Жизнь не есть ни цель, ни средство — жизнь есть право». «Хлеб есть право народа». «Хлеб есть божественное право человека!» Вот они,— он снова кивнул на плотников,— хотели есть свой божественный хлеб. В этом вся их вина. Вы не разгневались, гражданин начальник? Не собираетесь отправить меня в РУР с довеском к сроку?

В громадном лагере, раскинувшемся от Волги до Москвы, таких «начальников», как я, больше нет. Фирин не считал бы меня своим другом, если бы не знал, что я писатель и послан на канал Горьким и Мехлисом с благословения наркома НКВД. Я был частым гостем в лагерном доме Фирина. И запросто, без субординации, переступал и порог его служебного кабинета. Так случилось и теперь. Явился посреди рабочего дня и рассказал о своей встрече с Пугачем.

Фирин внимательно, серьезно, не спуская с моего лица блестящих, черных-пречерных глаз, выслушал и сказал, что я разговаривал с заключенным наивно, как последний фрайер, которого легко обвести вокруг пальца любому уркачу.

— Хлебопашцы эти — бывшие кулаки, мироеды. А то, что изрекает этот Пугач,— дешевая демагогия. Ко всем каналармейцам мы подходим с одной, точно выверенной

меркой: приговор твой, братец, справедливый, только ударной работой можешь сократить срок наказания. Как видишь, нехитро, проще пареной репы. И тебе, Саня, советую не отставать от нас, простаков. Ну, а теперь пойдем пообедаем!

Фирин обнял меня за плечи и потащил к себе домой. Остаток дня я провел в его веселой семье. Вечером, после ужина, был маленький домашний бал. Хозяин дома менял патефонные пластинки, а я танцевал поочередно с его молодой женой, ее сестрой и их хорошенькой подружкой.

Устав от тройной танцевальной нагрузки, захмелев от выпитого вина и аромата духов, я переключился с веселого времяпрепровождения на серьезные обязанности лагерного летописца.

— Семен Григорьевич, кому первому пришла в голову гениальная идея — направить силы, энергию заключенных на великое дело — строительство каналов?

Фирин ответил с гордостью:

— Гений у нас единственный. ББК и Москва — Волга, как и Днепрогэс, и Турксиб, и Магнитка, Уралмаш — детища товарища Сталина. В один прекрасный день он собрал гидростроителей, плановиков, нашего брата чекистов, развернул перед ними карту Советского Союза и толстым красным карандашом проложил идеально прямую, от моря Балтийского до моря Белого, линию, приказал: «Через два года между этими двумя точками должен быть построен канал, способный пропускать не только торговые корабли, но и военные. Сотворить его должны, под руководством чекистов-большевиков, те, кто проштрафился перед страной, народом. Пусть искупают свою вину трудом, а заодно и привыкают участвовать в социалистическом строительстве. Давайте окажем доверие социально опасным элементам. Всякого, кто отличится на строительстве, ждет досрочное освобождение».

— Ну вот, я же говорю! — воскликнул хмельной летописец. — Гениальная идея, ставшая потрясающим фактом нашей социалистической жизни! Я уверен, что вслед за ББК и Москва — Волга появятся и другие каналы, новые великие стройки.

— Наверняка. Товарищ Сталин на ветер слов не бросает.

— А хватит каналоармейцев?

Этот мой вопрос Фирин оценил по достоинству и горько усмехнулся.

— Были бы великие стройки, а каналоармейцы найдутся.

Правонарушители, как сорная трава, произрастают. Такое время. Не при коммунизме живем, а в переходном периоде, когда все больше обостряется классовая борьба. Чем внушительнее наши победы, тем ожесточеннее сопротивляются политически враждебные и нравственно отсталые элементы.

Жене Фирина надоело слушать наш разговор, и она опустила мембрану с иголкой на черный диск «Колумбии». И я снова стал танцевать по очереди с тремя симпатичными женщинами.

Поздно, на исходе ночи, вернулся домой — к темному, как лес, саду, к Волге, заржавшей мне навстречу, к донскому казаку Харитонычу, к записным книжкам.

Утром еле проснулся. Долго, к удивлению ординарца, завтракал, долго сидел на ступеньках веранды, вглядывался то в небо, то в ветви деревьев, полных яблок, и думал, думал...

Антон Павлович Чехов, прежде чем написать замечательную книгу о каторжном Сахалине, глубоко изучил историю и географию Сибири, судопроизводство, уголовное право, историю русских тюрем и ссылок. Он знал все, что было написано о Сахалине этнографами и путешественниками. Он три месяца жил на острове, не зная отдыха. Шагал от избы к избе, заглядывал в каждый дом, в каждую тюрьму и колонию ссыльных, вступал в разговор с каторжником, поселенцем, вольным. Он сделал перепись всего населения острова. А вернувшись домой, писал «Остров Сахалин» долгих четыре года. Вышла книга, которой скромнейший Чехов открыто гордился.

А я? С чем пришел в подмосковный лагерь заключенных? Удовольствовался напутствиями Мехлиса. Ягоды и своими добрыми намерениями. И не могу разобраться, не могу увидеть жизнь каналаармейцев изнутри, так, как ее видят сегодняшние землекопы и бетонщики, осужденные на восемь или десять лет. Работают они хорошо. Но что у них в душах?

Не снять ли мне ромбы, пока не поздно? Хотел бы, но разве снимешь без того, чтобы не выдрать вместе с ромбами и кусок живого мяса? Что скажу Горькому и Мехлису? Каким окажусь в глазах наркома? А Кабаков? А Союз писателей? А собственная гордость?

Мой ординарец, насквозь пропахший запахом яблок, казачьего седла и конским потом, возникает из глубины сада.

— Пора ужинать, гражданин начальник, а вы еще не обедали. Прикажете подавать?

Тяжело вздыхаю и говорю:

— Подавай, Харитоныч.

Вечер провел в лагере головного участка Центрального района. Десятки бараков, до отказа набитые людьми. Сотни судеб. Где же та, единственная судьба, которую я ищу, которую поставлю в центре будущей книги? Почему не дается в руки? В чем дело? Не умею выбирать? Или чересчур разборчив? Может быть, не умею обобщать факты? Неспособен перешагнуть таинственную границу, отделяющую факт от явления?..

Дошли до меня слухи, будто бы наследники Маяковского, упомянутые и не упомянутые в его завещании, обратились в Кремль с жалобой на то, что издательства, критики, литературоведы и особенно Бухарин в докладе на съезде писателей недостаточно хорошо относятся к Маяковскому и Сталин якобы на их письме наложил резолюцию: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи».

Проверим, так ли это? Кто из моих знакомых и друзей может подтвердить или опровергнуть слухи, упорно циркулирующие по Москве? Конечно же, Иван Михайлович Беспалов, руководитель отдела Государственного издательства художественной литературы. Ему должно быть известно, сколько правды и неправды в этих слухах.

Вечером отправляюсь к нему на Арбат, в Плотников переулок и чуть ли не с порога спрашиваю о том, о чем говорят сейчас во всех литературных кругах и что стало самым крупным, после учредительного съезда писателей, событием. Очевидно, в свой вопрос я вложил немало чувств. Это удивило Ивана.

— А ты, собственно, почему так близко к сердцу принял это? Ты же прозаик, а не поэт. И, как мне известно, больше любишь Есенина, чем Маяковского.

— Да, это так,— сказал я,— и тем не менее встревожен разговорами.

— Почему встревожен? — допытывался Иван.

— Потому что массовый читатель, а не один человек должен решить, кто лучший, талантливейший поэт или прозаик. Читатель — народ! И время. Великих не назначают сверху.

Иван с каким-то особенным радостным вниманием посмотрел на меня и спросил:

— Это тоже слухи — то, что ты сейчас сказал? Или собственные мысли высказываешь?

— Хватит тебе меня допрашивать, лучше скажи, правда это или неправда, что говорят? Есть или нет резолюция Сталина на письме почитателей Маяковского?

Иван посерьезнел и сказал:

— Правда. Но далеко не вся. Во-первых, не точно процитирована. В полном виде она выглядит так: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи. Безразличие к его памяти и творчеству — преступление».

— Ого! — воскликнул я.— Преступление?

— Да. Приговор обжалованию не подлежит, как ты понимаешь. Мне приказано в самое короткое время подготовить к изданию однотомник большого формата лучших произведений Маяковского и написать к нему предисловие. И то и другое я уже начал делать. Сверху мне намекнули, что Сталин лично прочтет в верстке и мое предисловие и однотомник. Представляешь? У меня из рук все валится.

Теперь наступила моя очередь задавать лукавые вопросы.

— Что с тобой, Иван? Почему из рук валится? Гордиться должен высочайшим поручением, а ты...

— Какая там гордость, когда такая резолюция? «Безразличие к его памяти и творчеству — преступление»... Не больше и не меньше. Похлеще любой директивы, а то и Указа. В приказном порядке внедряется почтение и любовь к Маяковскому. Советская эпоха, кстати, только-только началась и будет продолжаться не один год и не десять, а веки вечные и, конечно же, даст человечеству не одного, а добрую сотню талантливейших поэтов. А я должен руководствоваться одной мыслью: «был и остается лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи». Не смею помнить, что Владимир Ильич откровенно признавался, что не относит себя к поклонникам таланта Маяковского. Лишь однажды он сдержанно, с оговоркой похвалил чисто политическое стихотворение Владимира Владимировича «Прозаседавшиеся».

Участник гражданской войны, делегат X съезда партии, участник штурма мятежного Кронштадта, один из самых первых красных профессоров, выпускник ИКП просвещает меня, приобщает к тайнам литературной политики, а я, молодой писатель, ударник, призванный в литературу благоговейно слушаю его.

— И Алексей Максимович Горький не очень жаловал своей любовью поэзию Маяковского. Выступая на съезде писателей, подвергнув критике стихи Александра Прокофьева, он на самом деле метил в Маяковского. Горькому не по душе были всякого рода чрезмерные поэтические преувеличения Маяковского. Я не разделяю точку зрения Горького, но и не в диком восторге, как некоторые, от резолюции Сталина. Приказной стиль руководства искусством далеко не самый лучший и, безусловно, не самый плодотворный. Владимир Ильич был менее размашистым, менее категоричным в решении сложных проблем искусства, литературы. Боюсь, что резолюция Сталина с зловещим словом «преступление» бросает мрачную тень и на Ильича, на его довольно прохладное отношение к Маяковскому.

Мне вдруг почему-то стало не по себе от очень самостоятельных смелых суждений Ивана. В чем дело? Что именно не устраивало? Наверное, страшно даже заочно подвергать какому-либо сомнению высказывания Сталина.

И все же, любя поэзию Есенина больше, чем поэзию Маяковского, одному отдав сердце, а другому разум, я не чувствовал себя преступником. И даже тех людей, кто относился к Маяковскому безразлично, не считал государственными преступниками. Обедняя себя, они не совершали преступления и, следовательно, не подлежали строжайшему наказанию.

Нагрянули Иван Беспалов с Фрадой. Шумом и весельем наполнился мой тихий, угрюмый дом. Провез их по трассе будущего канала. Всюду на них глядели во все глаза. Оба молодые, красивые, одетые по последней моде, они не могли не привлечь к себе внимания каналоармейцев, облаченных в черные, грязные бушлаты, насквозь пропитанные лагерным духом — карболкой, потом, дымом костров.

Перехватывая хмурые, полные тоски взгляды каналоармейцев, я понял вдруг, что поступил неделикатно, даже жестоко, явившись к ним в сопровождении нарядной, красивой молодой женщины.

Иван и Фрада на трассе не задавали никаких вопросов. Только смотрели. И лишь в моем доме, за обедом они заговорили. Фрада закрыла потухшие глаза и тихо, отчаянно попросила мужа:

— Ваня, хочу домой! Увези меня отсюда. Поскорее!

Иван погладил ее по черным, гладко зачесанным волосам и, вместо того, чтобы утешить, сказал:

— Не думал я, что у нас столько правонарушителей.

Я засмеялся, сказал Ивану, что он за свои пять заграничных лет отвык от нашей сложной жизни, успел забыть, что у нас, кроме ударных бригад, есть и воровские шайки, что наряду с социалистическим соревнованием, которым охвачены миллионы рабочих и колхозников, существуют лодыри, тунеядцы, любители поживиться за чужой счет, пособники классового врага. Иван мучительно хмурился, слушая меня.

Не предчувствовали мы, конечно, что в самом ближайшем будущем Иван Беспалов погибнет в застенках Ежова — Берии, а Фрада десять лет отмучается в северных лагерях...

Барак № 17. Трехэтажные деревянные койки. Каналоармейцы чинят одежду и обувь, читают, пишут письма, грызут домашние сухари, пьют чай, курят, разговаривают. Обычная для вечернего часа жизнь.

Федор Пугач сидит особняком, у края стола и, ничего не видя и не слыша, читает с карандашом в руках толстую книгу. Подсаживаюсь.

Что я знаю о нем на сегодняшний день? Работает прорабом мощного механизированного участка канала. Бывший рабфаковец, бывший забойщик. Шахтер по отцу и деду. Два года назад был начальником механизированной лавы на самой крупной шахте Донбасса. Осужден на восемь лет как саботажник механизированной добычи угля. Бывший антимеханизатор возглавил ударную фалангу механизаторов. И он, и его люди изо дня в день работают образцово, высокопроизводительно. Почему на воле саботировал, а здесь ударяет? Вопросы сыплются на Пугача. Но он отвечает скупно, хмуро. Тяготится беседой. С тоской поглядывает на книгу, вздыхает: отпустите, мол, гражданин начальник, смилуйтесь! Ладно, пусть себе читает. В другое время поговорим.

Прощаюсь, иду в другой барак, в третий. Зашел в пищеблок, проверил, как и что готовят ночные повара на завтрак. Но мысли вновь и вновь возвращаются в тот, семнадцатый барак, где с книгой в руках сидит Пугач. Почему он смотрел на меня так, что мое сердце переворачивалось? И сейчас жжет мне душу его взгляд.

Самое удивительное, что я воспринимаю его не как заключенного каналаармейца, не как антимеханизатора, а как хорошего человека, случайно попавшего сюда. Почему такое? Ничего, почти ничего не знаю о нем и пересматриваю приговор, оправдываю.

Прерываю обход лагеря, отсылаю сопровождающих меня в канцелярию и направляюсь не домой, а в семнадцатый барак.

К счастью, староста зазевался, не успел поднять положенный при появлении моей двухромбовой персоны переполох. Большинство каналаармейцев уже на нарах.

Пугач все там же, за длинным столом, под тусклой голой лампочкой, склонился над толстой книгой, обернутой газетой. Увидев меня, не удивился. Медленно поднимается, вытягивает руки по швам и спокойно, с достоинством смотрит на меня. Молчит, но чувствую, многое хочет сказать. Спрашиваю:

— Почему не спите?

— Еще не было отбоя, гражданин начальник.

— Да я не об отбое. Не устали за рабочий день? Неужели спать не хочется?

— Как не устать, гражданин начальник?! Лошадь, трактор и экскаватор нуждаются в передышке после тяжелой работы, а человек и подавно. Еле дотащился до барака, теперь отдыхаю.— Пугач взглянул на книгу и нежно, как котенка, погладил ее.

— И что же читаете? — спросил я.

— ,Так... всякое, что дают. Выбор в библиотеке небольшой.

— Можно посмотреть?

Пугач неохотно, даже с некоторой тревогой, как показалось мне, сдвинул с книги натруженные ладони.

— Пожалуйста...

Карл Маркс и Фридрих Энгельс! Сочинения. Том первый.

Машинально перелистываю страницы увесистого тома. Мне, вольному человеку, имеющему массу свободного времени, некогда заглянуть в сочинения классиков марксизма, а он, осужденный, находит время и желание изучать их, да еще после тяжелого рабочего дня!

Мне бы сейчас следовало промолчать, а я спрашиваю;

— Ну и как?

— Что, гражданин начальник?

— Интересно?

— Очень. Зачитываюсь!

— Да?.. Чем же именно?

— Всем. Особенно тем, что написал Маркс летом тысяча восемьсот сорок третьего года — о праве человека и государства.

Каналоармейцы вглядываются в меня и Пугача с откровенным намерением не пропустить ни единого слова.

Пугач извлек из книги одну из закладок, густо исписанную чернилами, и горячей скороговоркой, словно боясь, что я перебыю, прочел:

— «В демократии не человек существует для закона, а закон существует для человека; законом является здесь человеческое бытие, между тем как в других формах государственного строя человек есть определяемое законом бытие. Таков основной отличительный признак демократии»... Здорово сказано, а?

Пугач переводит взгляд с книги на меня, ждет, что я поддержу разговор.

— Н-да! — И я напускаю на свое лицо многозначительное, как мне кажется, выражение.

Начальник с двумя ромбами может позволить себе появляться в любом месте, когда ему вздумается, как вздумается, шумно и молча, не объясняя, зачем пришел и почему ушел, не сделав ничего путного, не сказав ничего мало-мальски разумного. Эх, ромбы, ромбы!

Если когда-нибудь я разговорюсь с Пугачем, то не здесь, не при свидетелях.

Небрежно козыряю и покидаю барак.

Утром, едва проснулся, начинаю думать о вчерашней встрече в семнадцатом бараке. После завтрака Алексей Харитонович седлает Волгу, и я скачу на тот участок, где работают люди Пугача. Весь день, ни во что не вмешиваясь, наблюдаю за работой землекопов, экскаваторщиков, шоферов, бульдозеристов и скреперистов. Через людей и через машины, которыми командует Пугач, стараюсь понять инженера, тридцатилетнего человека, более половины своей жизни прожившего при Советской власти, попавшего прямо из забоя на рабфак, а потом в Донецкий индустриальный институт.

Четыре экскаватора, разбившись на пары, шагая навстречу друг другу, неустанно грызут пласты глины, черпают ее ковшами, далеко отбрасывают с трассы будущего канала, насыпают обрывистые берега. Бульдозеры разравнивают и утрамбовывают отвалы. Скреперы снимают

один слой глиняной стружки за другим. Машины, груженные песком и камнями, необходимыми для укрепления берегов, печатают на свежих, только что обнаженных, пластах глины ребристые следы шин, проходят по временным дорогам, по сухому дну котлована, натужно карабкаются по откосам, пропадают за желтым гребнем. Моторные помпы жадно сосут из глубоких сборников грунтовые воды и выбрасывают их через трубопроводы далеко за отвалы. Там, где должен быть дюкер, в гигантском барабане бетономешалки гремят, скрежещут, шумят, хлюпают вода, песок, гравий, щебенка, сизая мука цемента. Труд высшей пробы — загляденье.

Ладную фигуру прораба, хорошо приметную, я вижу то около экскаватора, то около бульдозеров, то около бетономешалки, то около грузовых машин.

Как же этот недавний консерватор, саботажник оседлал новейшую технику? Перевоспитался в лагере? Перековался? Не имею права искать никакого другого сюжетного корня. Должен пренебречь известной истиной, что предшествующие события творят характер человека. В моей повести не должно быть другой истины, кроме той, что начертана на плакатах и лозунгах, расклеенных на всех строительных перекрестках, в каждом бараке. Какого бы каналаармейца я ни взялся описывать,— горного инженера, специалиста по квартирным кражам, медвежатника — специалиста по вскрытию несгораемых шкафов, миллионера-заводчика, кулака, поджигателя колхозных хлебов, вредителя, саботажника хлебозаготовок, врага колхозного движения,— любую жизненную историю я должен рассматривать под одним-единственным углом зрения: на воле был преступником, в лагере сделался человеком.

А если и на воле человек был человеком? Если не нуждался в перековке? Это я должен отбросить. В жизни всякое бывает, случайность нагромождается на случайность, а в повести все должно быть закономерно, типично.

Сижую, смотрю, думаю.

За весь день здесь не показался ни один чекист, если не считать меня и конвоиров, маячащих там и сям на гребнях глиняных отвалов, на выходах из котлована.

Люди работали хорошо. Если бы я не знал, что они отбывают наказание за преступления, я бы всех принял за ударников, за высокосознательных советских граждан. Так вкалывать, как вкалывали они, могли только опытные, привычные к труду работяги.

Я родился и вырос в рабочей семье, где все начали зарабатывать с малых лет. И сам работал на заводе, в шахте. И потому не верю в легкую и скорую любовь к труду, любовь, так сказать, с первого взгляда. К труду надо долго привыкать. Почему же эти люди, во главе с прорабом Пугачем, работают привычно хорошо? Нетрудно догадаться, что они не здесь, на канале, начали свою добросовестную трудовую деятельность. И на воле неплохо трудились.

Инженер Пугач несколько раз взглядывал на меня. Надеялся, что заговорю с ним, спрошу что-нибудь? А я отмалчиваюсь. Боюсь, что еще раз задам какой-нибудь наивный вопрос. Боюсь, что опять услышу что-нибудь неожиданное.

Покинул котлован и вернулся домой, так и не сказав Пугачу ни слова. После ужина сижу над своим дневником у открытого в сад окна, заполняю страницу за страницей.

Прошла полночь. Заблестела роса на листьях яблонь. Потянуло предосенним холодком. Тихо и в доме, и в саду. Невдалеке, в темноте сада, осторожно кашляет Алексей Харитонович. Все еще не спит казак. Всегда вот так: не уходит в свою хибарку, не ляжет, пока я не погашу огонь. Сидит где-нибудь на крылечке, на охалке сена или под яблоней, дымит козьей ножкой, аккуратно покашливает, ждет приказаний. Отсылаю спать — не уходит. Ни разу, сколько живу здесь, не побеспокоил его среди ночи, а он все-таки дежурит, все готов сделать. Стыдно, что расторопно и усердно, как старая, натренированная нянька, служит мне.

Стыдно, а что я могу сделать? Не дано мне прав освободить. Все, кто хорошо, ударно работает на стройке, досрочно выйдут на волю. Будем считать, что и Алексей Харитонович ударник.

И еще одно важное, может быть, самое важное признание самому себе. Я подозреваю, гражданин начальник, что вам совершенно противопоказано работать здесь. Даже временно. Почему? Вспомните, как оплошали третьего дня на первом участке. На спортивной площадке молодые каналоармейцы сражались в волейбол. Вы остановились и с интересом наблюдали за летящим мячом. Вас пригласили играть. И что вы сделали? Благоразумно отказались? Нет, охотно согласились.

Чекист с двумя ромбами резвится вместе с заключенными... И это еще не все. Вступая в игру, вы сняли тяжелый командирский ремень с заряженным пистолетом и положили поодаль. Даже на стадионе «Динамо» нельзя было бы

этого делать, а не только в лагере. Вокруг убийцы, грабители, вредители, саботажники, кулацкие подпевалы. Вспомните, как потешался над вами в тот вечер начальник лагеря Семен Фирин! Хорошо еще, что он добродушен. Быстро, поразительно быстро, узнал он о вашей оплошности. Узнает о ней и нарком.

Нет, вовсе не зря он предупреждал, что я должен быть правдивым. Буду ли? Найду ли мужество, когда встречу с ним, признаться во всем, в чем признался самому себе? Не знаю. Не уверен.

Алексей Харитонович шуршит газетной бумагой. Сворачивает еще одну, пятую или шестую за ночь, козью ножку. Вспыхнул огонек, осветил большой смуглый лоб и бородатое старообрядческое лицо донского казака. О чем он сейчас думает?

До сих пор я избегал расспрашивать его, как он жил на воле, что делал. Боялся услышать то, о чем догадывался. Слишком доброй, приветливой была его улыбка, слишком доверчиво и уважительно смотрел на меня, когда подавал обед или седлал лошадь, провожал на работу или встречал, чтобы я мог думать о нем как о закоренелом преступнике. Люди с такими глазами, с такими золотыми руками, как у Алексея Харитоновича, бережно разрезающие хлеб, любовно, умело окапывающие яблони и ставящие подпорки под ветки, отяжелевшие от плодов, не способны на плохие дела. Но в таком случае как же он попал сюда?

Тихо, вполголоса окликаю его.

Он сейчас же явился, бесшумно ступая босыми ногами по голым половицам веранды. Вытянулся в струнку, браво пожирает глазами, готов, если прикажу, броситься в огонь и воду.

— Чего изволите, гражданин начальник?

— Хочу поговорить, Алексей Харитонович. Не возражаете? Садитесь, пожалуйста.

Он стоит.

— Садитесь! — более настойчиво говорю я.

Поколебавшись, он нерешительно опускается на краешек стула и удрученно ждет, что я скажу. Побледнел. В глазах испуг. Борода подрагивает.

— Как вам живется здесь, Алексей Харитонович?

— Хорошо, гражданин начальник. Никаких жалоб не имею. С утра до вечера благодарю вас.

— За что? Никаких привилегий я вам не предоставил.

— Жизнь вы мне спасли, гражданин начальник. Два

года надрывался на земляных работах. Тачку таскал. Льготную скидку зарабатывал. Мало спал, мало ел, и во сне каждая жилочка ныла, до самого утра не давала покоя. Переусердствовал, выдохся. Напарники полновесную пайку хлеба получали, с ударным приварком, а я — как филон, лодырь, отказчик, уголовная контра. Отощал, доходягой стал. И тут как раз, в самую мою черную годину, старший надзиратель стоняет мою бригаду с нар, выстраивает под лампочкой, пытается: «Есть среди вас кавалеристы?» Все молчат. Молчу и я. С детства я, как и всякий станичник, приучен к лошади, но кавалеристом себя не считаю. Казак. Кавалеристом всякий может быть, а вот казаком... Еще раз пытается надзиратель: «Кто имел дело с лошадьми? Кто верхом ездил? Кто умеет седлать коня, кормить, поить?» Теперь нельзя промолчать. Откликаюсь, говорю, что не боюсь лошади и дугу от овса сумею отличить. В тот же час и решила моя судьба. Живу в саду. Сплю на духовитом сене. Ем свою пайку, да еще и вашей, недоеденной, часто пользуюсь.

— На сколько вы осуждены?

— На полную катушку, гражданин начальник. Больше некуда.

— В чем обвинили вас?

— Назвали саботажником, шляпой с партбилетом в кармане, волком в овечьей шкуре, затаившимся подкулачником, тихой сапой и еще как-то — запомятовал. Прикрываясь председательской должностью, я подрывал колхозную жизнь на радость империализму. Обвинение что надо! По всем страшным статьям... Зря я вам все это говорю, гражданин начальник.

— Почему зря?

— Не поверите моим словам. Не должны верить. Всякий, кто попал сюда, отнекивается от приговора, не признает себя виновным. Старая песня. Неохота вам, гражданин начальник, ее слушать. Вы точно знаете, что в тюрьму попадают только виновные, а правые да чистые гуляют на свободе. Что наш суд зря не покарает.

Что я могу сказать? Говорю то, что должен говорить человек с ромбами:

— Что ж, это верно, Алексей Харитонович. Наш суд самый справедливый в мире. Конечно, порой случаются ошибки. Их стараются исправить... Расскажите о себе, о вашем деле. За что конкретно вас судили?

— Не погонял я, сказали, а саботировал хлебозаготовки. Преступно придерживал, сказали, валютное зерно, не

хотел продавать государству по твердой цене, чтобы сбыть втихомолку на базаре. Сказали, что создавал дутые, обманные фонды, втрое больше, чем надо для прокорма людей и скотины. Сказали, что открыто восхваляю колхозы, а тайно, тихой сапой, создал в правлении контрреволюционное гнездо. «Колхозы без коммунистов». Читали статью товарища Сталина... извиняюсь, гражданина Сталина «О работе в деревне»? Все плохое из этой статьи судья мне припечатал. Персонально! Старого кулака-зверюку, с лошадиными зубами, с толстой шеей, всем видного, плакатного кулака, как сказал гражданин Сталин, мы извели начисто. Теперь есть новый куркуль, «тихий», сладенький, почти святой. Вот и меня, когда я попал под горячую руку, зачислили в тихие и сладенькие... Верно, я сдал не весь хлеб, не дотянул немного до сверхплановой нормы. Можно было выполнить и перевыполнить, на красной доске красоваться. Почему, спросите, не дотянул? Дорого дюже. Накладно. Колхозников без хлеба, а скот без кормов надо было оставить. Совесть не позволила морить людей голодом. Не саботажник я, а голова колхоза, доверенное лицо хлебороба...— Он сам себя прервал, усмехнулся.— Мало ли кем и чем я себя считаю! Со стороны виднее, кто я такой. Назвали груздем и запихнули, куды следует. Вот так и загремел непрозорливый деревенский работник, незакаленный и переоцененный, как сказал гражданин Сталин. И теперь вот на лагерной наковальне перековываюсь, прозорливости набираюсь.— Алексей Харитонович шумно, всей грудью, будто собираясь нырнуть, вздохнул.— Гражданин начальник, сколько годиков накинете за мою храбрость?

Опускаю голову, внимательно разглядываю под своими ногами хорошо вымытые, выскобленные половицы. Ординарец потихоньку поднимается со стула, сдвигает босые ноги, вытягивается, козыряет:

— Разрешите быть свободным, гражданин начальник?

Опять торчу пугалом в котлованах прораба Пугача. Сегодня пришел сюда с твердым намерением поговорить с Федором Терентьевичем. Он, как я только появился, не дожидаясь расспросов, сам заговорил. Сел рядом со мной на бетонную трубу и, словно продолжая прерванный разговор, сказал:

— Я давно понял, что вы не чекист, а так... Не обносили обмундирование, не по вашим плечам оно. В барак входите без всякого шума и треска, неуверенно. Бывалый,

тертый начальник, входя в барак, сразу же передергивает пистолет на живот, поближе к пупу, чтобы какой-нибудь уголовный, подбежав сзади, не выхватил из кобуры оружие. А вы... забываете принять необходимую меру предосторожности. Есть у вас еще примета: чудные вопросы к заключенным. Гражданин начальник не задает вопросов. Ему везде и всегда все ясно, он видит лагерника насквозь и глубже... В общем, шила в мешке не утаишь. На тяжелую жизнь обрекли вы себя, товарищ писатель!

— Вы знаете даже это?!

— И не один я узнал вас. Фамилию можно изменить, а лицо не переделаешь. «Правда» печатала вашу фотографию. Земляки мы с вами. Я родился и до двенадцати лет жил в Makeевке.— Он помолчал, счищая с резиновых сапог сырые и тяжелые комья глины.— Вашей книгой я еще на воле зачитывался. Вот уж не думал, что придется встретиться. Да еще где!

— Как вы сюда попали, Федор Терентьевич?

— Как и всякий заключенный. По приговору советского суда.

— За что?

— В казенной бумаге сказано, что Пугач осужден как антимеханизатор, как злостный противник циклической системы добычи угля, как пособник вредителей.

— Признали себя виновным?

— Нет. Никогда не признаю себя виноватым ни перед Советской властью, ни перед совестью... Вам не страшно меня слушать, гражданин писатель? Перед всеми другими начальниками я глух и нем, а перед вами... Догадываюсь, зачем вы здесь... И о ваших переживаниях догадываюсь. Не найти вам того, что ищете.

Пугач положил на колени свою кожаную планшетку, до отказа набитую бумагами,— извлек из нее новенькую колоду карт в белой рубашке. Тасуя ее, как завзятый игрок, внимательно смотрел на меня и говорил:

— Помните, вы вечером в бараке застали меня за книгой? Еще тогда я начал готовиться к разговору с вами. Не надеясь на свои силы, обратился за помощью к Марксу. И вот что он мне сказал...— Пугач зажал в левой руке между большим и указательным пальцем талию карточной колоды, наугад достал карту и передал мне. Я взял плотный, аккуратно обрезанный листок картона, похожий на карту, перевернул и увидел несколько заковыченных, написанных чернилами строк.

«Народ видит наказание, но не видит преступления, и

именно потому, что он видит наказание там, где нет преступления, он перестает видеть преступление там, где есть наказание».

Я дочитал выписку до конца и, вертя картон в руках, не зная, что с ним делать, вопросительно взглянул на Пугача. Он достал из колоды еще одну карту и молча протянул мне. На ней было написано следующее:

«Задача состоит в том, чтобы сделать наказание действительным следствием преступления. Наказание должно явиться в глазах преступника необходимым результатом его собственного деяния,— следовательно, его с о б с т в е н н ы м д е я н и е м . Пределом его наказания должен быть предел его деяния».

Я не успел осмыслить то, что прочитал, а Пугач протягивает мне еще одну карту.

«Мудрый законодатель предупредит преступление, чтобы не быть вынужденным наказывать за него... Он не ограничится тем, что для членов одного класса устранил все то, что не д а е т и м в о з м о ж н о с т и подняться на более высокую ступень правовой сферы, а предоставит самому этому классу р е а л ь н у ю в о з м о ж н о с т ь пользоваться своими правами. Но если государство является для этого недостаточно гуманным, богатым и великодушным, то, по крайней мере, безусловный долг законодателя — не превращать в п р е с т у п л е н и е то, что имеет характер п р о с т у п к а , и то лишь в силу обстоятельств. С величайшей гуманностью должен он исправлять все это, как социальную н е у р я д и ц у , и было бы величайшей несправедливостью карать за эти проступки, как за антисоциальные преступления... Наказание не должно внушать большего отвращения, чем проступок, позор преступления не должен превращаться в позор для закона».

Пугач аккуратно подравнивает на ладони плотную стопку карточек и протягивает мне.

— Оставьте все эти выписки себе на память о нашей встрече.

Я беру пачку картонных пластинок, переворачиваю их исписанной стороной к себе. На верхней написана только одна строка.

«Истинный законодатель ничего не должен бояться кроме беззакония...» — Маркс.

Снизу, со дна глинистого котлована, кто-то требовательно кричит:

— Эй, прораб, сюда, живо!

Пугач поднимается с бетонной трубы, молча козыряет и уходит.

Вечером меня вызвал к себе Семен Фирин. Не подавая руки, не спуская с меня глаз, полных холода и настороженности, серого, напрямик, спросил:

— Скажи, Саня, чем тебя заинтересовал прораб Пугач? Можешь не отвечать, если хочешь. Предупреждаю: разговаривает с тобой не начальник лагеря, а твой доброжелатель, поклонник твоего таланта.

— Пугач,— говорю я,— заинтересовал меня прежде всего тем, что он и его бригада очень хорошо работают.

— Еще чем? — спрашивает Фирин. Смугло-желтоватое его лицо твердеет.

И я тоже начинаю сердиться.

— Тем, что он мой донецкий земляк,— говорю я, повышая голос.— Тем, что я увидел и почувствовал в этом прорабе душу настоящего человека.

— Вот как! — усмехнулся Фирин.— Интересно! Может быть, ты скажешь мне, что это за душа?

Я, хотя уже сознавал, что не следовало этого делать, рассказал Семену Фирину и о своем разговоре с Пугачем, и о своих сомнениях в том, что Пугач мог быть вредителем или пособником вредителей. И о тяжелых чувствах, вызванных этими сомнениями.

Фирин слушал меня, судя по его глазам, с полным сочувствием. Но когда он заговорил, я не услышал ни одного слова, созвучного моим переживаниям.

— Плохи твои дела, Саня. Оказывается, ты взялся не за свое дело. Может, пока не заработал грыжу, свалишь с плеч непосильный груз? Говорю тебе это опять как друг. Подумай!

Возвращаясь из Дмитрова к себе домой во Влахернскую, заехал на участок, где был начальником вольнонаемный Н., бывший «тридцатипятник», «перекованный» несколько лет назад на строительстве Беломорканала. Там он был досрочно освобожден, награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Войдя в лагерь, я направился в РУР, в роту усиленного режима, чтобы узнать, кто там сидит и за что именно наказан. РУР — это обычные тюремные камеры, с решетками на окнах и замками на дверях. Содержатся в них заключенные, совершившие какой-либо проступок.

В каждой камере я обнаружил мужика и бабу. Внутренняя лагерная тюрма стала домом свиданий! В первый момент я не знал, как поступить. С этим осознанным незнанием мне следовало покинуть РУР. Не проявил должной мудрости. Опытный работник не посмел бы замахнуться на уважаемого высоким начальством начальника участка, недавно получившего из рук Калинина орден Трудового Красного Знамени. А я расшумелся и, пользуясь властью, разогнал парочки по камерам-одиночкам. Бывший уголовник, досрочно освобожденный, орденосеиц полыхал мне в лицо винным перегаром и размахивал кулаками, требуя освободить своих разгулявшихся дружков. Тогда я приказал и опасного орденосеица водворить в камеру. На трезвых еще действовали мои ромбы.

Утром меня вызвали в Дмитров. На этот раз Фирин разговаривал со мной не у себя дома, а в штабе строительства, в кабинете. Грохнул кулаком по столу.

— На кого покушаетесь, Рыбалка? Вам хорошо известно, что начальник пятого участка награжден орденом. Вам также известно, что он назначен приказом наркома. Так почему учинили над ним расправу? Какое имели право подвергать аресту?!

Я пытался рассказать, чем вызваны мои вчерашние действия. Разговор закончился полным поражением товарища Рыбалки.

Фирин попрощался со мной откровенно враждебно, и я понял, что дни моего пребывания на строительстве канала сочтены.

Плохи мои дела. И Пугачу непоздоровится. Теперь ему вспомнят мой особенный интерес к его судьбе, наши разговоры о Марксе и многое другое. Боюсь, как бы не расправились с ним круто. Могут лишить звания каналоармейца и сослать на лагерную каторгу — в Восьегонск.

Вернувшись к себе, я стал собирать записные книжки, личные вещи. Надо покинуть канал, не дожидаясь особого приглашения.

Вышел на крылечко подышать свежим воздухом.

Мой ординарец предстал передо мной с полной корзиной краснобоких яблок.

— Отведайте, гражданин начальник. Спелые. Медовые.

— Спасибо, Алексей Харитонович, садитесь, погутарим.

Он сел на ступеньки крыльца и с тревогой посмотрел на меня.

— На вас лица нет, гражданин начальник. Что-нибудь грянуло неладное?

— Уезжаю, Алексей Харитонович. Последний вечер вместе. Прощальный вечер. Так вот... Прощаясь с вами, я хочу сказать... Считаю вас честным человеком, оклеветанным, невинно осужденным. Будь моя власть, я бы уже завтра отменил несправедливый приговор.

Казак разрыдался. А я пошел в дом, взял нужную бумагу и вернулся на крыльцо, где все еще сидел бывший председатель колхоза «Заветы Ильича».

— Алексей Харитонович, я написал прошение о вашем помиловании на имя товарища Калинина. Вся вашу историю обстоятельно описал. Прочтите и подпишите.

Я передал ему бумагу и авторучку. Он подписал, не читая. Дабы слезы не испортили прошение, отвернул лицо как можно дальше в сторону.

Фирин на другой день позвонил по телефону и сказал:

— Нарком велел передать тебе, чтобы твоей ноги не было на канале!

И повесил трубку.

Сколько всего я накликал на свою голову! И поделом мне. Не надо было соглашаться на лестное предложение: надеть малиновую фуражку и по два ромба в петлицы и стать певцом перековки. Не надо было менять рабочий Урал на строительство канала. Не мой это профиль — лагерь с его колючей проволокой и невинно осужденными работягами вроде инженера Пугача и Алексея Харитоновича.

Что же делать?

Иду на Лубянку. Еще недавно нарком был гостеприимен, а теперь... передал через своего секретаря Герсона, что ему не о чем со мной разговаривать.

Изгнание со стройки канала неприятно само по себе, но оно грозит еще и тяжелыми последствиями. Ягода позвонит, если уже не позвонил, Мехлису и расскажет, что я провалил важное задание редакции «Истории фабрик и заводов». Часто бывая в доме Горького, Ягода постарается убедить Алексея Максимовича, что я не оправдал доверия Горького, «Правды», чекистов.

Хорошо относится ко мне Алексей Максимович, но едва ли не поверит главному чекисту. Опасного недруга заимел я в лице Генриха Ягоды. Не сумел с его точки зрения воспринять

историю осуждения инженера Пугача и других каналармейцев, хотя бы моего ординарца-казака.

Для Горького каналармейцы — явление эпохи. Из сотни писателей, побывавших на ББК и на подготовительных площадках трассы Волга — Москва, он выбрал меня, предоставил мне честь быть летописцем строительства нового канала. Понадеялся на меня, а я... Простите, Алексей Максимович. Не мог поступить иначе — совесть не позволила. Не разобрался Ягода в том, что произошло в РУРе пятого участка, и рубанул сплеча. Приказ наркома не подлежит обжалованию. Да еще какого наркома — НКВД. Но я все равно стою на своем: никому, самому заслуженному каналармейцу и вообще кому бы то ни было, не позволительна вседозволенность.

Это и скажу Горькому. Поймет. Должен понять.

Иду к Алексею Максимовичу. Пусть Горький из первых рук, от меня, а не от Ягоды, узнает, что на самом деле произошло.

Вот и знакомая садовая калитка. Переступаю ее порог с большим волнением, чем в первый раз. Было бы ужасно, если бы Горький разуверился во мне.

Холодный и колючий ветер треплет уже голые ветви деревьев, несет по дорожкам сада желтый лист. Дождь, мелкий и въедливый, давит к земле дым костров. По стеклам особняка струятся мутные струйки.

Дверь в труднодоступный дом, к моему удивлению, оказалась открытой, вхожу беспрепятственно. Никто не останавливает меня ни в первой, ни во второй прихожей необычно тихо тут и пусто. Попадаю, никого не встретив, на половину секретаря Горького. Нет и Петра Петровича Крючкова. На его месте сидит один из тех, кто обычно дежурит в первой прихожей. От него я узнаю, что Алексей Максимович в Тессели, в Крыму. Очень плохо себя чувствует. Не работает. Не читает. Никого не принимает. Вернется в Москву с морозами, да и то если пройдет недомогание.

Улица Горького, 48, родная «Правда». Меньше всего надежд возлагал на Мехлиса, но все-таки пришел к нему. Лев Захарович всегда торопится, вспыльчив, резок, нетерпелив, клопочет через край бьющей энергией. Не сможет он выслушать меня внимательно, спокойно и доверчиво.

К счастью, ошибся. Мехлис выслушал меня, понял все, как надо.

— Работайте! — сказал он.

Благодаря Мехлису я еще раз попал на канал. Да еще в самый торжественный момент, в день его открытия. Это было через два года после моего изгнания, когда уже ни одна газета не писала о перековке.

Мехлис предоставил мне возможность помахать с башни Химкинского речного порта флагом победы — отправил на открытие канала специальным корреспондентом «Правды». И я, не скрою, с чувством реванша поехал выполнять почетное задание. Напечатал в «Правде» два больших очерка о путешествии по каналу на флагмане «Иосиф Сталин».

Конец восьмидесятых годов.

К концу своей жизни я и вся страна узнали о Мехлисе много такого, что до основания разрушило в моих глазах его прежний, времен моей юности облик. В годы войны он был особо доверенное лицо Верховного. На его совести разгром наших войск в Керчи и полтораста тысяч бойцов и командиров, попавших в плен. Даже его покровитель, узнав по телефону о нашем поражении в Крыму, закричал в телефонную трубку: «Будьте вы прокляты». С того времени Мехлис перестал быть начальником Главпура РККА и генерал-полковником. Был понижен в звании и назначен членом военсовета второстепенного фронта и, по старой привычке, строчил доносы на командующего в адрес Верховного, вмешивался в оперативные дела, в которых ничегошеньки не понимал, как и его покровитель.

После долгого раздумья решил послать в Крым Алексею Максимовичу доделанный, дополненный окончательный вариант рукописи романа. «Столица» стала «Судьбой». Сделал, кажется, все, на что способен. Гораздо больше, чем советовал Алексей Максимович. Первый вариант он принял безоговорочно, дал ему высокую оценку. Если бы и этот пришелся по душе! Он не требовал от меня значительных переделок, считал, что работа уже достойна публикации. Но я был строже к себе, чем даже великий классик. Очень хотелось сделать вторую книгу не хуже первой.

Вероятно, Алексей Максимович будет удивлен, что я еще раз присылаю рукопись, судьба которой окончательно решена осенью прошлого года, и не прочтет ее. Пусть и

так. Ничего страшного. Главное, чтобы он знал, как много дополнительного труда я вложил в то, что он так щедро одобрил ранее.

Все поймет Алексей Максимович. Великой души человек. Не я навязался ему со своей писаниной, он сам разыскал мою рукопись в ворохе рукописей, присланных в Кабинет рабочего автора Профиздата. Не просил его сказать доброе слово о моей книге на съезде писателей, он сам посчитал своим долгом высоко оценить ее.

Не навязывался и с рукописью второй книги — он сам настойчиво просил прислать ему. Ему хочется помочь молодому автору твердо стать на ноги. Вот как мне здорово повезло! До земли кланяюсь вам, дорогой Алексей Максимович.

Вместе с рукописью я послал письмо.

Однако я нечаянно, незаметно для себя забежал далеко вперед. Вернусь в осень тысяча девятьсот тридцать пятого года, к разговору с Мехлисом в редакции «Правды». Лев Захарович, после того как успокоил меня насчет Ягоды, неожиданно для меня, может быть и для себя, сказал:

— Если хочешь, если не страдаешь морской болезнью, можем послать тебя в заграникомандировку. Есть такая возможность. Черноморское пароходство открывает новую пассажирскую линию Одесса — Ближний Восток. Первым рейсом отправится прекрасный теплоход «Грузия». Побываешь в Турции, Греции, Египте, Палестине, Ливане, Сирии и еще где-то. Напишешь для нас несколько очерков. На чужой буржуазный мир посмотришь через свою рабочую призму. Себя, строителя легендарной Магнитки, покажешь.

В добром отношении ко мне Мехлиса я не сомневаюсь, однако и гнева Ягоды не забываю. Как бы не помешал переступить подчиненную ему границу — сухопутную и морскую.

— Чего молчишь? Говори, да или нет. Если согласен, то сейчас же приступим к оформлению.

— Я-то согласен, а вот Ягода... Выпустит ли меня за границу?

Мехлис сказал, чтоб об этом я не беспокоился, он с ним договорится, если возникнет такая нужда. «Мы с ним друг друга знаем и понимаем с полуслова. Не было случая, когда бы мы с ним конфликтовали. Он и во времена Дзержинского и Менжинского был основным работником. Товарищ Сталин, когда я был его помощником, чаще всего

через меня обращался к Ягоде, а потом уже к Менжинскому или его заместителям».

Говорил Лев Захарович просто, доверительно, будто и я имел право быть причастным к государственным и партийным делам и к тому, кто есть кто и на кого именно распространяется доверие товарища Сталина.

— Значит, согласен? — спросил Мехлис.

— Да, да, конечно, — поспешно сказал я.

Мехлис тут же позвонил по кремлевской вертушке наркому водного транспорта Пахомову и в течение двухтрех минут договорился о моем временном назначении на теплоход «Грузия».

На машине редактора «Правды» я подъехал к зданию наркомата на углу Петровки и Кузнецкого моста. Нарком Пахомов ни единой минуты не заставил меня ждать в приемной. Когда я вошел к нему в кабинет, он протянул мне плотный лист бумаги и сказал:

— Это выписка из приказа о зачислении вас помощником капитана теплохода «Грузия». Вручите начальнику Черноморского пароходства. К тому времени, когда вы приедете в Одессу, он будет в курсе и встретит вас должным образом.

Наркома Пахомова я надолго запомнил. Понравилась его обходительность и грубовато-простецкое лицо, обработанное ветрами всех широт, жарким солнцем тропиков и сухой снежной крупой Арктики.

Проводив меня до двери, нарком пожелал счастливого плавания и сказал на прощание: «Летом будущего года я могу, если не пропадет желание к морским путешествиям, устроить вас на теплоход «Кооперация». Совершите путешествие в Англию и Америку».

Вот как изменились мои дела. Не пропадешь с таким могущественным другом, как Мехлис. Редактор «Правды». Пост бывшего члена Политбюро Бухарина.

Прежде чем отправиться в Одессу, необходимо было придеться. По моей просьбе нарком торговли Вейцер Израиль Яковлевич распорядился, чтобы ателье Мосторга обмундировали меня для путешествия. Мосторговские мастера сшили мне демисезонное пальто, коричневый костюм-тройку, несколько рубашек. Изготовлен был и шикарный «рабочий» костюм — синяя морская форма с золотыми нарукавными нашивками. Не забыли и о морской фуражке.

Перед отъездом в Одессу я вырядился в новенький костюм и, конечно же, отправился на Арбат в Плотников

переулоч, чтоб покрасоваться перед своими друзьями Беспаловыми.

Фрада по привычке всплеснула ладонями, расхохоталась и сказала, что габардин и ратин оказались бессильными испортить симпатичного рабочего парня Магнитки.

— Валюту получил? — спросил Мехлис, когда я накануне отъезда в Одессу зашел к нему попрощаться.

— Все в порядке,— ответил я и показал тоненькую пачку английских фунтов стерлингов. К моему удивлению, Мехлис презрительно фыркнул.

— Какой же это порядок, если спецкору «Правды» выдали нищенскую сумму?

Тут же снял трубку телефона, набрал номер, назвал себя и строго выговорил, что мало выдали валюты.

— Крохоборничаете, дорогой товарищ. Дайте раз в семь, а то и в десять раз больше. Да, да, под мою ответственность. Распоряжение оформим потом, а сейчас поднимайтесь ко мне с долларами и фунтами и лично вручите их нашему спецкору.

Прошло минут пятнадцать или двадцать после звонка Мехлиса, и в его кабинете появился главный бухгалтер «Правды». Он вручил мне солидную пачку валюты, попросил расписаться в платежной ведомости.

Знал я силу Мехлиса, верил в его поддержку и все равно со страхом поднимался на борт «Грузии», ждал, что пограничники дадут мне от ворот поворот, если Ягода не захочет выпустить меня за границу. Напрасные страхи. Проверив мореходку, заменяющую загранпаспорт, и козырнув, пропустили.

Моими спутниками, кроме команды корабля, оказалась большая группа людей, говорящих не то на немецком, не то еврейском, не то еще на каком-то языке. На иностранных туристов непохожи. Нашенская беднота: одеты и обуты кое-как. С узлами, фанерными чемоданами, с мешками, набитыми чем-то мягким, с домашним скарбом: чайниками, ведрами, тазами, кухонной посудой. Стоят на корме вдоль борта и прощаются, похоже, с Одессой. Кто такие? Куда направляются? Зачем? Как могли получить право выезда за границу, когда его выдают только дипломатам да еще некоторым высокопоставленным

лицам по особому разрешению самой высокой инстанцией? На мои вопросы, обращенные к пожилому мужчине с пейсами, в старинном лапсердаке, в мятой шляпе, сделанной, вероятно, в прошлом веке, вызвался ответить человек в отличном твидовом пиджаке, надетом поверх белого свитера, ухоженный, с румяным лицом, привыкший хорошо есть и пить, быть независимым, всюду чувствовать себя как дома, в общем — бывалый, преуспевающий в жизни. Это я сразу почувствовал, как только он заговорил. Первыми же словами он отделил себя от корабельной бедноты.

— Зачем вопросы, дорогой товарищ моряк? Ведь за версту видно, что это местечковые евреи родом из Молдавии, южной Украины и Белоруссии, что покидают землю, где родились и выросли, и направляются в Палестину, где текут молочные и медовые реки с кисельными берегами, где на каждом дереве зреют золотые апельсины, где не бывает морозов, где падает с неба манна небесная, где на каждом шагу синагога, в которой никто не мешает молиться, откуда ближе всего до бога, царя Давида и библейского Моисея...

Балагур с Молдаванки? Один из прототипов одесских рассказов Бабеля? Подумав так, я произнес другие слова:

— А вы... вы тоже эмигрант? Направляетесь в Палестину?

— Да, я направляюсь в Палестину, но не эмигрант. Сопровождаю эмигрантов как полномочный представитель Красного Креста. Доставлю людей на место назначения и вернусь домой. Моя фамилия Бергер. А как прикажете вас величать?

Я назвал свою фамилию.

Меня интересуют эмигранты, но я не задаю Бергеру вопросов: рассчитываю на его словоохотливость. И правильно сделал:

— Почему же, товарищ моряк, вы не спрашиваете, как этим бедным евреям удалось вырваться из страны, в которой эмиграция категорически запрещена? За какие такие заслуги они получили правительственную привилегию? Ларчик раскрывается просто: имеют в Америке, Англии, Франции, Германии богатых родственников. Эти родственники и выкупили евреев у Советского правительства. Пятьсот долларов за одну голову... извиняюсь, за выездной сертификат. Так что правильнее было бы называть моих подопечных не эмигрантами, а проданными

душами. Живыми, а не мертвыми душами. Гоголь на новый лад.

Слишком смелые речи для представителя Красного Креста на борту советского корабля «Грузия», да еще на виду у Одессы и пограничников, у причальной стенки порта. Я промолчал. Мне показалось, что меня хотят втянуть в непотребный разговор. Нет, дальше он не пошел, почувствовал мою настороженность. Взял меня под руку и повел на то место палубы, где хорошо были закреплены трехэтажные квадраты ящиков-сеток с кудахтающими разноцветными курами.

— Это моих рук дело. Считаю своим долгом позаботиться о людях: обеспечить кашерной пищей. Жалко мне их, бедняг. Я ведь тоже еврей, как вы догадались, видел, и не раз, Землю Обетованную и все, что на ней происходит. Два города-близнеца раскинулись на берегу Средиземного моря — чисто еврейский Тель-Авив и чисто арабский Яфа. Только площадь с тюрьмой разделяет их. Но арабы не бывают в Тель-Авиве, а евреи в Яфе. И те и другие смертельно ненавидят друг друга. Еврей не сядет в такси, если за рулем араб. Араб и за версту не приблизится к еврею-таксисту. Хозяева Палестины англичане ничего не делают, чтобы примирить евреев и арабов, наоборот, разжигают вражду. Разъединяют и властвуют. Враждуют и евреи между собой: богатый с бедным, коренной с эмигрантом.

Бергер готов был рассказывать мне о Палестине и час и два, но его голос заглушила басистая сирена «Грузии».

Дрогнуло мое сердце от мощного гудка, в тысячу раз превышающего паровозный. Очень хотелось мне посмотреть на древние земли, где зарождалась цивилизация, но душу мою не притягивала к себе чужбина. Еще не видя ее, я был уверен, что она не затмит мне Магнитку с ее бараками, котлованами, с ее строительным хаосом, милым моему сердцу, ибо я угадываю в нем, в этом хаосе, безупречный будущий порядок гигантского металлургического комбината. Был я и останусь плотью от плоти Магнитки-матери, ее преданным сыном. Она меня очеловечила. Она призвала меня в культуру, в искусство, в литературу. В ее рабочем облике я вижу всю красоту человечества.

В теплый солнечный день «Грузия» покинула причальную стенку глубоководного порта Одессы со спецкором

«Правды» на борту, с евреями-эмигрантами, с представителем Красного Креста и, возможно, сексота Ягоды.

Поселили меня в одиночной каюте первого класса. Завтракал, обедал, ужинал в кают-компании вместе с командным составом корабля. Бывал, когда хотел, на капитанском мостике. Терпеливо выслушивал бесконечные разглагольствования Бергера о тяжелой жизни простого советского народа, о засильи бюрократии, о казнокрадах и дельцах-взяточниках. Расспрашивал евреев-переселенцев об их житье-бытье на покинутой Родине, о том, что собираются делать, как жить в Палестине.

Через ночь и день, в сумерки «Грузия» подошла к Босфору, взяла на борт турецкого лоцмана и двинулась дальше. Берега широченного таинственного Босфора сверкали огнями. По случаю праздника был иллюминирован и порт.

Более двух суток жил я на турецкой земле. Был в консульстве и торгпредстве. Бродил по Стамбулу. Любовался Айя-Софией и бывшим дворцом султана, минаретами и памятником Кемаль Паше Ататюрку, вождю турецкой революции. Между прочим, только там, в Стамбуле, я узнал, что Кемаль Паша и его будущий офицерский корпус жили какое-то время в окрестностях Баку, обучались военному искусству. Узнал я от консула и о том, что наша страна потратила немало золотых рублей; закупила в Чехословакии шкодовские пушки, пулеметы и всякое такое и вооружила революционную армию Кемаль Паши. Тот же консул с горечью поведал мне о делах сегодняшних. СССР построила для Турции в Кайсери текстильную фабрику, закупив в Англии новейшее оборудование. Сдали туркам крупное предприятие, что называется, под ключ. Надеялись, что на нем будут работать в качестве инструкторов советские специалисты, а турки пригласили немецких. Консул сокрушался:

— Не первый раз нас обводят вокруг пальца. Мы предупреждали Москву, но наш голос не был услышан. Если встретитесь с кремлевским начальством, расскажите, как нас одурачивают.

Записываю все, что сказал мне консул. Вернусь домой, расскажу Мехлису о том, что услышал в Стамбуле, что не доходит по чьей-то воле до Кремля. Лев Захарович, конечно же, доложит об этом Сталину, а тот, само собой, наведет порядок в наших отношениях с Турцией.

Дарданеллы и Мраморное море проходили при свете дня, и я хорошо рассмотрел, какие они, и зафиксировал свои впечатления в дорожном дневнике.

Тепло и солнце и осенняя прозрачность сопутствовали нам всю дорогу. Побывал я в греческом Пирее, в Афинах, в египетском Порт-Саиде с его Суэцким каналом и равниной, изрезанной рукавами Нила. Краем глаза посмотрел на огромный Каир с его пирамидами, сфинксом, верблюдами и песчаной пустыней, подходящей к городу. Открыл для себя Палестину с ее столицей Иерусалимом, Тель-Авивом, Яфой, Хайфой. Ходил и ездил по долам и горам Ливана и Сирии. Лицезрел колонны и развалины южной Семирамиды. Дивное было путешествие, достойное отдельного рассказа, но не имеющее права стать частью этой книги, так как это отвлекло бы читателя от темы Отлучения и всего того, что ему предшествовало. И все-таки скажу хотя бы кратко еще кое-что. После заграничного путешествия я стал смотреть на себя и на страну другими глазами, не притемненными шорами. Понял, что не весь тот свет, что видел в н а ш е м окне.

К родным берегам «Грузия» отправилась без единого пассажира, если не считать Бергера и меня. Ее трюмы загрузили египетским длиноволокнистым хлопком, джутовыми кипами, палестинскими апельсинами и другими дарами Ближнего Востока. На обратном пути я уже не стоял у борта, не вглядывался в неведомые края. Вдоволь насмотрелся. И соглядатай перестал меня «разрабатывать» — то ли постиг мою сущность, то ли потерял надежду заглянуть мне в душу.

Когда и как прошли Средиземное, Ионическое, Мраморное моря — не видел. Сидел в каюте и кропал путевой дневник. Бросил работать, когда вошли в проливы. Любовался Дарданеллами, Босфором, европейским и азиатским берегами.

Зашли в Стамбул. Перенасыщенный впечатлениями от всего, что видел в Греции, Египте, Палестине, Ливане, Сирии, Суэцком канале, на берег я не сошел. Видел я уже Стамбул с его Золотым рогом, Айя-Софией, султанским дворцом и прочим. Кипа московских газет двухнедельной, а то и трехнедельной давности приковала к себе. Укрылся в каюте и погрузился с головой в чтение «Правды». Сколько важных событий произошло в Стране Советов, пока я путешествовал! Самое главное из них, все

затмевающее — всесоюзное совещание стахановцев в Большом Кремлевском дворце, на котором на заключительном заседании выступил Сталин. Большая его речь напечатана 22 ноября. Уйма обобщений, указаний, советов, проникновения в настоящее и будущее. Расчудесный анализ нашей жизни. Проникновение в душу трудового народа. Читаю с карандашом в руках. Конспектирую. Размышляю. Набираюсь сил. Приобщаюсь к величию Сталина.

В то время, когда он произносил речь в Кремле, «Грузия» находилась где-то в Средиземном море, кажется, недалеко от Палестины, а может быть, в Египте. А я стоял на верхней палубе у борта и смотрел на небо, усеянное невиданными чужими звездами. Странно, что не чувствовал, не догадывался, какие важные для моей жизни слова в это самое время произносит Сталин своим тихим, глуховатым голосом. Должен бы чувствовать. Ведь я, как и миллионы людей, связан с ним духовными узами. Невидимыми, но живыми, постоянно действующими, по которым течет в обе стороны высочайшего накала энергия. Энергия народной жизни.

По капле, по крупинке собираю мысли Сталина, воплощенные в обыкновенные, кажется, слова. Впитываю все сказанное великим кормчим — и расту в собственных глазах.

Беру «Правду», вышедшую в субботу. Ее передовая названа просто, скромнее скромного: «Речь Вождя». Еще не читая, я решил, что написана она Мехлисом, человеком более чем кто-либо другой приближенным к Сталину. Решительная рука Льва Захаровича чувствуется уже в первом абзаце передовой. В ней сказано: «Опубликованная вчера речь товарища СТАЛИНА на первом всесоюзном совещании стахановцев возвещает новый этап строительства социализма. Эта речь — манифест победоносного пролетариата, сочетавшего кипучую энергию юности со смелостью мыслей и широчайшей далью перспектив. Словно гигантский факел поднят над головами, и отчетливо стали видны причины, вызвавшие стахановское движение, пути, которыми оно пойдет, преграды, стоящие на этом пути, и конечные цели, которых мы достигнем, сломив все преграды».

Прекрасное начало. Далее, во втором абзаце и в следующем третьем точно сказано:

«С исчерпывающей полнотой показал товарищ

СТАЛИН грандиозное значение стахановского движения. Оно, это движение:

«Ломает старые технические нормы, как недостаточные, перекрывает в целом ряде случаев производительность труда передовых капиталистических стран и открывает, таким образом, практическую возможность дальнейшего укрепления социализма в нашей стране, возможность превращения нашей страны в наиболее зажиточную страну».

...Оно подготавливает условия для перехода от социализма к коммунизму.

...Оно содержит в себе зерно будущего культурно-технического подъема рабочего класса.

...Оно открывает нам тот путь, которым только и можно добиться тех высших показателей производительности труда, которые необходимы для перехода от социализма к коммунизму и уничтожения противоположности между трудом умственным и трудом физическим».

Вот такие дела происходят дома. Вот что натворил один наш забойщик. Всколыхнул многомиллионную массу. Весь рабочий народ. Воодушевил. Указал дорогу. Оказывается, и один сталинский воин может стать решающей силой на всенародном поле боя. Оказывается, Стаханов своим почином открыл для рабочего класса советской державы возможность перекрывать производительность труда передовых капиталистических стран. И не когда-нибудь, не в далеком будущем, а уже в наше время. Завтра! Сегодня. Каждый наш рабочий день страны — ступенька к коммунизму. Каждая рабочая смена — богатырский шаг к зажиточной жизни. Грандиозные перспективы стали видны с высот, достигнутых Стахановым и узаконенных речью товарища Сталина.

Читаю передовую и упиваюсь. Действительно это манифест новой эпохи. Радуюсь всей душой, всем сердцем. И в то же время сожалею, что я, писатель рабочей темы, не связан со Стахановым, со стахановским движением, не нахожусь у его истоков, не пишу о нем хотя бы очерков. Но я утешаю себя тем, что я по существу, работая машинистом паровоза на Магнитке, еще в тридцать втором году, еще за три года до подвига Стаханова уже был стахановцем: заключил договор с доменщиками о социалистическом соревновании, отличался каждый день, каждую неделю, каждый месяц высокой производительностью труда: чуть ли не вдвое больше нормы перевозил жидкого чугуна от домен к разливочным машинам.

За иллюминатором корабля вечерний Стамбул с ненашенским звездным небом, а я приковал себя к газетам. Они куда интереснее для меня, чем экзотический Стамбул. То, о чем рассказывает «Правда», — настоящее и будущее моего народа, моя личная судьба, а Стамбул... всего лишь прошлое, хотя и само по себе очень привлекательное.

Да, говорю я вслед за «Правдой»: «Стахановское движение войдет в историю нашего социалистического строительства как одна из ее славных страниц». Да, товарищ Мехлис, вы правы, констатируя, что наступило чудесное время, когда идея Сталина о том, что технику надо использовать до дна, подхвачена народом, что искры, высеченные идеей Сталина 4 мая этого года, «рассыпались по необъятным просторам родины социализма, раздуваемые трудовым энтузиазмом передовых пролетариев, слились в могучее пламя стахановского движения».

Правы и там, где утверждается:

«Так оправдалась еще раз мечта Маркса и Энгельса о том времени, когда идеи будут предугадывать и предопределять ход жизни, ход исторического процесса. Когда Энгельс готовил «Анти-Дюринга» и думал о роли идей в истории, он записал в своих тезисах, что во всех тысячелетиях людьми всегда достигалось нечто иное, чем то, чего они желали, а в большинстве случаев даже противоположное. И только в отдаленном будущем — мечтал Энгельс — можно будет поставить с головы на ноги этот порядок вещей: люди смогут знать наперед о необходимости изменения отношений и пожелать этого изменения прежде, чем оно будет навязано помимо их сознания, их воли».

И это отдаленное будущее вплотную приблизилось к нам в тридцать пятом. Мы живем в нем. Мы наперед знаем, что победим и в мировом масштабе.

И далее, еще одним абзацем ниже Мехлис утверждает:

«Это чудесное время наступило, и яркое доказательство тому мы видим на всем протяжении последних лет. Мудрость советского народа, воплощенная в Сталине, предугадывает от этапа к этапу социалистического строительства пути и желаемые результаты, жизненные предвидения Сталина оправдываются жизнью, практикой, реальностью».

Из этих реальностей родились стахановцы и стахановское движение.

Реальностью становится сталинская идея — лозунг

зажиточной жизни. И самой «основой» стахановского движения послужило прежде всего коренное улучшение материального положения рабочих. Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее».

Читаю передовую как великое политическое откровение, как программу жизни для всего народа и мою личную. Свои прежние планы отменяю. Отныне прежде всего я должен писать о том, как родилось в народе стахановское движение, о том, как возникает в рабочем человеке стахановская мысль, стахановское чувство. Стахановское, а не каналармейское, эковское, внушенное колючей проволокой, лагерной решеткой, лагерными методами.

Передовая «Правды», увы, призывает и к насилию. Об этом сказано напрямик, что называется, в лоб. И не словами Мехлиса, а самого Сталина.

«Первая главная всеобъемлющая задача — устранение всех помех и преград, стоящих на пути стахановского движения.

Наибольшей помехой стояли и еще стоят старые технические нормы, которые уже не соответствуют возросшему уровню культуры советских рабочих и работниц, являются выражением и отражением нашей прежней отсталости. Консерватизм части хозяйственников и инженеров, цепляющихся за эти отжившие нормы, является одним из препятствий на пути нашего движения вперед, и нельзя думать, что эти помехи мелки, будто консерватизм этот рассеется, рассосется сам собой.

Разумеется, метод убеждения будет и в данном случае первым и главным методом борьбы с консерваторами... Но глубоко было бы ошибочно отказываться наперед от репрессивных мер воздействия на консерваторов».

Вот такая формулировка вождя. Черным по белому напечатана.

Поразмышляем, пофилософствуем над фразой, в которой центральное ключевое место занимают слова «репрессивных мер». Страшные слова. Неуместные. Не из социалистического лексикона. Несовместимы с понятием освобожденный труд, соцсоревнование, энтузиазм, трудовой подъем и всем нашим образом жизни. Репрессии — это возбуждение против того или иного человека уголовного дела, арест, допросы, приговор, тюрьма, ссылка, расстрел.

Нет, не репрессии способствуют выращиванию пшеницы на крестьянских полях, а хозяйское отношение к земле, вековая привязанность к труду землепашца, весь уклад

крестьянской жизни. В этом мы убедились в год великого перелома, в годы сплошной коллективизации с ее многочисленными перегибами, так убедительно осужденными товарищем Сталиным в его знаменитой статье «Головокружение от успехов», которую надо было бы назвать более точно, более справедливо, скажем, так: «Головокружение от показушных успехов». Многому нас научили и насильственные хлебозаготовки, вызвавшие на Украине, Кубани, Дону, на средней и нижней Волге голод, унесший жизни миллионов хлеборобов. Насилие над народом никогда и никому не приносило добра, если оно даже пыталось добиться доброй цели. Насилие начинается там, где кончается единство людей, свобода, братство, работа над общим делом и где интеллект и здравый смысл исчерпали себя. Насилие тотальное, без разбора, насилие как политическая кампания — это бесчеловечность. В лагерях Ягоды мне это стало ясно как божий день.

В надежде уличить себя в неверном толковании передовой и доклада Сталина снова и снова перечитываю исторические документы и не могу отделаться от первого впечатления, что слова «репрессивные меры» несовместимы с главенствующим смыслом и духом сталинского выступления.

Тем временем, пока я размышлял и читал газеты, заработали двигатели «Грузии» — признак того, что корабль готов отдать швартовы. В такую минуту невозможно оставаться в каюте. Хочется в последний раз взглянуть на берега Босфора. Вряд ли когда-нибудь жизнь преподнесет мне такой подарок — вдоволь полюбоваться дивным краем, вдохнуть теплый воздух южной ночи.

В Босфоре было лето, с берегов, казалось, доносился запах казанлыкских роз, благородного лавра и теплой земли, а в открытом море хлещут семь ветров, накатываются волны одна выше другой и мощнее, водяными брызгами насыщен воздух. Исчезли звезды, и тяжелые громады туч, набухшие влагой, нависли над бурными просторами моря. Русская поздняя осень в пределах Турции.

Не спит и мой спутник Бергер. Расхаживает, как и я, по нижней палубе, где тише, чем наверху, меньше болтает. Тоже, наверное, прощается с границей и мысленно готовится к встрече с Родиной, с Лубянской.

Поравнявшись со мной, не остановился, бросил на ходу:
— Ну и погодка!

И, не ожидая ответа, проследовал дальше.

Интересно, какое сексотское донесение он сочинит обо мне. Интересно и страшно. Не оговорит ли, как оговорили горного инженера Пугача и председателя колхоза Алексея Харитоновича? Не предпримут ли и против меня репрессивные меры, узаконенные теперь самим Сталиным?

Еще в прошлом году слышал я, что арестован и сослан куда-то поэт Мандельштам, что удивительно своеобразный, талантливый прозаик Андрей Платонов самим Сталиным назван сволочью, что над Борисом Пильняком, написавшем повесть о непогашенной луне, занесен державный топор, что выслан за границу Евгений Замятин, автор вредного романа «Мы», что пьесы Булгакова «Дни Турбиных», «Бег», «Зойкина квартира», «Багровый остров» признаны идеологически вредными, с белогвардейским душком. Даже Шолохов со своим нашумевшим «Тихим Доном» пришелся не ко двору. Даже превосходные стихи Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой считаются несозвучными нашей эпохе, эпохе Сталина. Неправда это. Ведь Сталин писал и печатал на грузинском языке стихи.

Не писал, не пишу и не напишу в будущем ничего вредного для людей, не встречался за границей с чуждыми или подозрительными элементами, не совершил никаких противозаконных проступков, не поддерживал разговор Бергера, когда он хвастался знакомством с наркомом Ягодой и его секретарем Герсоном. Не проговорился, что не раз бывал на Лубянке, знаю все ее входы и выходы, видел зал, где заседают члены коллегии, не признался, что сам носил форму чекиста на строительстве канала Москва — Волга, не причастен никаким боком к контрабанде, ни в чем не виноват — и тем не менее боюсь, что в Одессе при досмотре корабля пограничники и таможенники придерутся, учинят обыск, допрос с пристрастием и передадут в органы, то есть в руки Ягоды.

Обошлось. Беспочвенные страхи. Сошел на берег даже без досмотра вещей, купленных в Стамбуле, Афинах, Египте, Палестине и еще где-то.

В тот же день покинул Одессу.

Москва встретила меня легким ноябрьским морозом и девственно чистым, белее белого, пушистым снегом. В столице я пробыл всего несколько дней. И поехал не на

Урал, где мой дом, моя работа, моя судьба, а совершил еще одно путешествие. Соблазнился возможностью побывать в Донбассе, откуда я родом, где прошло мое детство, отрочество, юность, где я много бедствовал, часто голодал и холодал, терпел унижения и куда вернусь победителем. Союз писателей включил меня в творческую бригаду, в составе которой были почитаемые мною, прославленные писатели Исаак Бабель, Юрий Олеша и совсем молодой Ярослав Смеляков. Во время поездок по Донбассу, на встречах с начинающими донецкими писателями я глаз не сводил со своих кумиров, старался разгадать тайну их таланта, литературного мастерства, постичь характеры. Я был не такой, как они, и не желал быть похожим на них, хотел выявить себя в творчестве иначе. У меня был иной жизненный опыт, иное поле деятельности, иные социальные корни. И все же меня тянула к ним неодолимая сила. Я чувствовал их превосходство над собой и пытался понять его природу.

Общение с Бабелем, Олешей, Смеляковым стало для меня важной вехой жизни: я понял, почувствовал, что они уже настоящие писатели, что их таланты уже стали крупными величинами, а мой только-только прорезается и еще неизвестно, не суждено ли ему захиреть, если я не помогу ему всеми силами души, каждодневным, каждочасным трудом, поисками собственного места в жизни, в литературе.

Невеселой была моя «божественная беседа с самим собой» в Донбассе. Да и не могла быть иной в присутствии Бабеля, Олеси, Ярослава Смелякова.

Прочно установилась московская зима. Последние, декабрьские дни тридцать пятого года. По снегу, по морозцу отправился на Малую Никитскую. На этот раз не зря пришел.

Секретарь Горького Крючков Петр Петрович, раньше всегда любезный, встретил меня ледяным молчанием. Порылся в бумагах, угрюмо вручил мне письмо в незапечатанном, без адреса, конверте. Я тут же, подойдя к окну, стоя (сесть меня не догадались пригласить), прочитал послание Алексея Максимовича. Ужасно!.. Пригвоздил!.. Вот тебе и доброжелательный, сентиментальный, щедро ласковый крестный... Наверняка поверил оговору Ягоды.

Еще и еще перечитываю письмо. В нем ни единого слова о том, что произошло в лагере, но я уверен, что тайная суть дела в этом.

Вот что написал мне А. М. Горький. (Письмо без даты. Хранится в архиве Института мировой литературы имени А. М. Горького.)

«А. Авдеенко.

Работали Вы над рукописью все-таки мало и небрежно. Первая половина ее, страниц 150—170, требует, чтобы Вы еще раз прочитали рукопись и сократили ее, особенно в начале, где Вы рассказываете о рождении Недоли, о смерти его матери. Кстати, причина смерти не ясна, роженица умерла от кровоизлияния или оттого, что ей разбили голову? И как она отделила сына от пуповины? Вы очень часто пишете о том, о чем у Вас нет ясного представления, и это говорит о несерьезном отношении Вашем к делу. А несерьезное, поверхностное отношение Ваше к литературной работе объясняется тем, что Вам очень дешево далась известность. Вам следовало бы помнить, что рукопись «Я люблю» дважды читал и правил Вс. Иванов, да и я читал, да вот и теперь прочитал «Судьбу» второй раз. Так что Вы въезжаете в литературу на чужих хребтах.

Я не сказал бы этого, если б видел, что Вы учитесь, но я этого не вижу. Изобразительные приемы Ваши не стали богаче, язык не стал ярче и точнее. Определения не продуманы, сравнения редко удачны, и вообще незаметно, чтоб Вы стремились писать с той четкостью и наглядностью, которая необходима Вам и является первым условием подлинного искусства.

Очень много слез в этой Вашей повести, выбросьте половину. Для Шаховского Вы оставили так мало места, что он оказался лишним. Сцена его агитации во время пожара станицы — мало вероятна благодаря той бедности красок, с которой Вы написали ее. Очень бедно написана и катастрофа: на стр. 281—85. И вообще повесть остается почти такой же неудачной, какой она была в первой редакции, когда Вы назвали ее «Столица». Теперь «Столица» превратилась в «Судьбу».

Значение понятия «судьба» Вам, должно быть, не очень ясно.

А Вам пора бы знать, что понятие «судьба» возникло из церковного «учения о предопределении»,— о том, что жизнь каждого из нас заранее предопределена,— волею бога. Понятие это выражено в десятках таких пословиц и поговорок, как, например: «Судьба — нам судья», «Против судьбы не поперешь», «Жадна губа, да строга судьба» и т. д.

Судьба имеет и другое наименование — «доля». Вспомните песню:

«...доля бедняка
Тяжела ты, безотраднa.
Тяжела, горька».

Вспомните, что бедняк стал хозяином жизни, героем труда. Отсюда понятно, что в советском лексиконе слово «судьба» не должно иметь места. Магнитогорск создавался не по воле божией, а после постановления ЦК партии и по плану, созданному советскими инженерами.

Взяв материал, грандиозный по его социально-революционному значению, Вы поставили в центре его жизнь — «судьбу» — человека ничтожного, и весь смысл гигантского строительства сведен Вами к превращению землекопа в сталевара. При этом Вы тщательно отодвигали Вашего героя в сторону от всех катастроф, которые должны были до полусмерти напугать его и вышвырнуть из процесса строительства.

Если Вы возьмете на себя труд подумать о значении строительства во всем его объеме — Вам будет ясно, как ничтожна Ваша повесть и ничтожен ее главный герой — «Недоля», — неудачный кандидат в кулаки и мироеды».

Понадобилось немало времени, чтобы я более или менее пришел в себя после столь разгромного послания и написал ответ.

Воспроизвожу свое последнее письмо А. М. Горькому, копия которого любезно предоставлена мне работниками ИМЛИ.

«Алексей Максимович!

Я долго думал над Вашим письмом. Неужели его писала та нежная, теплая рука, лежавшая на моей груди всего год назад, рука отца, мудрого учителя, чуткого человека, сказавшего мне самые прекрасные на земле слова об искренности, о сердечном запале? Я эти слова жаждал носить в своем сердце целую жизнь. Я Вас возвеличил как человека. Вы, прежде всего как человек, заполнили мою душу. Сталкиваясь с тысячами людей, я мысленно им говорил: вы должны быть такими, как Он.

Вот почему мне тяжело было читать Ваше письмо. Я думал, что какое-нибудь невероятное раздражение, глубокое горе водили Вашим пером.

Да чего я только и не передумал.

Как бывает в несчастье, вспомнилось самое плохое, что было в моей жизни. Меня до крови избивали кулаками,

исхлестывали мокрыми веревками, колотили жердями в спину, как в барабан. Ну тогда понятно, за что меня били. У лабазников я отщипнул от краюхи их счастья крошку счастья себе. А что я сейчас украл? Кровью своего сердца, горькими словами моих сестер и братьев, невыплаканными слезами моей матери я написал книжку «Я люблю».

Разве Вс. Иванов написал за меня хоть одну строчку? Разве следует бить меня за то, что Вс. Иванов, как член редколлегии альманаха «Год XVI», читал и правил рукопись?! Разве помощь и совет старших считаются воровством, паразитизмом, тунеядством? Конечно, нет. Зачем же написаны Вами жестокие слова — «Вы въезжаете в литературу на чужих хребтах».

Слова, слова какие подобраны!

Вы трижды повторяете с музыкальной последовательностью слово, которого не должно быть в социалистическом лексиконе: «ничтожного», «ничтожна», «ничтожен».

Максим Недоля ничтожен? Вы глубоко неправы. Таких людей, как он, миллионы. Их настоящую, человеческую судьбу сделала и делает Советская власть. Да и Вы совсем недавно были такого же мнения. Даже больше того: этот «ничтожный герой» Вами мне подсказан, Вы о нем писали в одной из Ваших программных статей несколько лет назад как о прекрасном человеческом материале для писателя. Я хорошо помню весну 35 года, когда я Вам рассказывал о нем, «ничтожном герое». Вы восторгались. Вы, улыбаясь, ласково смотрели на меня. Вы благословили меня продолжать писать роман и в письме к секретарю магнитогорского горкома партии Вы писали, что роман будет иметь «серьезнейшее культурно-революционное значение».

А теперь Максим Недоля ничтожество. Как быстро Вы обесцениваете людей. Мне больно за Недолю как за человека, больно и за себя, за свое человеческое достоинство, попираемое Вами. И мой герой Недоля, и я, мы много раз слышали от людей горькие слова о своем ничтожестве. Слова эти покривили нам душу. Зачем же ее кривить и дальше?!

Алексей Максимович! От Вашего письма я страдаю как человек. Будь Ваши слова о рукописи трижды ругательнее и действительно трижды справедливее, я смолчал бы и стал писать только лучше. Но, Алексей Максимович, я как человек не могу молчать. Горечью, обидой и за себя, и за Максима Недолю, ставшего человеком, переполнено мое сердце.

Вы, Алексей Максимович Горький, пятьдесят лет

мечтающий о Человеке, должны понять, как тяжело на сердце, когда у вас отнимают право не только называться человеком, но и мечту стать человеком отнимают.

Ни права, ни мечты не вырвать у нас, Алексей Максимович. Зубами буду защищать это свое существо. Максим Недоля тоже человек. Да еще какой! Сравните биографию Стаханова и Максима. Много у них есть общего. Скажите живому Недоле, что он ничтожество,— зубами он вырвет у Вас признание, что он человек.

Горько мне, Алексей Максимович, не мне бы Вам писать о Человеке, о достоинстве человеческом.

Москва, 6 января 1936 года».

Алексей Максимович не предал в свое время огласке эти письма, что ему легко было сделать. Видимо, вспомнил, как обстояло дело в действительности.

Повесть «Я люблю» была опубликована в альманахе «Год XVI» не потому, что я влез на хребет Горькому и Всеволоду Иванову, а потому, что работники альманаха во главе с Леопольдом Авербахом сами раздобыли в Кабинете рабочего автора мою, уже подготовленную к печати рукопись. К Всеволоду Вячеславовичу Иванову рукопись была переправлена не мною, а редколлегией альманаха «Год XVI» с целью ее сокращения ввиду того, что она «не влезала» в уже сверстанный номер.

И еще одна справка — из личного архива Горького.

По просьбе Горького А. С. Щербаков написал отзыв о повести «Столица». Позднее она была опубликована под названием «Судьба».

Осенью восемьдесят восьмого года моя Люба прочитала в полном собрании сочинений Горького в томе 30 на странице 366 горьковское письмо А. С. Щербакову, имеющее прямое отношение к моей рукописи.

«Конец ноября 1934 г. Тессели. А. С. Щербакову.

Ваше письмо Авдеенке, дорогой мой товарищ, я прочитал с чувством глубокого удовлетворения, с радостью. Вы написали деловитую, убедительную рецензию в хорошем, подлинно литературном тоне...

Всех благ! Письмо Авдеенке хорошо. Я послал мою рецензию, но она набросана мною для самого себя и значения — не имеет.

А. Пешков».

Это письмо Алексей Максимович послал Щербакову вскоре после моего отъезда из Тессели и, стало быть, сразу после прочтения моей рукописи «Столица».

18 июня 1936 года, когда земля была в цвету, когда радовалось жизни все живое, Алексей Максимович Горький скончался.

Ушел. Замолчал.

Лежит величественно спокойный. Единственное в мире лицо. Горьковские усы. Горьковские губы, таящие добрейшую и умнейшую улыбку. Горьковские глубокие морщины. Горьковские скулы. Горьковский лоб. Смерть, кажется, не посмела оставить своей печати на его облик.

Утопает в красных розах, в красном бархате, в красных лентах, в кумаче.

Кто-то прикрепляет к моему рукаву траурную повязку, кто-то деловито шепчет, что моя очередь стоять в почетном карауле, а я не могу подняться со стула. Не могу сдержать рыданий.

Еще одна встреча, определившая мою судьбу на немало лет.

Журнал «Октябрь» послал верстку романа «Судьба» наркомом тяжелой промышленности Орджоникидзе. Григорий Константинович прочитал, позвонил в редакцию, выразил желание встретиться с автором.

С радостью и тревогой иду на площадь Ногина. Мнение такого читателя для меня чрезвычайно важно.

Серго быстро и легко вышел из-за стола, крепко пожал мне руку, усадил в кресло, сам сел рядом.

— Читал ваш роман с обостренным интересом. С обостренным потому, что писатели обидно мало пишут о рабочем классе. Любите вы Магнитку, немало хороших слов сказали о ее строителях. Тем не менее мне показалось, что Магнитку в «Я люблю» вы понимаете лучше, чувствуете глубже, чем ту же Магнитку, названную Железногорском, в «Судьбе». Мое мнение далеко не категорическое. Вполне допускаю, что ошибаюсь. Так или иначе, вам ни в коем случае не следует покидать дорогу, по которой вы шагаете. Это ваша кровная тема — жизнь рабочего класса, жизнь строителей, доменщиков, сталеваров, шахтеров. Великая честь быть певцом рабочего класса... Сколько вам лет?

— Двадцать семь неполных.

— Совсем молодой человек. Вся жизнь впереди. Завидная доля. Ваша молодость совпала с молодостью страны, народа.

Серго опустил ладонь на лежавшую перед ним верстку.

— Лично у меня нет возражений против того, чтобы роман был напечатан. Но не могу не сказать, что не узнал я себя в описанном вами наркомом тяжелой промышленности.

Безликий получил нарком. А ведь это нелегкая должность. Обязан быть в курсе дел каждого крупного предприятия. Должен вовремя поощрять смелых, инициативных, предприимчивых и призывать к порядку зазнавшихся, работающих больше на себя, чем на государство. Долг наркома — подбирать, выдвигать командиров промышленности по уму и таланту, а не за уменье красноречиво, не за личную преданность. Если я назначил, скажем, Трейдуба, Лихачева, Гвахарию, Гугеля директорами заводов, то готов за каждого отвечать головой. И они это знают. И ошибок от меня не скрывают. И я правдив с подчиненными всех рангов. Непростые отношения у наркома с верхами. От него требуют металл все в большем количестве и наилучшего качества и ассортимента, требуют новейшие трактора, экскаваторы, комбайны, автомобили, станки. И все — досрочно. С утра до глубокой ночи занят выплачиванием долгов. О себе, о домашних делах подумать некогда. Но только так и умею жить. И от других требую преданности делу. А у вашего наркома нет характера, нет своего языка.

Серго отечески-ласково посмотрел на меня.

— Не огорчайтесь, что не за все хвалю. Над чем дальше собираетесь работать? О чем будет третья книга?

— Наверное, все о том же — о Магнитке, — ответил я.

— Опять Магнитка!.. Не многовато ли? А почему бы вам не написать современный роман о своей родине — о Донбассе? В Донбассе на шахте «Ирмино» — Стаханов, на горловской «Кочегарке» — Никита Изотов. В Макеевке прекрасно директорствует Гвахария, плавит чугун мастер Коробов. В Мариуполе, на Азовстали, известный вам Яков Семенович Гугель. Хорошо ведет завод. Подвиг Стаханова определит трудовой ритм всей страны на многие годы. Донбасс стал авангардом пятилетки. Будь я на вашем месте, я бы, ни минуты не колеблясь, переселился в Донбасс. Переселяйтесь! Мы создадим вам условия для жизни и работы.

Серго откинулся на спинку кресла, устало перевел дыхание, посмотрел на меня долгим взглядом.

— Вроде бы уговорил. А?

— Уговорили, — согласился я.

Серго повеселел, хлопнул ладонями по столу.

— Я сегодня же позвоню в обком Саркисову и на завод Гвахарии, чтоб приготовили жилье и все такое. Где вы хотите жить?

— В родной Макеевке.
Так уралец снова стал донбассовцем.

День моего рождения, 21 августа 1936 года. Еду из Москвы в Донбасс своим ходом, на собственной «эмке», блестящей черным лаком, хромированными бамперами, радиаторной решеткой, ручками и фарами. Недавно, буквально на днях, купил в Гутапе — Главном управлении тракторной и автомобильной промышленности. Товарищ Серго и его помощник Семушкин помогли. Нашенская машина, только что созданная, в диковинку даже столичным жителям. Заводской номер — сто первый. Неудивительно, что люди с нее глаз не сводят, а заодно — и с водителя.

Вид у меня, как я теперь понимаю, был довольно непривычный: коричневый заграничный пиджак, шерстяная рубашка с заграничным галстуком, на руках — коричневый лайковые перчатки. Нет, я не осуждаю себя тогдашнего. Молодости свойственно выглядеть, если есть возможность, и нарядно, и красиво. Молодость грешит и тем, что не прочь при случае выделиться чем-нибудь, прихвастнуть. Я говорю об этом к тому, что не в белом венчике из роз ехал я в Донбасс, хотя чувства были самые благие. Я искренне был уверен, что оправдаю доверие, оказанное любимым наркомом.

При тогдашнем бездорожье мой автопробег был рискованным. Ни единого километра асфальта — булыжник, щебенка или пыльный большак, именуемый грейдером. Ни единой заправочной станции на полуторатысячном пути. Ни единой автомастерской. Никакой дорожной службы. Нечего было регулировать.

Между Орлом и Курском спустило левое заднее колесо. Поставил запасное и поехал дальше. Если спустит еще одно, плохо придется. Пижон! В дальнюю дорогу отправился в лайковых перчатках, без запасной камеры, без вулканизатора.

До Курска, слава богу, добрался благополучно. Но, не доехав до Белгорода, получил прокол, и моя новенькая «эмка» зашкандыбала, остановилась. Скат мягкий и горячий. Что делать? Загорать на дороге без надежды найти выход или ехать на спущенной покрышке? Выбрал последнее. Кое-как дотянул до пригорода Белгорода, до его меловых холмов. На мое счастье, на обочине дороги увидел паровую мельницу и при ней махонький гараж. Шоферы

часа через два за умеренную мзду завулканизировали камеры, смонтировали скаты, и я покати́л дальше.

В Харькове решил на какое-то время остановиться, перевести дух после изнурительной гонки по разбитому щебеночному большаку. В центре города, в кафе, поел вареников со сметаной, купил в киоске свежие центральные газеты.

В «Правде» — очередное сообщение о судебном процессе над троцкистско-зиновьевским террористическим центром. Свидетели и сами подсудимые подтверждают в своих показаниях обвинения Военной коллегии Верховного суда: Зиновьев, Каменев и их сторонники организовали покушение на Сергея Мироновича Кирова и рукой презренного наймита и подонка Николаева убили вождя ленинградских большевиков. Они же в глубоком подполье готовили убийство Сталина. Об этом убийцы рассказывают суду вызывающе охотно, обстоятельно. И называют как причастных к их преступлениям Бухарина, Рыкова, Томского, Радека, Пятакова и других руководителей, продолжающих занимать высокие посты в партии и государстве! Тут же опубликовано заявление Прокуратуры о начале следствия по делу о причастности Бухарина, Рыкова и других названных на процессе к контрреволюционному заговору.

Троцкого давно разоблачили и выслали. А Зиновьев, Каменев и их приспешники сумели замаскироваться. Ленин, вся партия верили им. Как же эти люди, имея все, чтобы жить честно, верой и правдой служить народу, — власть, почет, уважение, — как они, прошедшие через царские тюрьмы, ссылки, написавшие не одну книгу о революции и ленинизме, как они в конце концов оказались фашистскими наймитами, хриstopродавцами? Никогда и не были настоящими революционерами, большевиками?

Вопросы, вопросы, вопросы... Неужели и Бухарин, и Рыков — тоже враги? Или их оклеветали зиновьевцы?

Ночевал в Донбассе, под Святогорском, на крутом обрыве Донца. В тот же день прибыл в Макеевку. Узнал, что мне выделили двухэтажный коттедж. Кабинет и спальня наверху, столовая и еще одна комната внизу. Ванная, горячая вода — круглосуточно. Таких коттеджей Гвахария построил добрую дюжину. Целая улица коттеджей

с теплыми гаражами. Сооружены вспомогательными цехами без привлечения денежных средств и строительных материалов со стороны. За счет высокой, небывалой до сих пор прибыли.

Макеевский металлургический завод, как и вся черная металлургия страны, много лет получал от государства большие денежные дотации. Теперь приносит государству громадные доходы. Я очень заинтересовался: как это удалось Гвахарии? Как сумел организовать многотысячный коллектив? Как в сравнительно короткий срок стал признанным вожаком?

Гвахария оказался интересным человеком. Молодой. Красивый. Изящный. Полон энергии. Воспитан. Тактичен. Умеет слушать других, а когда заговорит, то всегда умно, с большим знанием дела. Любит юмор. Начитан. Увлекается музыкой. Женат на прелестной грузинке и, видимо, вполне счастлив. Сын-школьник, Отарик.

Живет Гвахария в старом директорском особняке в ста метрах от заводской проходной. Видимся мы с ним большей частью вечерами. Говорим обо всем на свете. Слушаю его с превеликим интересом.

Днем пропадаю на заводе и беспрестанно сравниваю его со старым «Унионом». Побывал в мелкосортном прокатном цехе, где лет десять назад работал желобщиком-вальцовщиком, если малость преувеличить. Разительные перемены на каждом шагу. Порядок, чистота. Вокруг горячих цехов зеленые лужайки, цветы, молодые деревья. Рабочие трудятся на совесть — это сразу бросается в глаза. Нет отстающих цехов.

Наши ежевечерние встречи с Гвахарией неожиданно прекратились. Не до меня сейчас ему. Не до разговоров. Беда. По дороге из Макеевки в Сталино, на крутом спуске, он, управляя тяжелым и неуклюжим ЗИСом, сбил студентку, перебежавшую дорогу. Не приходя в сознание, девушка скончалась. Гвахарии пришлось доказывать невиновность не только в милиции, прокуратуре, но и в горкоме, и обкоме партии, и в наркомате.

В тридцать шестом ему удалось спасти себя от тюрьмы.

В тридцать седьмом он был репрессирован — по политическим обвинениям.

И опять на меня навалились мучительные вопросы. Гвахария — враг народа?.. Почему?..

Но я забежал далеко вперед.

25 августа еду в город Сталино на почтамт, чтобы передать по телеграфу первый очерк, написанный в Донбассе для «Правды». Миновав железнодорожный переезд, одолел крутой подъем и выскочил на плоскогорье, к заводскому аэродрому. Тут, на пыльной обочине, увидел стоящий «газик». Водитель копался в моторе, а трое пассажиров — мужчина и две женщины — с унылыми лицами нервно поглядывали на часы. Знаменитые москвичи! Как не узнать. Художественный руководитель Театра Революции Всеволод Эмильевич Мейерхольд, его жена Зинаида Райх. Я остановился, поздоровался.

— Всеволод Эмильевич, не могу ли чем-нибудь помочь?

— Можете, можете! — радостно откликнулся Мейерхольд.— Здравствуйте! Подбросьте нас, пожалуйста, в городской парк, к театру. Безбожно опаздываем.

Я распахнул обе дверцы «эмки». Рядом со мной села сестра Зинаиды Райх, а на заднем сиденье расположились супруги. Мейерхольд всю дорогу рассказывал, как он влюбился в Донбасс, как хорошо донецкий зритель принимает театр.

Случайная встреча с Мейерхольдом имела для меня неожиданные последствия. Если бы я не подобрал его на шоссе Макеевка — Сталино, если бы не доставил в парк, в летний театр, я бы в тот день и, может быть, никогда не встретился с Любой.

Оказывается, как выяснилось потом, я дважды в течение года влюбился в нее. Первый раз увидел ее в старом театре в Сталино, куда приехал из Москвы с писательской делегацией зимой. После официальной части, перед концертом, прогуливаясь по фойе с товарищами, я обратил внимание на стайку девушек, совсем юных, вчерашних девочек. Все было по-своему хороши. Но среди них выделялась она, Люба, тогда еще безымянная для меня. Высокая. Тоненькая. Стройная. С гордо посаженной каштановой головой. С нежнейшими щеками. С глазами, скромно опущенными долу. Не успел как следует разглядеть ее. Не успел и спросить у донецких друзей, кто она.

И вот во второй раз счастливая судьба свела нас. Опять в театре. Невдалеке от театральной кассы я увидел красивых девушек, и среди них была она, самая привлекательная. Я, недотепа, не узнал в ней ту, которой издали восхищался менее года назад. Но на этот раз с помощью Юры Страшного, работника секретариата облисполкома,

оказавшегося под рукой, познакомился с юной красавицей и, для вежливости, с ее подругами. Люба! Любовь! Да, только такое имя ей к лицу.

Говорил я с Любой, не обращая внимания на ее подруг. Говорил минуты две или три. Но все, все умудрился сказать: не словами, а взглядом и волнением, которое не укрылось даже от неопытной девушки.

Мейерхольд и Зинаида Райх как радушные, гостеприимные хозяева не только предоставили мне место в третьем ряду партера, но и посадили рядом со своей очень милой родственницей. Но я тяготился соседкой. Сцены я не видел. Смотрел на Любу и всеми силами души умолял обернуться.

Не услышала. Она сидела в первом ряду, бок о бок с Юрой Страшным. Я достал из кармана блокнотик, набросал несколько строк, вырвал страничку, сложил и переправил записку в первый ряд Юре Страшному. Написал, что завтра заеду к нему в облисполком по очень важному делу. Юра был парень толковый, не зря его держали в секретариате. Понимающе улыбнулся и кивнул.

В антракте я самым любезным образом распрощался с сестрой Зинаиды Райх и покинул театр. Поехал на почтамт передать очерк. Где-то в глубине души был доволен своим поступком: дал понять Любе, что меня нисколько не интересует навязанная спутница.

Еду по вечернему, полному огней Донбассу и думаю о Любе, о том, как мы завтра встретимся с ней. Не показался ли я ей, юной, со своими седеющими висками, стариком?

Добрался к себе в Макеевку. Поднялся на второй этаж, включил свет. Дальше... дальше не знал, что делать, куда девать себя. Мелькнула шальная мысль — а не рвануть ли обратно в Сталино, в городской парк, к подъезду театра... Спектакль наверняка еще не кончился, и я успею встретить Любу, выходящую из театра, приглашу в машину, отвезу домой, договорюсь о встрече на завтра.

Появилась мысль и пропала. Попробовал читать — не воспринимаю даже великолепную прозу Чехова. Пить и есть не хочу. Хочу думать только о н е й.

До глубокой ночи просидел на диване. Потом неохотно отправился спать. И приснилось, что я женился. Проснулся в холодном поту. И был счастлив, что это только сон. Дело в том, что я дал себе клятву никогда не жениться. Вот до какого градуса довели меня претендентки в невесты и жены.

Клятва клятвой, а жизнь...
Утром я поехал в Сталино.

В поисках Юры рыскаю по облисполкому, из комнаты в комнату. И вместо него встречаю Гугеля. Мгновенно на меня пахнуло Магниткой.

— Як поживаешь, друже? — спрашивает Гугель. — Можешь не отвечать. Сияешь. Кто осчастливил?

— Лучшая в мире. Жениться решил.

— Гарна дивчина — погана жена. Семь раз примерь, прежде чем один раз жениться. И когда под венец собираешься?

— От нее зависит. Как скажет, так и будет.

— Так она еще не знает, что ты на ней собираешься жениться?

— Откуда ей знать, если мы только вчера познакомились.

— Так, может быть, она не знает, что ты влюбился?

— Может быть. Сегодня надеюсь объясниться.

И в это самое время в коридоре появляется Юра. Поспешно, чересчур поспешно прощаюсь с Гугелем, тащу Юру на улицу, сажаю в машину, говорю, зачем он понадобился.

— Поедем к Любе Звеняцкой! Показывай дорогу. И выкладывай, если знаешь, кто она и что.

Неспешно едем по длинной, многолюдной улице Артема. Сверху вниз. Я молча управляю машиной, а Юра в это время телеграфной скороговоркой выстукивает кое-какие биографические данные Любы Звеняцкой.

Родилась вместе с Революцией. Год в год. День в день. Здесь, в Юзовке, теперешнем Сталино, в семье слесарей, механиков, мастеров на все руки. Отец — человек талантливый, щедрый, начитанный, веселый и беспечный говорун, не больно усидчивый. Оттого и не преуспевает, зарабатывает меньше, чем мог бы. Семья часто бедствует, одеты кое-как. Иногда в доме не на что купить хлеба. Но Люба не чувствует себя несчастливой. И не унаследовала от отца беспечность, безалаберность. Занимается спортом. Училась только на «хорошо» и «отлично». Десятилетку закончила в этом году. Сдала несколько экзаменов в медицинский. Но, побывав в анатомичке, убежала из института, решив никогда туда не возвращаться. Недели через две опомнилась, захотела вернуться, но было поздно. Прием закончился. Год упущен.

Более чем достаточно рассказал Юра. Остальное узнаю сам.

— Теперь налево. Потом второй поворот направо, на восьмую линию.

На восьмой, застроенной не менее полувека назад одноэтажными домами с заборами и палисадниками, останавливаемся перед массивными воротами и калиткой.

— Здесь!— говорит Юра и с любопытством смотрит на меня, ждет дальнейших указаний.

Я говорю, чтобы он пошел и спросил, могу ли я повидать Любу.

Юра ушел, а я не сводил глаз с калитки и, кажется, не дышал.

— Пожалуйста, заходите! Вас приглашают,— появился Юра с лицом веселого соучастника авантюрного заговора.

Входим в мощный булыжником тесный дворик, типичный для южных городков. Справа, у самого забора, большая угольная плита. Чуть дальше, у глухой стены, будка известного назначения. Слева ветхие, прошлого века деревянно-саманные полтораэтажные постройки: внизу сараи, погреб, чуланы, вверху — жилье. И все это на высоте трех метров от земли опоясано узкой крытой галереей, тоже ветхой от времени.

Вот на этой галерее и стояла она. На ней светло-каштановый, под цвет ее волос, из легкой шерсти костюм. Под длинным жакетом — розовая, нежная блузка. Она стояла высоко надо мною, на другом, дальнем, конце двора, сверху вниз смотрела на нежданного гостя и доверчиво улыбалась.

Одолел крутую, скрипучую лестницу с ускользящими из-под ног ступеньками, поднялся на крыльцо.

Направляясь сюда, я не думал, как буду вести себя, что и как скажу. Искреннее, сильное чувство не умеет и не хочет быть расчетливым. Полагается на самое себя.

Открыла покосившуюся, в трещинах, с облупившейся краской дверь и ввела в захлавленную полутемную прихожую. Сделала это безо всяких колебаний, уверенная, что в любом окружении остается сама собой. Вверила мне и себя, и свой неказистый дом со всем его бараклом.

Родился и вырос я не в барской усадьбе. На рабочей окраине, в Собачеевке. Обживал всякого рода халупы. И все-таки, войдя в дом, где жила Люба, я смутился. Отвык, живя в благоустроенных квартирах, от таких лачуг. В одном прогнившем углу жестяной, с черным помойным

ведром рукомойник, в другом — посудный шкафчик.

Шагнул в узкую, не более двух метров в ширину, с крошечным подслеповатым оконцем комнату... Тахта, покрытая вытертым до ниток, лысым ковром. Представил себе, как она спит на продавленном, с визжащими пружинами матраце, как просыпается, как моется под рукомойником, как выносит помойное ведро.

Взял за руку и сказал:

— Поехали!

Юра деликатно исчез в тот момент, когда я встретился с Любой.

Мы сели в машину и покатали по городу.

Когда я заговорил о своей любви, Люба удивленно сказала:

— Но вы же совсем не знаете меня!

— Знаю! На всю жизнь знаю!

На мое предложение сейчас же пожениться она опять удивленно ответила:

— Зачем же так спешить? У нас есть время.

Оказалось, что Люба совсем не стремилась замуж. Дала себе слово, что не выйдет замуж, пока не закончит институт, и отказала не одному претенденту в мужья. Было достаточно видеть замужних подруг сестры, чтобы не стремиться в «рай».

Полюбить она жаждала, как все девчонки ее возраста, но...

Мне помогла моя первая книга. Люба много читала. Книга «Я люблю» не обошла ее стороной. Позже она рассказала мне: «Закрыв последнюю страницу, я воскликнула: вот это парень!» Знала она и мое выступление на съезде Советов в Кремле. Рассказала, как читали газету вслух всем двором и смеялись над оратором: сын первое слово скажет «мама», а не «Сталин».

Могла ли она отказать такому парню, так умоляющему стать его женой? Поверила и пошла за ним, как говорится, «на край света».

Загс притулился на захолустной улице, в приземистом, в три оконца, с деревянным крыльчком, домике.

В тот момент, когда мы с Любой, не чуя под собой земли, взбежали на крыльчко, низкорослая женщина преградила нам дорогу.

— Куда, граждане, прете, как угорелые?

— Здравствуйте, мамаша! Мы сюда... к вам. Собственно,

не к вам лично, а туда... Пожениться решили.

— Опоздали! Наш рабочий день закончился. Завтра поженитесь.

Люба молчит, а я веду дипломатические переговоры с несговорчивым стражем.

— Кто знает, мамаша, что будет завтра. Невеста может передумать. Или жених закапризничает. Пропустите! Я человек суеверный, боюсь откладывать на завтра то, что можно сделать сейчас. Пожалуйста!

Я не только выпрашивал, что было противопоказано моей натуре, я умолял.

В руках женщины появилась толстая дубовая палка — дверной запор. Размахивая дрыном перед моим лицом, она наступала, пытаясь выдавить меня своей могучей грудью из загсовских пределов, кричала на всю улицу:

— Не фулиганьте, гражданин, а не то призовем милицию!

Я скалой стоял на пороге загса и не позволял наложить на дверь запор.

— Вы до которого часа работаете, мамаша?

— До пяти.

— А сейчас без пятнадцати пять. За пятнадцать минут можно две пары зарегистрировать.

— Посторонитесь! Уберите свои лапти с порога!

— Да поймите же вы, наконец!

Она с нескрываемым презрением и жалостью посмотрела на Любу.

— Опомнись, девонька, пока не поздно.

После этих слов я понял, что нам преградил дорогу в загс мой личный лютый враг. С врагом не церемонятся. Отодвинув женщину в сторону, я взял смущенную, притихшую Любу за руку, подвел ее к столу, за которым сидела курносая регистраторша, категорически заявил:

— Мы не уйдем отсюда, пока вы нас не зарегистрируете. До конца рабочего дня еще пятнадцать минут.

— Ну и скандалист же вы, гражданин жених! Нехорошо начинаете супружескую жизнь. Не завидую я вашей будущей жене. Паспорта!— рявкнула она.

Никто не благословил нас с Любой, как это бывает теперь, не напутствовал добрым словом, не поздравил.

Женился я двадцать седьмого августа, а тридцатого по заданию «Правды», прихватив с собой молодую жену, рванул на своей «эмке» в другой конец Донбасса, на шахту

«Центральная-Ирмино» к Стаханову. Ехали по пустынным пыльным дорогам, среди скошенных пшеничных полей и еще стоящих на корню с тяжело поникшими головами красавцев подсолнухов. Главное же в пейзаже — гигантские терриконы породы, шахтные копры и железнодорожные рельсы. Индустрия вперемешку с хлебородными полями, рощами, садами, речками, прудами, оврагами, древними курганами, тополиными и вишневыми селами. Последние дни августа, а все еще ясное небо, сухая земля и теплый, с Азова, ветерок. Время созревания и сбора плодов. Мое и Любино самое счастливое время.

Прибыв на шахту, спецкор «Правды» представился парторгу Петрову, молодому, веселому человеку. Среди начальников, в том числе и парторгов, веселых людей попадает мало. Не до веселья людям, перегруженным работой, ответственностью за каждый шаг, заданиями, приказами и нагоняями сверху.

— Конечно, прежде всего вам хочется повидаться с годовалым юбиляром, — смеется Петров.

— Да. Желательно прямо сейчас.

— Пожалуйста. Пойдемте, я буду вашим провожатым. Мы предоставили ему новую квартиру в хорошем доме. Две комнаты, кухня, погреб. Но, увы, без канализации и водопровода. До такой цивилизации наша шахта еще не доросла, хотя и поставила мировой рекорд добычи угля.

— Как отработал Стаханов первый юбилейный год? Не зазнался?

— Есть маленько. Живет, словно во хмелю. Легкое головокружение началось. Но выполнил и перевыполнил годовую норму. Остальное сами увидите. На то вы и писатель.

На сегодняшний день Алексей Стаханов самый знаменитый человек в стране. Слава его затмила, пожалуй, даже славу Бабочкина, исполнявшего роль Чапаева в фильме. Испытание такой славой не каждому по плечу.

От центра поселка, от ствола шахты, до самого крылечка дома, где живет Алексей Стаханов, — золотистая широкая полоса сухого песка, еще не сильно заслеженного. По этой дороге, дороге героя, мы и подъехали к Стаханову. Хозяин встретил нас на крыльце. Здоровенный детина. Улыбка светится на простецком лице, загорелом, как у хлебопашца. Вокруг глаз чернеет въевшаяся в кожу угольная пороша — шахтерская печать.

Знакомимся. Стаханов хватает меня за руку.

— Писатель? Прибыли на праздник? Не побоялись дальней дороги?.. Первый раз вижу живого писателя.

— А я первый раз вижу знаменитого Стаханова.

— Ну и как?— смеется Стаханов.

— Хорош! Я почему-то именно таким вас и представлял. Богатырь! Удалой парень!

— Это я сегодня по случаю праздника в ухарство ударился, а вообще по будням — тихий, корябенький, рот на замке держу. Дорогие гости, добро пожаловать до хаты! Моя она теперь. Предназначалась главному инженеру, а попала в руки забойщику Алешке Стаханову.

И смеется, показывая розовые десны с крепкими белыми зубами.

Входим в дом, забитый до предела вещами. Новенькое все, еще не до конца распакованное. Пианино, диван, полированный стол. Навалом — стулья. Два патефона. Радиоприемник, гора пластинок на полу. Кровати. Посуда в соломе. Колбасы и пластины сала на столе. Бублики. Батоны. Огорока. Ящики с пивом, водкой.

— Видали?!— смеется Стаханов.— Добро юбилейное. Со всех концов Донбасса подарки шлют. Как отказать людям?

Стаханов чрезмерно счастлив, безмерно весел, а жена строга.

— Если бы по-настоящему захотел отказать, насильно бы не заставили подарунки взять. Они, дарители, на чужой счет добренькие. Шесть ящиков пива! Пей — не хочу. Море разлитое. Зачем столько? Три ковра. Нам и одного, своего, хватало. И эта бандура ни к чему. Некому брэнчать.

— А я?— хохочет Стаханов. Подбежал к пианино, раскрыл крышку и одним пальцем постучал по белым и черным клавишам.— Симфония! Марш! Концерт! Вальс! Чижик-пыжик, где ты был!

Смуглолицая, черноглазая, чернобровая, пригожая хозяйка закрывает уши ладонями.

— Перестань, юбилейщик, перестань! Пожалей!

— Слыхали?— не унимается Стаханов.— Родная жена, а не в ногу с мужем шагает. Вся страна уважает Алексея Стаханова, а она с утра до ночи пилит и пилит. Все не так делаю. Смотри, Мария, могу и разжениться. Невесты за мной табуном ходят.

— Не пугай! Я сама разженюсь, если не перестанешь кукарекать с утра до вечера. Уймись!

— Слушаюсь, ваше благородие.

Закрыв крышку пианино, со смехом чмокнул Марию в щеку.

— Во женушка, а! Бой-баба. С такой не заплесневешь.

— Не подлизывайся. Все равно не забуду, каким ты был вчера и позавчера.

С улицы вбежали два малыша. Корень родительский не спрячешь. Крепенькие, ладные, смугловатые, черноглазые. С двух сторон жмутся к ногам матери, а на отца и на нас, незнакомых людей, поглядывают настороженно: ждут нахлобучки. Но отец похлопал малышей по плечикам, с восхищением сказал:

— Сорвиголовы! Будущие забойщики-рекордисты.

— Не хочу быть забойщиком. Буду Чапаевым!— воскликнул старшенький.

— А я Петькой!— молвил младшенький Стаханов.

Чапаев и Стаханов. Стаханов и Чапаев. Два маяка моего поколения.

Стаханов взглянул на часы, заторопил гостей.

— Братцы, нам пора митинговать. Поедем! Сразу тремя «эмками». Одна за другой. Цугом. Как на параде.

И поехали. Впереди — Стаханов, вторым — редактор газеты «Кадиевский пролетарий» Каплан, с ним парторг Петров, третьим — я с Любой. Три новенькие, сверкающие черным лаком «эмки».

Митингуем в летнем кинотеатре, полном шахтерского народа, под открытым небом. На трибуне — докладчик, в президиуме — именинник, первый секретарь Сталинского обкома Саркисов, секретарь райкома, парторг. Мы с Любой сидим в первом ряду. Саркисов встретился со мной взглядом и широким хозяйским жестом пригласил занять место рядом с собой.

Сижу слева от Саркисова и тихонько, в четверть голоса, расспрашиваю его, как работает и живет юбиляр,— хочу проверить свое первое впечатление от Стаханова.

— Балует Алексей Григорьевич. Но если положить на чашу весов истории то, что он сделал и делает на рабочем месте, и то, чем грешит в быту... стахановское движение в стране и житейские недостатки Стаханова,— несоизмеримо. Труд — главное. Человек слаб и потому в житейском плане оказывается ниже своего подвига. Но это временное явление. Неминуемое головокружение от таких успехов. Есть все основания надеяться, что опомнится и подтянется до уровня, на какой взлетел. А пока что куражится.

От семьи отбился. Любовь закрутил с девчонкой-десятиклассницей. Волосы зачем-то перекрасил. Был черный, стал серо-буро-малиновый. До Кремля, до товарища Сталина дошли слухи о загулах Стаханова. И знаете, что товарищ Сталин велел передать от его имени Алексею Григорьевичу?.. Скажите этому добру молодцу, что ему придется, если не прекратит загулы, поменять знаменитую фамилию на более скромную.

— Вы передали ему слова товарища Сталина?— спросил я.

— Еще нет. Сделаем это недели через две-три после юбилея, если в том окажется нужда. Думаю, окажется. Здорово разбаловали своего любимца. В Москве он с друзьями, Митей Концедаловым и другими, крепко выпил, ввязался в драку. С него содрали пиджак с орденом Ленина, с партбилетом. Ну и что? Выдали новый партбилет, походатайствовали перед Президиумом Верховного Совета о выдаче дубликата ордена.

Докладчик тем временем рассказывал, как почин Стаханова превратился во всенародный бой за высокую производительность труда. Год назад возник Стаханов, а теперь во всех сферах народного хозяйства трудятся миллионы стахановцев. Пройдет еще год — и количество стахановцев утроится, а может, и удесятерится.

Бурные аплодисменты покрыли последние слова докладчика. Я тоже аплодирую, а сам с Любы глаз не спускаю. Какой женой одарил меня родной Донбасс!

После торжественного вечера мы с Любой отправились в гостиницу. Она сразу же уснула, а я всю ночь, до утра писал главу для будущего романа, навеянную встречей со Стахановым.

Как только Люба проснулась, я напоил ее гостиничным чаем и прочитал то, что вышло с пылу с жару.

Люба, вопреки моим ожиданиям, не похвалила. Правда, и не поругала. Хмурая юное личико, не желавшее хмуриться, сказала:

— А как же его недостатки?.. Работать Стаханов хорошо научился, а жить... жить по-человечески еще не умеет, хотя для этого у него есть все условия. Больше, чем у других. Мои мама и папа да и весь наш двор до революции обитали в трущобах и теперь... И нет надежды на лучшее.

Крыть нечем, я отшутился:

— Зато дочь трущобных обитателей живет в двухэтажном коттедже, с горячей и холодной водой, с гаражом, черным

и парадным входом, с балконом на солнечную сторону.

— Я попала в коттедж не благодаря общему улучшению жизни, а потому, что вышла замуж за тебя.

— А разве я не жизнь?— спросил я.

Ответ я предвидел.

— Жизнь, жизнь!— воскликнула Люба и поцеловала меня.

Перед отъездом с шахты «Центральная-Ирмино» я получил на память, с автографами Стаханова и Петрова, напечатанный типографским способом протокол заседания шахтпарткома.

«В ночь с 30 на 31 августа 1935 года забойщик шахты «Центральная-Ирмино» (Донбасс) А. Стаханов установил выдающийся рекорд, добыв за 5 часов 45 минут 102 тонны угля при норме 7 тонн.

В 6 часов утра 31 августа собрался партком. Парторг К. Г. Петров рассказал о том, как был установлен рекорд производительности труда. Было принято
п о с т а н о в л е н и е парткома шахты «Центральная-Ирмино» от 31 августа 1935 г.

Постановили единогласно:

1. Занести имя тов. Стаханова на Доску почета лучших людей шахты.
2. Выдать ему премию в размере месячного жалованья.
3. К 3 сентября предоставить тов. Стаханову квартиру из числа квартир технического персонала, установить в ней телефон.
4. Просить рудоуправляющего тов. Фесенко разрешить заведующему шахтой за счет шахты оборудовать тов. Стаханову квартиру всем необходимым и мягкой мебелью.
5. Просить председателя Первомайского рудкома угольщиков тов. Игнатова и председателя ЦК профсоюза угольщиков тов. Шмидта выделить для Стаханова семейную путевку на курорт.
6. С 1 сентября выделить в клубе два именных места Стаханову с женой на все кино, спектакли, всевозможные вечера.
7. 10 сентября в новой квартире Стаханова устроить вечер, пригласив на него знатных людей шахты и Донбасса, мастеров отбойного молотка тт. Гришина, Свиридова, Мурашко, Изотова.

8. Объявить соревнование между забойщиками на лучшего мастера отбойного молотка, овладевшего техникой.

9. Предложить всем начальникам участков, партгрупоргам, профоргам, шахткому:

а) не позже 2 сентября по всем участкам посменно проработать опыт и установленный рекорд тов. Стаханова;

б) 3 сентября созвать специальное собрание забойщиков с обязательным участием «треугольников» участков, на котором заслушать доклад т. Стаханова о том, как он овладел высокой техникой работы на молотке и установил мировой рекорд производительности на нем;

в) развернуть соревнование по участкам на лучшего забойщика участка шахты.

10. Пленум шахтпарткома считает необходимым заранее указать и предупредить всех тех, кто попытается клеветать на тов. Стаханова и его рекорд как случайность, выдумку и т. п., что партийным комитетом они будут расценены как самые злейшие враги, выступающие против лучших людей шахты, нашей страны, отдающих все для выполнения указаний нашей партии о полном использовании техники.

Партийный комитет уверен, что за тов. Стахановым появятся новые герои, которые нашей организацией будут встречены с радостью и гордостью, как люди, решившие делом своим, честным трудом выполнять указания партии о полном использовании техники».

Я увлекся шахтерами. Езжу. На каждой шахте по крупицам собираю материал. И вдруг подвернулся большущий самородок. Потом другой, третий, четвертый...

Возвращаюсь домой, к Любе, с немалыми трофеями — с написанными по горячим следам главами и, не стесняясь, засаживаю молодую жену за машинку. Люба, к счастью, умеет печатать и уже разбирает мой почерк. Она печатает, я тут же читаю, дополняю, мараю машинописные страницы.

Дом, вчера еще бывший чужеродным коттеджем, пахнувший краской, холодноватый, необжитой, обставленный кое-как сборной мебелью, предназначенной скорее для казенных присутственных мест, чем для квартиры, дом для временных жильцов, командировочных с появлением в нем Любы преобразился, хотя она не приложила к нему рук, сразу стал для меня светлее, теплее, домовитее и, я бы сказал, более надежным, чем раньше. Превратился в наше жилье.

Не похожее на другие. Дом молодоженов. Дом влюбленных супругов, где нам предстояло жить, как мы полагали, многие годы. Где родятся и вырастут наши дети. Где я напишу не одну книгу. Где не будет места никаким бедам. Ссорам, слезам, огорчениям, неправде, неискренности, ничему такому, что хотя бы на короткое время обесчеловечивало человека.

Т о г да я не формулировал вот так определенно свои мысли. Тогда я не думал о счастье, о своем полном слиянии с Любой. Тогда я чувствовал небывалую до сих пор полноту и высоту нашей с Любой жизни. Я вырос в собственных глазах. Стал сильнее, увереннее в себе, яснее понимал, что и как должен делать. Повысилась ответственность за свои поступки и перед собой и, главное, перед Любой.

Я был на девять лет старше ее, много опытнее, в сто раз больше прочитал книг, повидал мир, был нещадно бит жизнью, встречался с замечательными людьми, глубже и шире разбирался в политических и государственных делах, приобщил себя к тому, что делалось в стране, принимал близко к сердцу и победы и всякого рода неурядицы, промахи, искажения, головотяпство, беды. И все-таки юная Люба часто поражала меня более точным, чем мое, суждением о жизни, более правдивым и справедливым ее восприятием. Ничего не преувеличивала в отличие от меня. Ничего не преуменьшала. Чужда модной романтики Предана реализму, как бы он ни был уродлив, а то и жесток. Никому и ничему не завидовала. Благородство для нее было естественно, как для птицы полет, хотя выросла в условиях, абсолютно не способствующих зарождению и росту этих главных для людей качеств. Быт родительского дома, быт многонаселенного двора с его бедностью, грубостью, обнаженной уродливостью человеческих отношений тоже не способствовал познанию красот жизни, ее внедрению в душу, в плоть и кровь. И несмотря на это, она открыла для себя красоту как смысл жизни. Была внутренне красива еще больше, чем внешне. Это я всегда видел, всегда слышал и всегда поражался: откуда у нее все это? Она сама себя утверждала красотой. И спасла самое себя красотой, когда над ней разразилась страшная беда, которую не выдерживают девятьсот из тысячи.

За более чем полвека совместной жизни я ни разу не видел ее уродливой или хотя бы бесцветно одетой, неприбранной, неухоженной. Ей не надо было прибегать к косметике — она и без нее была юной, свежей, очаровательной. Я наслаждался ее естественным, как у детей, обаянием.

Ее голос ласкал мой слух. Я любил слушать ее рассказы о том и сем — в любом из них присутствовала ее личность со своими особыми словами, взглядами, ощущениями. О чем бы ни говорила, она докапывалась до сокровенной сути, до открытия глубоко спрятанной от людей истины.

Как-то Люба мне призналась, что ее еще в раннем детстве называли в семье «старой бабой». Прозвали ее так за то, что она была не по годам сметлива, догадлива, разумна, рассудительна, принципиально правдива.

И еще она была наделена редким для красивых людей душевным качеством — скромностью. До совершеннолетия, до замужества она не знала, что хороша собой всесторонне, что природа создала ее красивой, не забыв при этом сделать скромной. Люба в девичестве считала себя не только красивой, но и просто уродливой. Даже иногда оплакивала свое уродство, стоя перед зеркалом.

Была она скромна как свет.

Истинная ее сущность пробивалась через все внешние и внутренние преграды, сознательные и бессознательные, и являлась передо мной и людьми в подлинном своем облике. Она была скромна, когда молчала, когда говорила, когда улыбалась и даже когда невольно выказывала свою женственность.

И еще отличалась она кротостью. Особого рода кротостью, присущей доверчивым от природы существам, свято верящим в то, что ты не самый лучший человек на свете, что мир в основном состоит из более умных, чем ты, людей, более талантливых, что ты должен уважать их, набираться у них мудрости, человечности, трудолюбия, знаний.

Если бы я все это написал т о г д а , более полувека назад, это могло бы показаться пристрастным преувеличением влюбленного супруга. Теперь же мои признания, проверенные и подкрепленные временем, продуманные и прочувствованные, являются, на мой взгляд, только справедливым свидетельством.

Но уже и тогда я чувствовал себя счастливейшим человеком на земле, на всю жизнь обеспеченным любовью жены, ее преданностью. Свое будущее я не представлял без Любы. И оно не могло быть для нас плохим, по моему глубочайшему убеждению.

Вот так обернулась для меня женитьба, которой я боялся как черт ладана. С 27 августа моя жизнь стала богаче. Более осмысленной. Более продуктивной.

Красота Любы, внешняя и внутренняя, спасла меня от многих напастей. От зазнайства, от самоуверенности, от гордыни, от спесивости, от лени, от праздности, от слепой веры в свои способности. Совсем по Достоевскому.

Не знаю, спасет ли красота мир, как предсказывал Достоевский, но меня она спасала не раз, не два и не десять. И поэтому считаю, что герой этой книги не автор этих строк, не кто-нибудь другой, хотя бы Горький или Ломинадзе или Время, а она, моя жена, мой друг, мой советник и редактор, хранитель моего очага и самой жизни. Во время войны она силой своей любви отводила от меня вражеские пули, осколки мин, снарядов. А когда под Берлином я лежал в госпитале с перебитыми ребрами, с сотрясением мозга, она прорвалась ко мне в Германию через три государственных границы, через линию фронта и в один прекрасный час встала перед моей госпитальной кроватью на колени, схватила мои руки и расцеловала.

В свете ее любви, преданности, верности самой себе не столь страшной, не столь губительной оказалась непроглядная тьма Отлучения, обрушенная на меня Хозяином державы и всех человеческих судеб.

Любовь сильнее клеветы, оговора, жестокости, сильнее смерти. Об этом мне еще придется рассказать. А силы на исходе, а жизнь под угрозой еще одного, наверняка последнего инфаркта.

Посылая меня к Ягоде для переговоров о моей работе на строительстве канала Москва—Волга, главный редактор «Правды» и главный редактор редакции «Истории фабрик и заводов» Лев Захарович Мехлис на прощание напутствовал меня такими многозначительными словами: — Ягода всегда, с первых дней существования ЧК был ее основной фигурой и пользовался безоговорочной поддержкой товарища Сталина.

Это было сказано в начале лета тридцать пятого, всего год назад, а сейчас... В конце сентября тридцать шестого, в теплый, очень солнечный день длительного южнодонецкого лета, я увидел в центральных газетах Указ о смещении Ягоды со своего поста наркома НКВД и о назначении на его место секретаря ЦК ВКП(б) Ежова Николая Ивановича.

В первое мгновение, скажу по совести, я почти обрадовался смещению Ягоды, проявившего ко мне лично жестокую несправедливость: позорно изгнавшего неугодного ему «летописца» со строительства канала и намалевавшего специально для Алексея Максимовича Горького мой портрет — страшнее черта. Но уже минуту спустя я отбросил в сторону личное отношение к Ягоде и глубоко задумался над бесстрастным текстом Указа и пытался кое-что вычитать между строк.

Это было не праздное любопытство. Всякое перемещение в верхних эшелонах власти вызывало у меня большой интерес прежде всего потому, что это была моя власть. Народная, рабоче-крестьянская. Еще и потому, что я, делегат VII Всесоюзного съезда Советов, выступавший с трибуны Большого Кремлевского дворца, чувствовал себя причастным ко всему, что делалось в Кремле, в его державных кабинетах.

Так думал я в конце сентября тридцать шестого года, в ясный медовый день своего медового месяца.

Люба, войдя в мою комнату, увидев меня, погруженного в тяжкие размышления, встревожилась:

— Что с тобой? Целый месяц улыбался, сиял счастьем, глаз с меня не сводил, а сейчас... не заметил, как я вошла. Почему ты такой мрачный? Страшно смотреть. Непохож на себя. Первый раз вижу таким. И надеюсь, в последний.

У меня хватило ума понять состояние души моей юной жены. Я погладил каштановую голову Любы и рассказал, что именно погрузило меня в мрачные размышления. Люба с осуждением посмотрела на газеты и с искренним изумлением, естественным для нее и странным для меня, спросила:

— Почему тебя так расстроила замена одного наркома другим? Разве ты имеешь какое-нибудь отношение к отстраненному Ягоде?

Пришлось посвятить Любу и в мои прошлогодние отношения с Ягодой, и в то, почему я так близко к сердцу принял замену одного наркома другим.

Она слушала меня и ничего не понимала, будто я говорил на чужом для нее языке. «Будто» — лишнее слово. В сущности, так оно и было. Ее душа не принимала моих суждений. Она жила любовью.

Был в самой крупной и механизированной шахте Донбасса имени папанинцев. Написал по свежим следам большой очерк о молодом даровитом инженере, начальнике участка, и отослал в Москву. Вскоре в моем коттедже раздался резкий иногородний звонок. Временно исполняющий должность редактора «Правды» Ровинский в доверительном телефонном разговоре дал мне понять, что я должен выяснить в обкоме и органах безопасности, не причастно ли главное действующее лицо моего очерка к каким-либо неблагоприятным политическим делам, о которых сейчас трубит вся наша пресса. Предупреждение было необычным, но я посчитал его закономерным, справедливым, поскольку на многих шахтах проходят показательные суды над вредителями и наймитами германского фашизма и японского империализма.

Пользуясь тем, что первый секретарь обкома Саркисов был расположен ко мне и приглашал почаще бывать у него, делиться своими впечатлениями о поездках по Донбассу, я вечером, в сравнительно тихий час направился к нему, положил на стол копию своего очерка и рассказал о звонке из «Правды».

Саркисова не удивило требование редакции. Он даже счел своим долгом подкрепить его комментариями.

— Очень уместное, своевременное решение «Правды»: согласовывать с обкомами и органами все, что печатается о той или иной области страны. Чрезвычайная обстановка обязывает нас проявить высочайшую бдительность во всех сферах жизни, поскольку враги народа по указанию Троцкого и его хозяев, шефов иностранных разведок, активизировали свою деятельность. Жизнь подтверждает пророческие слова товарища Сталина о том, что враг усиливает сопротивление по мере нашего продвижения вперед. Чем больше наши успехи, тем сильнее и подлее удары замаскированных недобитых последышей Троцкого, Зиновьева, Каменева и прочих предателей дела революции и социализма. У нас в Донбассе нет ни одного предприятия, колхоза, совхоза, учреждения, где бы ни орудовали политические бандиты с партийными билетами в кармане.

Саркисов говорит с такой энергией и гневным пафосом, будто находится на трибуне, будто перед ним не один я, а зал Дворца культуры, набитый до отказа партактивистами. Вроде бы в чем-то оправдывается. И я, грешным делом, подумал: зачем же так яростно доказывает, что полон ненависти ко всякой троцкистской нечисти, готов

истреблять ее собственными руками? На всякий случай? Или это уже стало естественной реакцией на происки врагов? А может, он просто ярится, чтобы я не вспомнил о его старых симпатиях к Троцкому? Не беспокойтесь, товарищ Саркисов, все в порядке. Вам поверил Сталин и назначил секретарем Сталинского обкома. Как же я могу вам не верить?

Саркисов называет шахты, заводы, колхозы, где в последние дни разоблачены такие-то и такие-то враги народа.

— Откуда их столько?!— вырвалось у меня.— Ведь еще три года назад товарищ Сталин объявил о полной ликвидации эксплуататорских классов.

— Оттуда они, из кубла Троцкого. Старые наследники и теперешние выкормыши. Тайные читатели троцкистского «Бюллетеня оппозиции». Тоже мне, оппозиционеры. Убийцы с большой дороги, предатели, изменники, а не оппозиционеры. Запоздали мы с их разоблачением.

— Почему же запоздали? — допытывался я.

— Потому, что были беспечными, почивали на лаврах достигнутых успехов в первой и второй пятилетках. Беспечными оказались и чекисты во главе с Ягодой. Потому его и заменили товарищем Ежовым, верным соратником товарища Сталина.

Я не удержался, спросил Саркисова, чем можно объяснить замену Ягоды Ежовым.

Мне хотелось, чтобы он, член ЦК, рассказал о политической обстановке в стране, в особенности в Донбассе, о котором мне предстояло написать книгу.

Саркисов, обычно сдержанный, проявил словоохотливость. Доверие его можно объяснить тем, что я был не только писателем, но и специальным корреспондентом «Правды». Он подошел к сейфу, раскрыл его, достал тоненькую бумажную папочку и положил на стол предо мною.

— Познакомьтесь с этим документом, и вы перестанете вопрошать, что да как да почему.

Документ — копия телеграммы от 25 сентября Сталина и Жданова. Адресована членам Политбюро. «Мы считаем абсолютно необходимым и срочным, чтобы тов. Ежов был назначен на пост народного комиссара внутренних дел. Ягода определенно показал себя неспособным разоблачить троцкистско-зиновьевский блок. ОГПУ отстает на четыре года в этом деле. Это замечено всеми партийными работниками и большинством представителей НКВД».

Саркисов вернул мне машинописную копию очерка.

— У обкома нет возражений, чтобы материал был напечатан в «Правде». Однако последнее слово все-таки за органами.

Органы! Не новое слово. Не чужое. Но с некоторых пор звучит устрашающе.

Пришлось идти в органы. Областное управление НКВД размещается в центре города, на улице Артема. Начальник одного из отделов пробежал глазами мой очерк, с удовлетворением сказал:

— Герой вашего очерка не значится в наших бумагах. Можете печатать.

Вместе с шахтерами, сталеварами, доменщиками Донбасса меня избрали на Всеукраинский съезд Советов.

Заседаем в Киевском театре оперы и балета. Окумачены со всех сторон. Цвет трудящихся собрался. Все знаменитости Донбасса налицо: Алексей Стаханов, Петр Кривonos, Макар Мазай, Никита Изотов, трактористка Паша Ангелина.

Сижу в первом ряду у широкого прохода, крытого ковровой дорожкой. Алексею Стаханову, как и положено, предоставлено почетное место в президиуме. Он то и дело поглядывает в мою сторону, делает какие-то непонятные знаки.

Не сразу я понял, что не мне уделяет он драгоценное внимание — пухленькой блондинке, которая сидит рядом со мной. В кармашке ее платья виден край мандата. Красное на фоне зеленого. Кто же эта молодая женщина? Новая жена героя Донбасса и страны. И делегат, никем не избранный. Сие объяснялось проще простого. Алексей Григорьевич решил, что ему, единственному на свете, его величеству Стаханову, все можно. Потребовал от мандатной комиссии сделать новую жену делегатом съезда. Мандатная комиссия поежилась, посовещалась, проконсультировалась и в конце концов уступила энергичному напору. В виде исключения... Принимая во внимание... Новоиспеченная жена получила мандат делегата с совещательным голосом. Знатная личность возмутилась, потребовала мандат с решающим голосом. Вежливо, терпеливо объясняли, что... Не захотел слушать. Если не выдадите!..

Выдали! А что оставалось делать мандатной комиссии? Не могла же она позволить, чтобы Всеукраинский съезд остался без главного лица — родоначальника стахановского

движения. Если бы такой ляпсус, упаси боже, допустили, могли бы и без голов остаться. Во все времена, во всех землях мудрые люди выбирают из двух зол меньшее.

В перерыве я покинул кресло в первом ряду, нашел другое.

Многому я научился на примере Стаханова. Понял, что уверенность в непогрешимости, сознание своей исключительности очень и очень опасны для любого человека, пусть даже сверхзаслуженного.

Утром 25 мая 1937 года я зашел в комнату Любы узнать, как она себя чувствует. Припухшее ее лицо и взгляд были тревожны. Правая рука лежала на высоком животе.

— Кажется, началось... Очень больно. Не знаю, как должно быть больно, но очень больно.

— Я вызову «скорую помощь»?

— Пока не надо. Подождем. Говорят, должны быть какие-то схватки.

— Вот они и начались, наверное.

— Может быть,— застонала Люба.

— Я позвоню в «скорую помощь».

— Звони,— скорее угадал я, чем услышал.

Через полчаса прибыла машина с красными крестами и увезла нас в Макеевку. С рук на руки передал Любу нянькам, сестрам.

В тот же день, часов в семь вечера, позвонили на дачу из роддома и поздравили меня с рождением сына. Я бросил трубку, заорал на весь дом:

— Ура! Свершилось!.. Родился!.. Мама, слышишь? Поздравляю тебя с внуком!

Бабушка и смеялась, и плакала, и крестилась.

— Слава богу! Слава богу!

А я стремглав бегу в соседний дом отдыха металлургов, рассказываю директору, какое радостное событие произошло в моей жизни, и умоляю разрешить сорвать на клумбе несколько только что распустившихся цветов.

Директор очень хорошо ко мне относился, но моя просьба его озадачила.

— Это же клумба! У всех на виду. Радует первыми цветами...

Произнеся эти справедливые слова, он сейчас же застыдил:

— Что же я мелю, балда! Как только язык повернулся! Рвите!

Еду на попутной грузовой машине («эмка» поломалась как на грех) в Макеевку, в роддом, только что построенный на сверхприбыльные деньги.

Люба похудела, бледная, с запавшими, но счастливыми глазами, тихая, умиротворенная. Не дожидаясь вопросов, успокоила:

— Все хорошо. Я рожала, улыбаясь. И все вокруг улыбались. Говорят, таких бесстрашных рожениц не видали. Сын похож на тебя. Как две капли воды. Удивительно!

— Где же он? Почему не с тобой?

— Новорожденные находятся в особой палате. Может, тебя пустят туда. Попроси врача.

В дальнем конце коридора я встретил нянечку с двумя упакованными в белое младенцами.

— Вы куда, няня? Не в детскую палату?

— Туда.

— Я отец одного из только что родившихся малышей. Хочу взглянуть.

— Очень приятно, дорогой папаша. Поздравляю с наследником,— она повернула ко мне личики младенцев.— Смотрите. Какой вам больше по душе, тот и ваш.

Я посмотрел на краснолицего, лобастого, с закрытыми глазками мальчика и, хотя не увидел в нем никакого сходства с собой, уверенно сказал: э т о т !

Так на двадцать девятом году жизни я стал счастливым отцом. Назвали мы первенца Сашей.

На следующий день, заглянув после длительного отсутствия в заводской партийный комитет, узнал, что секретарь парткома Глоба и его заместитель репрессированы как пособники врага народа Гвахарии.

Вскоре были арестованы многие заводские инженеры-коммунисты, начальники цехов и смен, мастера.

Каждую ночь шли аресты, исчезали секретари горкома, райкомов, партбюро шахт.

Однажды ночью исчезли первый секретарь обкома Саркисов, председатель облисполкома Иванов, редактор областной газеты Сыркин.

Но это был только первый заход. Недолго, всего несколько месяцев, продержались на своих постах вновь назначенные люди. Вторым заходом были арестованы новый первый секретарь обкома Прамнэк и все его окружение.

Тридцать седьмой и тридцать восьмой, полные чудовищных противоречий! Как мне вас описать?

Процесс за процессом над врагами народа, вчера еще занимавшими высочайшие государственные и партийные посты. Непостижимо это: был маршалом, народным комиссаром, начальником главка, главным редактором газеты, академиком, членом партии с 1905 года, а то и 1900-го — и вдруг шпион, вредитель, наймит фашистов.

Беспосадочные перелеты через Северный полюс в Америку — и репрессии против технической интеллигенции, специалистов.

На экранах демонстрируются фильмы, воспевающие революцию, наш образ жизни, — и исчезают из жизни знаменитые писатели Пильняк, Третьяков, Артем Веселый, Бруно Ясенский, другие.

С одной стороны, колоссальные успехи народного хозяйства — страна вырвалась на второе место в мире по производству промышленной продукции, с другой — смена кадров во всех отраслях, прорывы на заводах и шахтах, год назад передовых...

В роман о шахтерах-стахановцах «Государство — это я», над которым я работаю, ввожу новых персонажей — вредителей, саботажников. Перекраиваю сюжет.

Саркисова арестовали. Вслед за первым секретарем обкома исчезли второй и третий, их помощники, заведующие отделами, некоторые инструктора. Опустошение произошло в облисполкоме, в Донецкугле, в Донэнерго, в индустриальном институте, в горкоме партии и в самом НКВД. Лишились свободы и честного имени директора металлургических заводов, секретари горкомов в Мариуполе, Макеевке, Горловке, Краматорске, Константиновке, Чистяково, Дебальцево. Пропали без вести многие инженеры, педагоги, врачи, шахтеры, сталевары, доменщики.

В кресле первого секретаря донецкого обкома оказался Прамнэк. Он не донбассовец, стало быть, не знает ни местных условий, ни особенностей труда шахтеров, металлургов, химиков. Волжанин он, из Горького. Потянет ли огромный, густо насыщенный рабочим людом край? Да и колхозников в донецких степях немало, куда больше, чем, скажем, в Курской и Орловской областях, вместе взятых. Трудно Прамнэку еще и потому, что он здешних людей не знает. Да и он для всех тайна за семью печатями. Сам собой напрашивается вопрос: почему не назначили

вместо Саркисова кого-нибудь из местных достойных товарищей? Не нашлось такого? Не может этого быть. В Донбассе немало прекрасных коммунистов, способных руководить областью. Так почему же на них не пал выбор? Думаю, что сейчас время и обстоятельства неблагоприятные для руководящих кадров Донбасса. Там, наверное, где снимают и назначают, решили, что враг народа Саркисов, стоявший несколько лет во главе партийной организации Донбасса, успел обработать в своем духе многих коммунистов, сделать их своими единомышленниками. И поэтому, рассудили в центре, недопустимо рекомендовать на пост первого секретаря обкома кого-нибудь из коренных жителей Донбасса: есть опасность, что первым лицом области станет неразоблаченный участник троцкистского заговора, ярый сторонник сгинувшего Саркисова. Таковы мои предположения. Предположения беспартийного большевика.

Мне кажется, сейчас настал самый подходящий момент рассказать, почему я до сих пор не вступил в партию. Вступил бы с превеликой радостью, но... То рабочий стаж маловат, то поменял рабочее место в шахте на должность корреспондента многотиражки, то опять вернулся на завод — вкалывал на паровозе помощником машиниста, то снова поддался соблазну работать в газете, стоять у самого истока печатного слова. Работал усердно, но, наверное, недостаточно умело или, может быть, чем-то раздражал начальство. Или был слишком самостоятельным и гордым. Скорее всего, было всего понемногу, как у всякого юного парня с высокими помыслами и малой способностью приспособливаться. В конце концов я разочаровался в том, что в ранней юности обожал, что считал своим призванием — в газетной работе, и вернулся к тому, с чего начал: пошел на металлургический завод Магнитки. И тут я нашел самого себя. Рабочее место представлялось мне самым высоким, самым ответственным и почетным. Уважал себя как никогда. Был уверен, что встал на колею, которую не покину до конца жизни. Был ударником, одним из первых в истории ударничества. Я почувствовал себя господином своей судьбы, хозяином жизни. Приобщился ко всему, что исходило из Кремля, от Сталина, великого ленинца.

Политика партии, политика Советского государства во всех областях жизни стала делом и моих рук, полем деятельности и моей жизни.

В то время таких, как я, называли, с легкой руки Сталина, беспартийными большевиками. И нет ничего из ряда вон выходящего в том, что я хотел стать партийным большевиком. Работая машинистом, я приобрел право и в собственных глазах написать заявление о приеме меня в партию. Нашлись порученцы. Был назначен день, когда должна была обсуждаться моя кандидатура. Цель была близка, но, увы, я ее не достиг: было опубликовано постановление ЦК о временном прекращении приема в партию в связи с начавшейся чисткой ее рядов. Эта чистка продолжалась долго, хотя была рассчитана на более короткий срок. Вызвано это непредвиденными обстоятельствами: обострением классовой борьбы в стране, обусловленной нашими успехами, как сказал товарищ Сталин.

Постановление о прекращении приема в партию было отменено еще до моего возвращения в Донбасс. Но я и теперь не мог рассчитывать стать коммунистом в скором времени, ибо по уставу мои возможные порученцы должны знать меня по совместной работе не менее года. Я и ждал, когда истечет этот ужасно длинный год. И наконец, дождался, а тут грянул невообразимо страшный тысяча девятьсот тридцать седьмой с внезапной смертью Серго Орджоникидзе, с разоблачениями на февральско-мартовском пленуме ЦК Бухарина, Рыкова, Томского и их сообщников. Вслед за этим последовала лавина арестов в стране и Донбассе последышей предателей всех мастей: троцкистской окраски, зиновьевско-каменевской, бухаринско-рыковской и прочее, прочее. В такую смутную, тяжелую для партии годину, когда бдительность оборачивалась откровенным подозрением и недоверчивостью, когда свирепствовали доносы, клевета, сведение личных счетов, когда в небытие проваливались самые видные, казалось, безупречные деятели партии и государства, когда врагами народа объявлялись члены и кандидаты Политбюро Рудзутак, Чубарь, Косиор, Постышев, Эйхе, когда один за другим исчезали наркомы,— в это время массовых исчезновений людей рука не поднималась писать заявление о приеме в партию. Да и не до того было. Все люди, и я в том числе, каждый день, каждый час ждали, что и над ними «ежовые рукавицы» учинят расправу. Завтрашний день любого советского человека ничем и никем не был обеспечен.

В тридцать восьмом году с еще большей силой бушевали репрессии. Но, как это теперь ни покажется странным, а может быть, даже чудовищным, репрессии уже

стали вроде бы привычными, вроде бы люди притерпелись к ним, вроде бы уверовали в то, что их минует чаша сия, поскольку они не знают за собой никакой вины. Не ручаюсь, что такое затмение поразило всех граждан, но меня такая участь постигла. И благодаря этому, наверное, надежному, по внешнему виду, щиту, а на самом деле хрупкому, призрачному, моя жизнь представлялась мне даже в ту пору более или менее сносной. Я сумел убедить себя, что не попаду в число врагов народа, так как являюсь его верным слугой. И еще помогло мне то, что я заставил себя не думать о такого рода вещах — что день грядущий мне готовит. Раз и навсегда уговорил себя, что я и как писатель и как человек неотторжим от советского образа жизни, от партии, от идей Ленина и Сталина, что неуязвим, недоступен для любой клеветы и самого страшного доноса. Не стану утверждать, что это была обдуманная, глубоко осознанная позиция. Скорее всего инстинктивная, присущая живому человеку, не совершившему никакого преступления, желающему творить добро, но не всегда умеющему это делать хорошо.

И это не было сделкой с совестью — совесть моя была чиста. Несмотря на происходящие в стране катаклизмы, я по-прежнему верил, что Советская власть единственно справедливая власть на земле и что Сталин является наилучшим ее представителем.

Таким я был в ту пору. Я был с большинством народа, как мне представлялось. И я ни в самой малости не подозревал, что Сталин давно объявил народам СССР войну и что ведет ее, употребляя самые жестокие приемы военного времени. Осуждаю себя тогдашнего.

Виноват! Виноват перед Октябрьской революцией. Перед Лениным. Перед миллионами расстрелянных, замученных в лагерях, погибших от организованного голода, оклеветанных, оговоренных на целых полвека. Убитых на последней войне. Плененных фашистами. Виноват перед Рютиным и его соратниками. Виноват перед девизом, начертанным на партбилете: «Партия — это ум, совесть, честь советской эпохи». Виноват перед своими сыновьями. Перед самим собой. Виноват и своими книгами, в которых далеко не вся правда отражена о времени, в котором жил, работал и страдал.

Вот каким неожиданно длинным оказалось так называемое «лирическое отступление». Но оно необходимо как воздух для исповеди писателя. Если исповедоваться, так до конца, без всякой пощады к себе и без малейшего страха перед правдой. Мы не для того раскопали заваленный хламом источник истины, чтобы не очищать, не омолаживать себя его живительной влагой. И не для того я стал писателем более полувека назад, чтобы к концу жизни безнадежно окостенеть, перестать искать все новые и новые формы самовыражения и воздействия на читателя и быть верным своему рабству.

Эту книгу я пишу абсолютно раскованно, с небывалым чувством свободы и уверенности, что буду понят в своем душевном движении, что рассказываю о самом главном, неслыханно ужасном, что было в нашей прошлой жизни. Вспомнил еще одно сокровенное завещание, оставленное нам Львом Толстым. В конце жизни, уже после того, как были написаны художественные и философские произведения, он не переставал искать новые писательские способы наиболее сильного воздействия на читателей, наибольшей простоты, ясности. Работал без почтительной оглядки на то, что сделано другими до него в течение многих веков, без страха перед критиками, что они скажут о том, что вышло из-под его пера. Лев Николаевич приказывал самому себе: «Писать вне всякой формы, не как статьи, рассуждения и не как художественное, а высказываться, выливать, как можешь, то, что сильно чувствуешь... Ни повесть, ни стихотворение, ни роман. Что же это? Да то самое, что нужно».

Теперь, облегчив душу прикосновением к Толстому, буду
в ы с к а з ы в а т ь с я дальше.

Итак, новый секретарь обкома Э. Прамнэк. Красивый, энергичный человек, латыш лет сорока с чем-то или чуть меньше. Он меня пристально, я бы сказал, настороженно разглядывает. Настороженность Прамнэка я для себя объяснил тем, что он главное лицо в Донбассе, за все и всех в ответе перед Кремлем и лично перед Сталиным, что сейчас сложное тревожное время, время высочайшей бдительности, время срывания благородных масок с предателей, двурушников.

И еще его особый взгляд на меня я склонен объяснить себе тем, что он, видимо, полагает, что я напросился на прием с целью выклянчить у него самое невозможное:

вступить за моего друга или родственника, без всякого будто бы основания арестованного органами государственной безопасности. И это естественно для нынешних времен.

Спешу разубедить назначенного Москвой хозяина области в его возможных предположениях. Говорю, что посчитал своим долгом писателя и специального корреспондента «Правды» познакомиться с новоизбранным секретарем обкома и что возлагаю надежды на его помощь в своей работе.

Настороженность Прамнэка нисколько не уменьшилась, несмотря на мой удачный, как я полагал, ход. Не спуская с меня следовательно строгого взгляда, он сказал:

— А я считал вас уральцем, думал, живете у подножия Магнит-горы. Почему вы переселились в Донбасс?

Пришлось рассказать, что я родом отсюда, из Макеевки, что Серго Орджоникидзе уговорил меня поменять Урал на Донбасс. Соблазнил фигурой Стаханова. При упоминании Серго он почему-то еще больше нахмурился.

— И давно вы обосновались в Донбассе?

— С тридцать шестого года.

— Пишете книгу о Стаханове?

— Нет. Натура Стаханова оказалась для меня неподходящей. Но о стахановцах пишу.

Прамнэк, против моего ожидания, не заинтересовался моим прохладным интересом к Стаханову.

— И в какой же плоскости пишете о стахановцах?

— О трудовых подвигах. О том, как обыкновенный человек открывает в себе силу богатыря и талант творца.

— Интересно, но этого сейчас мало. Стахановское движение и вредительство врагов народа в горной промышленности — это две стороны одной медали. Так думает, так учит нас товарищ Сталин. Надеюсь, стахановцы в вашей новой книге не только совершают трудовые подвиги, но и разоблачают врагов народа.

Ничего подобного в моих замыслах не было. Но мог ли я в этом сознаться, когда товарищ Сталин раз и навсегда определил суть стахановского движения: с одной стороны оно такое, а с другой...

Пришлось малость покривить душой и сказать, что именно в духе высказываний вождя я и задумал роман о шахтерах Донбасса. Про себя же, уже нисколько не кривя душой, я решил коренным образом изменить первоначальный

план романа и положить в его основу мысль Сталина. Просто удивительно, как я сам, без подсказки, до этого не додумался.

Прамнэк по-прежнему поглядывал на меня с внутренним напряжением, словно ожидая какой-нибудь опасной выходки или стараясь рассмотреть мое подлинное лицо, которое я от него, возможно, скрываю под маской писателя и корреспондента «Правды». О своих подозрениях он, разумеется, ни полсловом не обмолвился, но глаза сказали мне все, о чем он подумал. Вот так, наверное, он встречает каждого местного партработника, которого не успели арестовать. Несчастный Прамнэк. Подхватил модную болезнь, свирепствующую нынче от Владивостока до Памира, от Мурманска до Кушки. Как же с такой манией, манией массового нашествия врагов можно руководить коммунистами Донбасса и армией беспартийных большевиков — рабочими заводов, шахт, фабрик, колхозов?

— Как вам работается в Донбассе?— спрашиваю я.

Он безнадежно, в полном отчаянии махнул рукой.

— С кем работать? Все первые и вторые секретари горкомов и райкомов оказались врагами народа. Почти все члены бюро репрессированы. Директора предприятий оказались или вредителями или шпионами. Главные инженеры, главные технологи, даже главные врачи некоторых поликлиник и больниц — тоже из разряда сволочей. Днем с огнем надо искать честных людей. Надо семь пядей иметь во лбу, чтобы отличить порядочного человека от подлеца, фашистского наймита.

Что я могу сказать в ответ на гневную тираду? Только то, что ему хочется слышать. Сейчас много людей произносят речи, похожие на его гневные филиппики.

Я что-то промычал нечленораздельное. Но он и этим доволен. А может, сделал вид, что доволен.

Типичная для настоящего времени ситуация. Типичные праведные товарищи. Я, например, не думаю, что в области не найдешь сейчас честного человека. Не думаю также, что надо иметь семь пядей во лбу, чтобы отличить настоящего человека от прогнившего насквозь подлеца, фашистского наймита. Верю, что и Прамнэк так не думает. Но мы оба, не сговариваясь, дуем в одну дуду. Он мне подыгрывает, я — ему. Так надо. На всякий случай, если стены имеют уши. Он меня боится, я его опасаясь. Он меня убеждает, что является честным советским человеком, и я этим же делом увлечен. Он мне доказывает, что всей жизнью,

всей душой, всеми помыслами предан Сталину, а я, в свою очередь, не отстаю от него. И при этом мы оба не притворяемся, абсолютно искренни.

Мы с Прамнэком заражены страхом перед бушующими в стране репрессиями, но тщательно скрываем друг от друга эту сторону своих переживаний, чтобы, не дай бог, не возникла у кого-нибудь опасная мысль: на воре шапка горит. Свой страх перед «ежовыми рукавицами» мы топим в выпретенном и урапатриотическом говорении. И это так надо. Инстинкт самосохранения требует потери какой-то части человеческого достоинства, совести, стыда, скромности.

Прамнэк, догадываюсь, с тех пор как прибыл в Донбасс, ищет еще не разоблаченных, затаившихся врагов народа, выкорчевывает их с помощью работников государственной безопасности. Перегруженный такого рода делами, не находит времени увидеть Донбасс не на карте, а в натуральной величине. Для него пока terra incognita Горловка и Алчевск, Краматорск и Мариуполь, Константиновский и Краматорский металлургические комбинаты, комбинаты Макеевки и Азовстали, соляные копи, шахты Артемовска и самые старые рудники Лисичанска, хлебные поля Волновахи и Марьинки, рыбные промыслы, сады и виноградники Приазовья.

Бедный Прамнэк. Вернейший исполнитель указаний товарища Сталина, солдат партии Прамнэк.

Промышленность Донбасса не выполняет государственных планов ни по чугуну, ни по стали, ни по углю, ни по химии, ни по машиностроению. Огромный регион в этом году работает хуже, чем в тридцать шестом. Производительность труда резко снизилась. Но прорыв на трудовом фронте нового секретаря тревожит меньше, чем на кадровом, идеологическом. Первым делом — выкорчевывание врагов народа, замена их людьми сталинской закалки, а все остальное приложится само собой. Так охарактеризовал политическую обстановку в стране вождь. Так, только так понимает ее и Прамнэк.

Разговорился Прамнэк. Ему еще и еще хочется убеждать меня в своей причастности к безгрешной плеяде соратников Сталина. Ему нравится, что я внимательно и сочувственно его слушаю. Лицо подобрело, потеплело.

Он смотрел на меня совсем-совсем доброжелательно. Если бы в данную минуту я о чем-нибудь попросил его, он бы все сделал. И мне, честно говоря, захотелось воспользоваться благоприятным моментом и попросить его разобраться,

почему задерживается оформление моего приема в партию. Все прошло более чем хорошо на партсобрании, на бюро заводского партийного комитета, в горкоме и вдруг по какой-то причине движение застопорилось. Прамнэк, если бы я ввел его в курс дела, в самое короткое время решил бы мою судьбу. И все-таки, несмотря на уверенность, что он помог бы мне, я не попросил его распутать загадочную историю. Что-то удержало. Чего-то испугался. В чем-то засомневался. Наверное, в том, что сумею толково изложить необычную просьбу. Или, может быть, в том, что сейчас, в разгар смертельной борьбы с врагами народа, такого рода просьбы не только неуместны, но и весьма подозрительны. А если уж до конца быть откровенным перед самим собой, то я попросту не посмел отстоять перед первым секретарем обкома свое законное и моральное право беспартийного большевика вступать в ряды партии коммунистов. Что было, то было. Стыжусь. И каюсь в слабости. Утешил я себя тем, что решил высказать свою просьбу Прамнэку в другой раз, во время новой встречи.

Не успел.

В один прекрасный день пропал и Э. Прамнэк. Не зря нервничал, боялся. Не помогли ни проклятия в адрес врагов народа, ни клятва в верности и преданности Советской власти и лично товарищу Сталину. Говорят, его взяли в обкоме, в собственном кабинете. Вот такие дела творятся у нас в Донбассе. Как и во всей стране. Кому же теперь верить, если и такие люди, как Прамнэк, носили маски? Не миновать высшей меры, как и предшественнику Саркисову. Кто-то будет третьим и долго ли он продержится в кресле первого секретаря обкома?

Прислали Щербакова Александра Сергеевича, моего старого знакомого по Москве, бывшего секретаря вновь созданного Союза писателей. Я с ним знаком с тридцать четвертого года. Вот кто одним махом устранит все формальные препятствия, воздвигнутые каким-то чинушей на пути моего приема в партию. Заводской партком, имеющий права райкома, утвердил кандидатом, горком тоже единодушно одобрил мое давнее желание стать коммунистом, а вот последняя инстанция, обком, придрался к анкете, заполненной мной не по установленным правилам. Позволил себе ответить на два вопроса не так, как положено. Там, где надо было написать «украинец» или «русский», меня угораздило присвоить себе национальность интернационалиста.

Нет такой национальности, сказали мне в обкоме. А в графе, где говорится о месте постоянного проживания или что-то в этом роде, я еще больше оскандалился: написал, что всю страну считаю своим родным домом. Глупо, конечно. Неисправимый романтик. И, кроме того, первый раз имею дело с такой строгой анкетой, требующей точных ответов. Но не только эти две ошибки поставили мне в вину. Была еще третья, самая крупная. Я к ней не имел никакого отношения, даже косвенного, но ее почему-то приписали мне. На другой день после того, как бюро горкома подтвердило решение заводского парткома о принятии меня кандидатом в члены ВКП(б), в газете «Макеевский рабочий» на первой странице, рядом с названием газеты, да еще крупным шрифтом было напечатано об этом рядовом обычном решении.

— Вы, конечно, читали заметку о себе в городской газете?— спросили меня в обкоме партии.

Я ответил утвердительно.

— И как вы к этому отнеслись?

Я пожал плечами, промолчал. Мне стыдно было признаться, что сообщение было для меня приятной неожиданностью. Более того, оно обрадовало меня тем, что я у ж е , как сказано в газете, принят в партию и могу считать себя коммунистом. Мое молчание не удовлетворило заведующего отделом, и он стал допрашивать жестче.

— Я спрашиваю, как отнеслись к сообщению о своем приеме в партию в «Макеевском рабочем», напечатанном на самом видном месте да еще крупным шрифтом?

Я чистосердечно рассказал все, как было.

— Значит, вам не показалась нескромной заметка в газете?

— По правде сказать, нет. Как было, так и напечатано.

— И вы не подумали о том, что данная заметка, вот она передо мной, опережает события, как бы пытается влиять на тех, кому надлежит выдавать вам партийный документ, в данном случае кандидатскую карточку?

— Нет, не подумал. Не было причин. Ведь в уставе сказано, что решение первичной парторганизации вступает в силу после утверждения его райкомом или горкомом.

— И последний вопрос. Вы, лично вы давали информацию о том, что горком подтвердил решение первичной организации?

— Нет, не давал. Я даже не был в тот день в редакции.

— А знали вы, что газета собирается напечатать такое сообщение?

— Нет, не знал.

Завотделом сложил свои бумаги в папку, завязал тесемочками, потом казенным голосом, не сулившим ничего хорошего, сказал:

— У меня больше вопросов нет. Вы свободны. До свидания.

Вот так закончилась моя попытка стать коммунистом. Решение первичной организации о приеме меня в партию утверждено горкомом партии, стало быть, я должен получить кандидатскую карточку. Но я не получил ни через неделю, ни через две. Дело застопорилось. И никто не считал нужным мне объяснить, могу я считать себя формально коммунистом или нет, отказано или не отказано мне в приеме.

Все это я сразу же, в первые минуты встречи с Щербаковым, рассказал ему и попросил разобраться в моем деле.

Александр Сергеевич что-то записал в настольный календарь.

— Хорошо, я разберусь.— Положил перо, посмотрел мне прямо в глаза, сказал:— Это хорошо, что вернулись в Донбасс. Родные стены всякому человеку и сил, и ума, и предприимчивости, и трудолюбия прибавляют. Так или не так у вас?

— Так, Александр Сергеевич. Я много работаю в родных краях. Написал для Мосфильма киносценарий. Додельваю и передельваю большой роман о современном Донбассе. В центре событий шахтеры-ударники истинно коммунистического труда.

— Прекрасно. А как с вредителями? Попадут они на страницы романа? Вы их видели живьем? Я имею в виду врагов народа.

— Видел. Бывал на процессах на Ханжонковской группе шахт, на Марковской. В Макеевке.

— Навидался и я этих зверей с дипломами инженеров, мастеров, а то и в звании стахановца. Глубоко замаскировались. В секретари обкомов пролезли. В члены ЦК. И даже кое-кому удалось втереться в доверие товарища Сталина и стать членами Политбюро.

Слова Щербакова поразили меня сходством с тем, что так недавно в этом же кабинете говорилось Саркисовым и Прамнэком. И, грешным делом, подумал о том, что и этот, третий, может разделить участь предшественников.

Никто не застрахован от высшей меры наказания. Смертельная беда налетает внезапно в облике сотрудников НКВД, каких-то троек, заменяющих суд.

Слава богу, беда миновала Щербакова.

Вскоре после разговора с Александром Сергеевичем я получил кандидатскую карточку, а ровно через год, в начале тридцать девятого, стал членом партии.

Живу я, когда наезжаю в Москву, все в том же доме в Большом Комсомольском переулке.

Мне не положено тут квартировать, так как был изгнан из важнейшего по нынешним временам ведомства, которому принадлежит этот дом. Но почему-то не выселяют. Более того, управдом, который сейчас стал для многих зловещей фигурой, при встрече со мной подчеркнуто любезно раскланивается, спрашивает о здоровье. В прошлом году он еле замечал меня. Почему же теперь я стал для него персоной? После некоторого размышления я решил, что управдом причислил меня к **н е п р и к а с а е м ы м**.

Он по секрету рассказал, что творится в нашем громадном доме. Ни единого подъезда нет, где не опечатано пять-шесть, а то и десять квартир. Называет при этом должности и фамилии лиц, носивших по два, три и четыре ромба. С каждым днем дом становится малолюднее.

— А дети с кем остаются?— спросил я управдома.

— Отправляют в спецзаведения. Детские дома.

Мороз по коже пробирает.

Многих, кто исчез бесследно, я хорошо знал. Казалось раньше — преданы партии, Советской власти. Большевики. Командиры Красной Армии. Чекисты.

Владимир Киршон. Ведущий драматург. Его пьесы ставились чуть ли не в каждом городе. Исчез.

Афиногенов, недавно процветавший, тоже живущий в нашем доме, висит над пропастью. На волоске его жена-американка.

Фадеев тоже житель нашего дома. Непохоже, что загремит в тартарары. Возбужденный, краснолицый, веселый. Хохочет на всю улицу. Вчера он и Валентин Катаев, увлеченные каким-то разговором, никого не замечая, скорым шагом прошли по переулку, очевидно, спешили обедать к Фадееву.

Завидую. И удивляюсь. Не умею хохотать на всю улицу. Не до смеха сейчас. Да и не только мне. Притихла, приуныла Москва. Почему же так возбуждены Фадеев и Катаев? Отчего им весело? С Катаевым ясно — опубликовал

потрясающую книгу «Белеет парус одинокий». А Фадеев? Большинство его сподвижников — враги народа: Леопольд Авербах, Алексей Селивановский, Михаил Чумандрин, Владимир Киршон, Иван Микитенко.

Написал киносценарий «Закон жизни». О современной молодежи, студентах медицинского института. О молодых чувствах, ревности, заблуждениях, счастливых обретениях. Не скрою: сценарий мне казался значительным по теме, остросюжетным, с убедительно выписанными характерами. Мосфильм одобрил его. Быстро нашлись и постановщики — молодые режиссеры Александр Столпер и Борис Иванов. Они приехали ко мне в Донбасс, жаждущие прорваться на большой экран, надеясь на мое содействие.

Едем в Москву. 2 марта 1938 года. Улицы столицы уже бесснежны. Сияет солнце. У выходов из метро продают привезенные с юга первые цветы: мимозу, подснежники, фиалки, крокусы.

В эти благодатные дни в центре Москвы, в Октябрьском зале Дома союзов, заседает Военная коллегия Верховного суда под председательством грозного Ульриха. Не менее грозен государственный обвинитель прокурор Вышинский. На скамье подсудимых, кроме Бухарина и Рыкова, бывшие наркомы Чернов, Розенгольц, Гринько, Иванов, бывший нарком внутренних дел Генрих Ягода, его помощник Буланов, бывший Первый секретарь ЦК КП(б) Узбекистана Икрамов, бывший полпред Раковский, бывший замнаркома иностранных дел Крестинский, бывшие кремлевские врачи Плетнев, Левин, бывший секретарь А. М. Горького Крючков. Двадцать один человек. Обвиняются в чудовищных по масштабу и жестокости преступлениях: вредительстве, шпионаже, в подготовке покушения на Сталина и его соратников, в разветвленном антигосударственном заговоре оппозиционеров и уклонистов всех мастей.

Центральная фигура процесса — Бухарин. По словам государственного обвинителя Вышинского, Бухарин — воплощение политического двурушничества, вероломства, иезуитства и человеческой подлости. Лицемерием и коварством этот человек превзошел самые чудовищные преступления, какие только знала человеческая история. Он намеревался убить Ленина еще в тот период, когда Ленин

яростно боролся со своими противниками за Брестский мир.

Нет предела человеческому лицемерию! Каким он казался умным, эрудированным, обаятельным, когда на Первом съезде писателей делал доклад о поэзии. А ведь в это же время он строил козни против Советской власти, советского народа!..

Кроме Бухарина, мое внимание приковали к себе две фигуры — лечащий врач Горького Левин и секретарь Алексея Максимовича Горького Крючков. И того и другого я не раз видел в доме Горького. Внешне они ничуть не были похожи на убийц и извергов. Крючков — плотный, крупный мужчина в очках, угрюмо сосредоточенный при разговорах с посетителями и всегда чуткий, деловитый, исполнительный в присутствии своего давнего покровителя Алексея Максимовича.

С профессором Левиным я встретился в Крыму, в Тессели, на даче Горького. До его появления я занимал за обеденным столом крайнее правое место, напротив Горького. В тот день, когда появился Левин, меня пересадили на другой стул, левее, а мое место предоставили домашнему врачу Алексея Максимовича. Мы сидели рядом, иногда переговаривались. Он понравился мне. Небольшого роста, преклонных лет, но бодрый, молодежавый. Когда к нему кто-нибудь обращался с вопросом, он переставал есть, осторожно клал вилку и нож на тарелку, внимательно слушал, доброжелательно глядя на собеседника, отвечал кратко, умно. Блистал чистотой, ухоженностью... Втерся в доверие. Не укладывается в голове. Врач, призванный исцелять и продлевать человеку жизнь, оказался палачом. Не лечил Алексея Максимовича, а преднамеренно усугублял его болезнь!

Что за существа эти бухарины, рыковы, Левины, Плетневы? Откуда взялись в нашем мире справедливости и правды? Чем порождены?!

Отвратительна эта мразь, сидящая на скамье подсудимых. Но мне надо их увидеть, услышать циничные признания, надо понять, как они стали та к и м и, как втирались в наше доверие, как обманывали, предавали. Врага надо знать, чтобы иметь право писать о нем.

Михаил Кольцов, член редколлегии «Правды», когда я обратился к нему с просьбой похлопотать о пропуске для меня в Октябрьский зал Дома союзов, с какой-то странной тревогой посмотрел на меня и доверительно сказал:

— Зря ты туда рвешься. Не ходи!

— Почему?— удивился я.

— Там такое творится — уму непостижимо. Все говорят одно: Военная коллегия, государственный обвинитель, защита, свидетели и сами подсудимые. Странный процесс. Очень странный. Я сбежал оттуда. Не могу прийти в себя от того, что увидел и услышал.

Слушаю его удивленно, с нарастающим возмущением, хотя всегда доверял ему всей душой.

На процесс я не попал. Вечером дома заново проштудировал судебные отчеты. Вчитывался в каждую строку выступлений государственного обвинителя Вышинского, в вопросы председателя Военной коллегии Ульриха, в показания свидетелей и, главное, самих подсудимых, которые признают себя виновными во всех предъявленных им обвинениях, дают подробные показания: где, когда и как вредили, как подрывали мощь Красной Армии, кем и когда завербованы в платные агенты иностранных разведок, как ускорили смерть Куйбышева, Горького, как готовили покушения на Сталина, Молотова, Ворошилова, Ежова, как подличали в большом и малом, на каждом шагу.

Что ж, Военная коллегия Верховного суда, в строгом соответствии с советскими законами, вынесет приговор Бухарину, Рыкову и их сообщникам...

Большая статья Мих. Кольцова в «Правде» — репортаж из зала суда. Сотни и сотни гневных слов о врагах народа.

12 декабря 1938 года. Доклад Михаила Кольцова в клубе писателей. Скорее политический, чем литературно-творческий. Дубовый зал клуба переполнен. Кольцов не докладывает, а рассказывает нам о том, как в будущем страна будет постепенно переходить от социализма к коммунизму. Сначала отменят плату за проезд в общественном транспорте. Потом хлеб станет бесплатным. Потом и продукты будут выдаваться по потребности, в обмен на добросовестный труд, а не на деньги, которые утратят теперешнюю свою роль, действительно станут презренным металлом.

После выступления Кольцов устроил для своих друзей скромное застолье в соседней с Дубовым залом комнате. Я видел его в тот час. Он был весел, шутил, иронизировал, смеялся, рассказывал об Испании то, о чем не писал в газетах. Застолье закончилось в полночь, если не позже. Мы гурьбой провожали Кольцова к машине.

На другой день, придя в редакцию, я узнал, что Кольцов арестован.

Далекое будущее, казалось ему, хорошо разглядел, а завтрашнее, свое собственное, бессилён оказался увидеть, предсказать, предотвратить.

Осень и зима тридцать девятого. Я с головой окунулся в совершенно новую для меня жизнь, жизнь Западной Украины, освобожденной от панского ига. Как спецкор «Правды» исколесил вдоль и поперек новые советские земли. Напечатал несколько очерков, дюжины две корреспонденций.

Пока я работаю на «Правду», на Мосфильме близятся к завершению съемки «Закона жизни».

Лето сорокового. В качестве спецкора «Правды» послан в Северную Буковину, только что освобожденную Красной Армией.

Здесь встретился и подружился с Александром Петровичем Довженко и Юлией Солнцевой, снимавшими документальный фильм.

Так освоился в новом крае, что стал гидом молодых поэтов Константина Симонова и Евгения Долматовского. На своем новеньком «бьюике» повез их в горы. Ужинали, пили местное вино в настоящей корчме, за одним столом с лесорубами.

В Черновицах, побывав у первого секретаря обкома Грушецкого, узнал, что на Буковине арестован приехавший сюда знаменитый академик Вавилов.

Что это? Запоздалая акция? Или... или новая волна арестов?

Август сорокового. «Закон жизни» идет на экранах Москвы и Ленинграда. Газеты взхлеб хвалят. В работе еще три моих сценария: «Миллиардерша» ждет режиссера, другой сценарий обсуждался на Ленфильме, третий, «Люди, перешагнувшие границу», принят на Киевской студии. Из-за него я и прилетел в Киев из Северной Буковины.

До прихода режиссера, до завтрака, я успевал прогуляться. Я любил утренний город, безлюдный, прохладный, только что орошенный искусственным дождем. Любил встречать восход солнца на Владимирской горке, смотреть на Днепр, Заднепровье.

В это утро, 16 августа, я направился по Крещатику к бульвару Шевченко. В глаза бросались огромные, в ярких красках, афиши, рекламирующие фильм «Закон жизни», который в этот день выходил на экраны Киева. Поперек Крещатику, на уровне третьих этажей, протянуты белые транспаранты, тоже рекламирующие фильм. Эта феерия, кажется, устроена специально для меня.

Кинотеатры открываются с одиннадцати часов. Сейчас только восемь. Как долго ждать первого сеанса!

Вероятно, в Киеве никто так не хотел посмотреть этот фильм, как я. Дело в том, что я не успел посмотреть картину ни в законченном виде, ни в сыром. Правда, режиссеры Столпер и Иванов сообщили телеграммой, что все в порядке, фильм получил высокую оценку в Комитете по делам кинематографии и у заместителя председателя Совнаркома Вышинского. В «Известиях», «Кино» и других газетах появились статьи, положительно оценивающие фильм. И все-таки я с нетерпением ждал одиннадцати часов. Никто не может так определенно сказать, как автор, то или не то вышло, что задумано.

Перед отъездом в Киев я получил письмо из Москвы, от редактора и кинокритика Ильи Вайсфельда. Приведу его полностью:

«Дорогой Саша.

Задумал я написать Вам письмо еще до Вашего обращения к Полонскому, а написал — после. Теперь это — самое настоящее обращение сценарного отдела к писателю Авдеенко с предложением написать для Мосфильма сценарий, а не только мое личное послание Саше Авдеенко.

Прежде всего от души поздравляю Вас с «Законом жизни» — получилась настоящая, хорошая картина. Публика на нашей студии смотрит картину по 2—3 раза с захватывающим (действительно захватывающим) интересом. В мосфильмовской многотиражке дана полоса, посвященная картине. Картину ждет большой успех у зрителя, в этом сомневаться не приходится. В общем, несмотря на все трудности и даже компромиссы, «Закон» — все же большая творческая удача и Ваша, и режиссерская.

В связи с этим нам со Столпером пришла мысль: не написать ли сценарий второй серии «Закона» — герои «Закона» на месте своей новой работы. Это должна быть самостоятельная картина, имеющая свою тему независимо от первой серии, но продолжающая линию

морально-этических, публицистически-заостренных фильмов. Причем не хотелось бы, чтобы это был специфически медицинский фильм (по роду занятий героев). Пусть лучше Наташа и др. столкнутся на месте с новыми людьми — хорошими и не совсем хорошими, — но не только с медиками. Темой сценария, говоря общо, должно быть активное, творческое отношение к жизни, романтика будней.

Подумайте по поводу этих, пока еще бегло изложенных соображений и сообщите о своих темах и предложениях. Встретимся — и все уточним. Заверяю Вас, что Мосфильм и персонально Полонский хотят, чтобы Вы срочно писали для нас сценарий.

Крепко жму руку. Ваш И. Вайсфельд».

На углу Ленинской, около универмага, пустынную улицу торопливо пересекал человек в черной одежде, с ведерком в руках, с огромной сумкой за плечами, полной туго скрученных рулонов. Расклейщик афиш. Он был в ста метрах, я не видел его лица и все-таки понял, догадался, что это мой враг. Я смотрел, как расклейщик направляется к рекламной тумбе, и знал, что он собирается делать.

Он подошел к красочной афише с изображением счастливого юноши Сергея Паромова и счастливой девушки Наташи Бабановой, созданных моим воображением, сбросил тяжелую ношу на тротуар, вынул из ведерка толстую, с короткой ручкой малярную кисть, провел ею по афише, достал из сумки большой рулон, отмотал полосу, приложил к тумбе и одним ловким движением заклеил моих героев, Сергея и Наташу.

Едва успев появиться на свет, они погибали на моих глазах.

Я ускорил шаги, почти побежал. Перелетел на другую сторону улицы, тяжело дыша, остановился около убийцы и спросил хриплым голосом:

— Что же вы делаете, товарищ?

— Что надо, то и делаю. Проходите своей дорогой, гражданин!

Этот фильм только сегодня начнет демонстрироваться. Зачем же вы заклеиваете афишу?

— Не пойдет! — коротко, с угрюмым удовольствием проговорил расклейщик, не взглянув на меня.

Все было ясно, однако я еще надеялся на что-то. Спросил:

- Почему не пойдет?
- Не пойдешь!
- Кто вам сказал?
- Начальство. Кто же еще?

Он взвалил на плечи сумку, взял ведерко и удалился, шаркая по тротуару стоптанными рыжими ботинками.

А я немного постоял с опущенной головой, потом встрепенулся и пошел дальше. Дошел до Бессарабки, машинально повернул обратно.

Около почтамта я остановился. Человек десять толпились вокруг газетной витрины.

О, как я был прозорлив в этот день! Еще и краем глаза не взглянул на сегодняшнюю «Правду», но уже знал, что там напечатано обо мне, о «Законе жизни».

Я подошел к толпе, и люди, будто понимая, как важно для меня прочитать газету, посторонились. Не знаю, может быть, случайно так получилось, но я и теперь убежден, что выражение моего лица было страшным. Нельзя было не пропустить меня вперед.

Взгляд сразу нашел то, что искал. Две неполных колонки на второй полосе, в правом углу. Заголовок статьи крупный, черный.

«ФАЛЬШИВЫЙ ФИЛЬМ»

О кинокартине «Закон жизни» студии «Мосфильм».

Недавно на экранах появилась новая кинокартина «Закон жизни», выпущенная студией «Мосфильм». Кинокартина с таким многообещающим названием поставлена по сценарию А. Авдеенко режиссерами А. Столпером и Б. Ивановым.

Картину «Закон жизни» можно было бы счесть просто одной из плохих картин, выпущенных за последнее время, если бы не некоторые особенности этого фильма. Автор картины А. Авдеенко взялся трактовать о законах жизни, поучать молодежь, утверждать те каноны морали, которым, по его мнению, должна следовать молодежь нашей страны. Но мораль фильма ложна, и сам фильм является насквозь фальшивым. Если выразиться точно, фильм «Закон жизни» — клевета на нашу студенческую молодежь.

Клеветнический характер фильма особенно ярко проявляется в сценах вечеринки студентов-выпускников медицинского института. Авторы фильма изобразили вечер выпускников в институте как пьяную оргию: студенты и студентки напиваются до галлюцинаций. Авторы фильма смакуют эти подробности, еще и еще раз в десятках кадров

показывают сцены бесшабашного пьяного разгула. И по фильму ни администрация института, ни общественные организации, ни сами студенты, завтрашние врачи, не только не останавливают, не прекращают этого безобразия, но и сами принимают в нем участие. Где видели авторы подобные сцены? Где видели авторы, чтобы наша студенческая молодежь походила на изображенных ими подонков буржуазной молодежи? Сцены эти — клевета на советскую студенческую молодежь.

На пьянку и разложение подбивает студенческую молодежь руководящий комсомольский работник Огнерубов — циник, внутренне гнилой человек, враг, разлагающий молодежь, через быт пытающийся внушить ей вражеские идеи. Авторы фильма дают полный простор своему герою Огнерубову, проповедующему беспорядочную любовь и разврат. По фильму выходит, что эта вражеская проповедь Огнерубова безотказно находит доступ к сердцам и умам студентов, завтрашних врачей, и «принципы» Огнерубова реализуются тут же, в аудитории, в пьяной оргии. В этих да и в последующих сценах фильма видно своеобразное возрождение арцыбашевщины, которой в свое время пытались отравить молодежь, отвратить ее проповедями половой распущенности от политики, от революционного движения.

Среди советской студенческой молодежи авторы «Закона жизни» не сумели найти настоящих, положительных, ярких людей, которыми по праву гордится наша страна. Если не считать Сергея Паромова (о котором ниже), в фильме выделен лишь такой персонаж, как Черемушкин. Авторы фильма наделили его всевозможными комедийными трюками. Черемушкин, один из собутыльников Огнерубова, призван играть в фильме роль «души кабацкого общества». Все, что есть веселого в картине, исходит от Черемушкина. Удел всех остальных персонажей — мрачное раздумье. Удел Черемушкина — веселить публику. Но этот, якобы положительный персонаж обременяет картину глуповатыми и жалкими остротами. В такой среде Огнерубов мог жить и преуспевать. Но в том-то и дело, что эта среда выдумана, фальшива, что ее в природе нет.

В противовес Огнерубову авторы вывели в фильме комсорга Сергея Паромова, долженствующего служить олицетворением нашей новой морали, изображать боевого комсомольца, человека большого сердца и благородных чувств. Но вот странно, в то время, как враг Огнерубов

изображен таким завлекательным Печориным, комсорг Сергей Паромов, как и его товарищи, показан в фильме безвольным человеком и частенько недалеким простаком. На его глазах происходит безобразная общестуденческая пьянка, а он, Паромов, не находит в себе сил активно противостоять Огнерубову, прекратить пьянку. Его морализирование в фильме беспомощно и бесцветно.

Как это могло получиться? А получилось это потому, что действительные симпатии автора фильма на стороне Огнерубова, как бы он ни старался скрыть это маловразумительными сентенциями. Да, героем своей картины, именуемой «Закон жизни», автор сделал Огнерубова, морально и политически чуждого советской молодежи. Он, Огнерубов, по замыслу автора фильма, «властитель дум» молодежи, весьма легко овладевает симпатиями аудитории, покоряя без всякого труда молодежь своей щедро отпущенной ему автором фильма обворожительностью.

Сценарист и режиссеры наделили опустошенного и подлого врага качествами «сильного человека», всячески облагораживая его даже к концу фильма, когда, просмотрев добрых три четверти картины, зритель наконец видит (к своему немалому удивлению), что Огнерубова разоблачают. Конечно, происходит комсомольское собрание. Конечно, произносятся горячие речи. Конечно, зло наказано, а добродетель торжествует. Но и тогда подручные Огнерубова остаются неразоблаченными и ненаказанными. А сам Огнерубов, оставшись одиноким, сохраняет, если верить авторам фильма, и гордость, и достоинство, и даже благородство. Эта поза лжива насквозь, ее выдумали «творцы» фильма. Ибо люди, подобные Огнерубову, при всей своей вредности мелкотравчаты. Когда их разоблачают, они ползают на коленях, стеная и взывая к жалости, ибо им страшно оставаться наедине с собой. Огнерубовых заглушает крепкая, мужественная среда советских людей, наделенных волей, энергией, здоровой жизнерадостностью, радостным мироощущением.

В конце фильма авторы, отдавая дань духу времени, нехотя разоблачают Огнерубова, тем самым пытаясь приспособиться к нашей советской действительности, затушевать подлинное вредное существо картины. Однако разоблачение Огнерубова в фильме не мотивировано — ни логикой драматургического действия, ни ситуациями фильма, ни жизненной правдой, являющейся спутницей

подлинного искусства. Авторы, видимо, рассчитывали, что «благополучным концом» им удастся обмануть зрителя. Но и здесь авторы просчитались. Наш зритель вырос и в состоянии оценить по достоинству подобный фальшивый фильм.

Тем более странно, что некоторые газеты расценили фильм «Закон жизни» как «событие» в советской кинематографии. Так, например, газета «Кино» обнаружила в картине «искренность», «темперамент», «подлинную правдивость», «глубокое знание материала». Если бы редакция газеты «Кино» (как и руководящий ею Комитет по делам кинематографии) вдумчиво и добросовестно относилась к фильмам, выпускаемым на экран, разве она допустила бы расхваливание надуманного и вредного фильма, искажающего нашу действительность, клеветующего на советскую студенческую молодежь!

В конце концов, почему фильм называется «Закон жизни»? В чем состоит существо так называемого «закона жизни»? Как видно, содержание «закона жизни» сформулировано Огнерубовым: он имеет право беспорядочно любить, он имеет право менять девушек, он имеет право бросать их после того, как он использует их, так как «закон жизни» состоит в праве на наслаждение, переходящее в распушенность. По сути дела, авторы фильма должны были закончить фильм торжеством «закона жизни», торжеством философии Огнерубова. Но так как авторы фильма трусят перед нашим общественным мнением, то они отдали ему дань и кончили дело провалом Огнерубова и его «закона жизни». В этом основа фальши фильма. Почему же, повторяем, фильм называется «Законом жизни»? Ведь «закон жизни» должен быть высоко жизненным и непреодолимым. Не странно ли, что «закон жизни» авторов фильма оказался пустышкой, не имеющей никакой силы? Не ясно ли, что «закон жизни» авторов фильма ни на йоту не походит на действительный закон жизни? Это не закон жизни, а гнилая философия распушенности».

Подписи под статьей не было.

Медленно, строку за строкой, читал статью, впитывал каплю за каплей яд.

Вопиющая, бессовестная неправда! Все извращено, оклеветано. Я ненавижу Огнерубова, люблю Паромова. Это же ясно. Проповедую одну-единственную мораль — коммунистическую! Мне хотелось кричать, протестовать, жаловаться, доказывать правоту. Но я молча стоял перед

газетой. Холодел, старел, терял силы. Рядом кто-то изумленно воскликнул:

— Ну и ну! Выдали!

Выбираюсь из толпы, иду по Крещатику. Шагаю все так же, с руками, сцепленными за спиной, с поднятой головой. Что делать? Куда податься? Все ясно, но мне чего-то еще недостает.

Тут же, на Крещатике, помещалась Всеукраинская контора по прокату фильмов. Я зашел к управляющему, показал удостоверение корреспондента «Правды», попросил объяснить действия расклейщика афиш. Управляющий плотно прикрыл дверь и доверительно рассказал следующее. Сегодня ночью сотрудники НКВД на мотоциклах разъезжали по кинотеатрам Киева: опечатывали коробки с кинолентой «Закон жизни». Фильм запрещен, признан антисоветским и подлежит немедленному изъятию. О статье в «Правде» он ничего не сказал, наверное, еще не знал о ней. Я поблагодарил управляющего и вышел на улицу.

Все прояснилось. Складывай руки, автор, закрывай глаза, отдавай богу душу!

Я вернулся в гостиницу, позавтракал в сумрачном пустом зале, поднялся в номер и стал ждать режиссера, собирающегося ставить фильм «Люди, перешагнувшие границу». Он явился, как всегда, вовремя, ровно в десять. Мы сразу приступили к делу. Работали над режиссерским сценарием три часа, очень плодотворно.

Потом я пошел провожать режиссера. И тут только я поведал ему, что «Закон жизни» запрещен, что в «Правде» напечатана разгромная статья. Режиссер подавленно смотрел на меня и ничего не говорил, не пытался задавать вопросы, ничуть не притворялся. Откровенно рассматривал автора сценария как обреченного.

Попрощавшись, я пошел своей дорогой. Мы не условились встретиться завтра в девять. Само собой понятно, что договорные отношения с Киевской киностудией будут разорваны.

Спустился на Крещатик, прошел мимо стенда с сегодняшней «Правдой», где все так же толпился народ, на почтамте заказал разговор с Макеевкой. Примерно через час меня соединили. Откликнулась Люба. Рада-радешенька, что я позвонил. Спешит сообщить, что соскучилась, что хочет прилететь в Киев.

Эх, Люба, Люба! Подвел я тебя, дружок. Выходила замуж за писателя, щедро обласканного государством, а теперь выясняется... Выдержишь ли все, что выпадет

на твою долю? По твоим ли плечам неимоверная тяжесть?

Я молча выслушиваю ее ласковую скороговорку.

—Что с тобой?— встревожилась Люба.— Ты не хочешь, чтоб я приехала? Почему молчишь?

Рассказал о статье в «Правде». Говорил и удивлялся: до чего толково, вразумительно, кратко и ясно излагаю чудовищное, невероятное. Будто речь шла не обо мне, а о ком-то другом.

Мое деловитое, чересчур деловитое сообщение не ввергло Любу, как я ожидал, в бездну отчаяния. Закричала в трубку — повелительно, с величайшим убеждением:

—Немедленно лети в Москву! Пойди в ЦК. Напиши Сталину! Слышишь? Немедленно! Нельзя бездействовать ни одной минуты! Как могла «Правда» написать о тебе такое? Разве там не знают, какой ты писатель и человек?! Слышишь, что я говорю? Поезжай в Москву. Напиши Сталину! Он во всем разберется.

Она угадала мои мысли. Именно об этом я и думал, ожидая разговора. Да, я должен быть в Москве. Должен написать товарищу Сталину. Но — что написать? Боже, если ты существуешь, помоги найти нужные слова!

Взял в Интуристе машину и поехал на окраину Киева на киностудию. Зачем? Разве я не понимал, что со мной расторгнут договор, изгонят со студии? Очень хорошо понимал. Собственно, поэтому и поехал.

Но до сценарного отдела не дошел. Около проходной будки столкнулся с Александром Петровичем Довженко, легким, изящным, седоголовым, с лицом, бронзовым от загара.

Я восхищался Довженко давно. Его фильмом «Земля» я был потрясен. Дрожал от восторга, когда довженковский Василь возвращался домой по залитой лунным светом деревне, когда, переполненный жизнерадостностью, молодой силой, пускался в пляс. За минуту до своей гибели. Плакал, когда выстрел предателя сразил моего ровесника, моего брата. Когда его несли по украинским полям и подсолнухи поворачивали свои цветущие головы вслед Василию, прекрасному и в гробу, когда заволновалось, забушевало пшеничное поле вокруг Василя, когда ветка, полная яблок, прощаясь с мертвым, тронула его лицо. Я умирал и воскресал вместе со стариком садовником в довженковском саду. Я прикоснулся к прекрасному.

Сама судьба послала мне в такой тяжкий день Довженко!

Александр Петрович, разумеется, уже прочитал сегодняшнюю «Правду». Но ни словом не обмолвился. Обнял меня и, не отпуская, повел к себе, в корпус, именуемый довженковской студией. Попросил жену, Юлию Ипполитовну, и своих помощников принести угощение. Появилась полная корзинка яблок и большая банка меду. Яблоки из сада, который много лет назад посадил Довженко.

Мы ели яблоки и мед и говорили. Обо всем на свете, но только не о Киевской студии, не о кинофильмах, не о работе писателей и кинорежиссеров. Довженко говорил о садах Украины и Днепре, вспоминал детство, юность.

Никогда до этого я не видел Довженко таким добрым, ласковым, вдохновенным, как в тот день.

Когда пришла пора расстаться, провожал до ворот. Предчувствовал, что и с ним однажды расправятся, как со мной? Все под богом ходим. Так и случилось. За два года до конца войны Довженко постигла такая же судьба.

За что же расправился Сталин с Довженко, которого почитали во всем мире? Не понравился страстный антифашистский киносценарий «Украина в огне». Посчитал националистическим, антисоветским.

Довженко лишился права не только работать, но и жить в родном Киеве. Переехал в Москву, на Кутузовский проспект, где у него была квартира.

После войны я часто бывал у великого режиссера. Он бывал у меня. Мы стали друзьями. На моей «татре» уезжали далеко за город. Садись где-нибудь на обрывистом берегу реки в тени деревьев и беседовали. Часто говорили о Сталине. Пытались разобраться в происходящем.

Тяжелая болезнь сердца, вызванная жестокой расправой, безвременно свела Довженко в могилу. 25 ноября 1956 года он скоропостижно скончался. Из дома на Кутузовском проспекте выносили Александра Петровича в морозную, снежную ночь. Положили мертвого в кузов санитарной машины и увезли. Оледенелые ветви деревьев, казалось мне, склонились в его сторону, и сильнее выла вьюга, и метель мчалась в ту сторону, где скрылся Довженко.

Я долго стоял на ступеньках его подъезда и смотрел на то бесснежное место, откуда только что отчалила больничная машина, и вспоминал живой киевский сад, живого Довженко, пасеку Довженко, яблоки и мед Довженко, седую красивую его голову и все, что он говорил за годы нашей дружбы.

Но вернусь в год сороковой. В гостинице портье встревоженно помахал мне рукой:

— Вам правительственная телеграмма.

Я разорвал заклеенную телеграмму и прочитал:

«Секретарь Центрального Комитета товарищ Жданов предлагает вам явиться в ЦК. Кузнецов».

Помчался в агентство Аэрофлота. Билеты на сегодня и завтра проданы. Купил билет на послезавтра.

Ночью опять поговорил с Макеевкой, рассказал жене о вызове в Москву, к Жданову. Люба обрадовалась.

— Я уверена,— сказала она,— что твоя «Правда» получит нахлобучку. Все будет хорошо, вот увидишь!

Я не стал ее разубеждать.

На следующей день я случайно узнал, что статья «Фальшивый фильм» была написана по личному заданию Сталина правдистом, здравствующим и поныне. Писалась наспех, ночью и со специальным нарочным была послана в Кремль. Сталин кое-что вычеркнул, вторую половину заново переписал и отослал в редакцию. По его указанию статья была напечатана без подписи.

Случилось так, что этот правдист в тот августовский день сорокового года оказался в Киеве, остановился в том же отеле «Континенталь», где жил и я. Мы встретились в ресторане за обедом. Он в весьма и весьма сочувственных тонах рассказал, как писалась, дописывалась, редактировалась статья.

Не знали тогда ни он, ни я, какая тяжелая судьба ожидает и его самого. Через несколько лет он был исключен из партии и едва не попал в тюрьму.

Не знал, не понимал я тогда и того, что автор фильма «Закон жизни» должен был немедленно, безоговорочно признать себя по всем пунктам виновным, публично покаяться, как можно безжалостнее к самому себе, поблагодарить от всего сердца за суровую критику и присягнуть всей жизнью, всеми трудами и помыслами искупить тяжкую вину.

Не сумел я отдать дань времени.

Прилетев в Москву, я сразу же разыскал телефон-автомат, позвонил в ЦК, в справочный отдел, узнал номер телефона Кузнецова и соединился с ним. Назвал себя и напомнил, какую именно получил от него телеграмму.

Кузнецов попросил меня подождать у телефона. Минуты через две-три снова появился на проводе, сказал, что

товарищ Жданов занят и в ближайшие дни принять меня не сможет. «Ждите, вас известят».

Примерно через полчаса я был у Столпера. Глядя в его суматошные, полные ужаса глаза, слушая бешеную скороговорку, я понял, что меня ждет. Столпер рассказал во всех подробностях, какой переполох подняла статья «Правды» на Мосфильме, как перепуган комитет во главе с Большаковым.

Сегодня, 21 августа, мне исполнилось тридцать два года.

Уже тридцать два, а как мало сделано.

Всего-навсего тридцать два, большая часть жизни впереди. И большая часть дел. Если бы... если бы не появилась разгромная статья в «Правде». Не праздник сейчас на душе у меня, не грусть и печаль, а смертельная тревога и страх. Не только будущее мое скрыто громадой грозowych туч, но и завтрашний день не обещает рассвета. Поразительная штука — жизнь. Непостоянная. Ненадежная. Неустойчивая. Не застрахована на годы, десятилетия от всякого рода бедствий, от клеветы, оговоров, напастей, недругов, дураков, завистников, заплочных дел мастеров. 15 августа я был в самом центре жизни, на ее вершине, чувствовал себя счастливейшим человеком, делающим для Родины все, на что был способен. А сегодня брошен на край бездны и жду, когда меня столкнут в пропасть, откуда никто еще не возвращался. Страшная жизнь. И так вот живут все люди: сегодня ты достойный человек во всех отношениях, в собственных и чужих глазах, а завтра... нет никаких гарантий, что тебя не объявят фальшивым гражданином, фальшивым инженером, фальшивым директором завода, фальшивым патриотом, фальшивым колхозником, фальшивым академиком, фальшивым членом ЦК ВКП(б) и даже Политбюро, саботажником хлебозаготовок, разрушителем колхоза, вредителем или еще чем-то. И это только начало казни — объявление тебя фальшивым с высочайшего амвона.

В ближайшее время мне предстоит пройти все круги ада, как это было с моими старшими товарищами — Артемом Веселым, Борисом Пильняком, Исааком Бабелем, Михаилом Кольцовым, Леопольдом Авербахом, Алешей Селивановским, Дмитрием Святополком-Мирским, Павлом Васильевым, Борисом Корниловым, Всеволодом Мейерхольдом, Натальей Сац, Иваном Беспаловым и тысячами других.

До сих пор, до 15 августа, пока меня не трогали, пока волна репрессий не захлестнула меня, я гнал от себя подобного рода мысли, внушал себе, что смертельная чаша минует меня, поскольку я не совершал никаких преступлений: не примыкал ни к левой, ни к правой оппозиции, не двурушничал, не подписывал никакие антипартийные платформы, не распространял контрреволюционных листовок, ни единого плохого слова не сказал о Сталине, о Советской власти.

И только после того как я прочитал в «Правде» обвинения, выдвинутые против меня, я понял и почувствовал, что не только один я, но и все граждане СССР не забронированы от произвола, от беззакония.

Поздно, слишком поздно я осознал свою и всеобщую незащищенность? Да, да, конечно, это так и есть. Давным-давно известно, что чужую боль особенно хорошо чувствуешь только после того, как сам тяжело ранен. Известно также, что сытый голодного не разумеет и что за битого двух, а то и дюжину небитых дают, что, только побывав на эшафоте с петлей на шее, человек способен постигнуть чувства и мысли невинно осужденного на казнь через повешение.

Известно также, что глухонемые от рождения или от какого-либо нервного потрясения обретают способность говорить после нового, еще более сильного потрясения. И кое-кто из слепых прозревает после внезапного удара по глазам световой истины или благодаря хирургу. И умнеют многие после того, как заглянут в тайные глубины жизни, ранее недоступные.

Так или иначе было, но 21 августа, через шесть дней после появления ужасной статьи в «Правде», где каждое слово — вопиющая несправедливость, поклеп, наглая ложь, я уже стал совершенно другим человеком. Менее наивным, простодушным, не слепо верующим. Видел постыдно обнаженным механизм насилия и людей, злоупотребляющих своим высоким служебным положением, не по-человечески употребляющих данную им власть. Еще не окончательно разлюбил то, что раньше безоговорочно обожал, но уже засомневался в его божественной непогрешимости. Несчастье, посланное свыше, а не тобой сотворенное, хороший учитель. В беде мы чаще приближаемся к истине, познаем себя со всеми потрохами и достоинствами.

Такого рода мысли обуревали меня в тягостные

мучительные дни затянувшегося ожидания вызова в ЦК к Жданову.

О многом в те дни я размышлял. Всю свою жизнь перелопатил, перешерстил. Многие поступки осудил.

Камня на камне не осталось от моих прежних воззрений. Лишь один Сталин нерушимо стоял на своем месте в неприкосновенном виде. Даже то, что он является соавтором разгромной рецензии, я не поставил ему в вину. Кто-то оговорил меня. Кто-то представил ему фильм, снятый по моему сценарию, в фальшивом свете. Странно только, что он поверил чужому впечатлению, а не своему собственному. Да и видел ли он фильм? Очень, очень в этом сомневаюсь. Не может не понравиться «Закон жизни» великому человеку.

В ожидании вызова на Старую площадь в Большой дом только и делаю, что думаю о своей беде, о том, какая еще беда разразится над моей головой. Днем и ночью — страшные мысли и больше всего о Сталине. Если он собственноручно решил написать разгромную рецензию о моем фильме, значит, он сильно, очень сильно не пришелся по душе. Но почему, почему? Все, что сказано в статье «Фальшивый фильм», меня не только не убедило, но и вызвало протест. Чудовищные обвинения. С начала до конца надуманные. Все поставлено с ног на голову. Искажено. Почему? Во имя чего? Я не признаю себя виновным ни по одному пункту обвинения, так как прекрасно знаю, чем именно руководствовался, когда писал сценарий. Я хотел навлечь гнев молодых людей, комсомольцев, студентов на замаскированного карьериста и себялюбца Огнерубова, на власть имущего красная, олицетворяющего преступную вседозволенность, безнравственность. Я рассказал, как мужественный, честный Паромов организовал и возглавил молодежь, которая восстала против зазнавшегося комсомольского бюрократа и разоблачила его. Что же тут фальшивого? Правдивая история.

Все об одном и том же мои думы. Двадцать, тридцать, пятьдесят раз мысленно обращаюсь к Сталину. Если бы он услышал меня, я уверен, он бы пожалел о том, что написал в «Правде».

Ни о чем другом думать не могу. Ем и пью по привычке, не ощущая вкуса пищи, засыпаю и просыпаюсь в тревоге. Газеты читаю, вернее просматриваю, машинально, не вникая в содержание того, что читаю. Так было вчера, позавчера, третьего дня, а сегодня, 24 августа сорокового года, я вдруг осмысленно прочитал то, что случилось три

дня тому назад, 21 августа, в день моего рождения. В статье, озаглавленной «Смерть международного шпиона», напечатано: «Телеграф принес известие о смерти Троцкого. По сообщениям американских газет, на Троцкого, проживающего последние годы в Мексике, было совершено покушение».

Троцкий. Покушение... С малых лет эта фамилия вошла в мою жизнь. Я своими глазами видел на большой узловой станции Иловайская, как по главным путям при вздыбленных семафорах прогрохотали один за другим три курьерских поезда — с севера на юг, с пулеметами и красноармейцами на передних площадках паровозов. Первый и третий, состоявший из теплушек, набитых бойцами, были сопровождающими, охраняющими наркомвоенмора и председателя Реввоенсовета республики. Во втором находился, как потом говорили, Троцкий. Торопился на Ставропольщину и Кубань, чтобы руководить войсками, добывающими остатки белой гвардии.

Довелось мне видеть Троцкого и после окончания гражданской войны. Скорый поезд, идущий с юга, от морских берегов и минеральных вод, остановился на той же узловой станции Иловайская. Меняли паровоз. Одно из окон последнего вагона было открыто, и я увидел в его проеме человека в пенсне, с копной вьющихся волос на голове. Я сразу узнал, что это Троцкий. Его портреты висели во всех залах вокзала рядом с портретом Ленина.

Через мое плечо была переброшена лямка холщовой сумки, полная московских газет и журналов.

— Дяденька, купите газеты,— сказал я, обращаясь к Троцкому.

— Что ж, куплю, если свежие.

— Свежие. Только что полученные. Есть «Правда», «Известия», «Беднота». Какую желаете?

— Давай, пожалуй, все три.

Он бросил мне бумажные деньги, я, подпрыгнув, вручил ему газеты. Можно было бежать дальше вдоль поезда, торговать газетами, но я стоял и смотрел на человека, живым сошедшего с плаката.

— Ты что, мальчик, так смотришь на меня?

— Интересно.

— Что тебе интересно?

— Очень вы похожи на товарища Троцкого.

Человек улыбнулся:

— Как же мне не быть похожим на Троцкого, если я и есть товарищ Троцкий.

Он помахал мне газетами и отошел от окна.

Как давно это было! Лет восемнадцать прошло.

Какое зловещее совпадение! В одно и то же августовское время убит Троцкий, а я распят на страницах любимой «Правды». Как неожиданно, как страшно время соединило две судьбы, абсолютно чуждые друг другу. Один злодейски убит человеком, которого считал своим другом. Второй всенародно обруган, оклеветан тем, кого я почитал как родного отца, как великого человеколюба, как олицетворение справедливости.

Не время соединило мою беду с бедой Троцкого, а одна и та же карающая мстящая рука. Понял задним числом и причину необыкновенного, сильнеешего возбуждения Сталина в ту ночь, когда встретился с ним, когда подвергся расправе. Возбудила хозяина кровь Троцкого, его разрубленный череп, предсмертные крики.

Прошло немало дней, пока в секретариате Жданова вспомнили о нас.

9 сентября утром мне, режиссерам Столперу и Иванову сообщили, что нас вызывают в Центральный Комитет к пяти часам вечера. Войти в ЦК через главный подъезд, пропуска будут там же.

Весь день я готовился к встрече. Составил нечто вроде оправдательной речи. Примерно в половине пятого встретился со Столпером и Ивановым, и мы направились на Старую площадь, в Большой дом.

Лифт поднял нас на тот особый этаж Центрального Комитета, где кабинеты секретарей. Мы вошли к Кузнецову, представились.

Кузнецов провел нас по какому-то глухому, покрытому толстой красной дорожкой коридору. Мы очутились в комнате, заставленной тяжелыми, в белых полотняных чехлах креслами. Сидели мы в одиночестве довольно долго, минут тридцать-сорок.

Странное дело, ни в чем не виноваты, а ищем оправдательных слов. Не совершали никаких проступков, ни на что не покушались — и должны доказывать, что не фальшивили, не покушались.

Нас пригласили куда-то: проходите! Я думал, мы идем к Жданову, в его кабинет, но вошли в какую-то узкую дверь, миновали тамбур, прошли коридор и попали в большой, ярко освещенный зал с громадной квадратной колонной. Два ряда столов. За столами, друг против

друга — каждый за отдельным столом — сидят люди. На возвышении, за светлым, длинным дубовым столом никого нет. Слева от возвышения — трибуна.

Мы заняли указанные нам места, недалеко от трибуны. Я сел в кресло и увидел перед собой привинченную к столу пластину, на которой золотыми буквами написано: «Член Оргбюро ЦК Л. З. Мехлис». Так вот куда я попал. Вот в каком кресле сижу! Рядом со мной, справа, Столпер, дальше Иванов. Против меня, спиной к сцене, сидел, почесывая длинную и жиденькую бородку, Лозовский. Рядом с ним Тренев, Катаев, Асеев, Фадеев и другие члены президиума Союза писателей. Все меня хорошо знали, но не смотрели на меня. Вообще никто не замечал — ни писатели, ни деятели кино, не работники ЦК.

Говорят, на обреченных страшно смотреть. Не знаю, так это или не так, но от меня все отводили взгляды.

Еще не начиналось совещание, а на мне уже поставили крест. Вероятно, по этой причине меня и режиссеров и ввели в этот зал через особую дверь. Все вошли в дверь, предназначенную для живых, а я...

Из-за огромной квадратной колонны появился тучный, аккуратно причесанный, в новенькой тужурке стального цвета Жданов. За ним вошли маленький Андреев и толстый, с каким-то отрешенным выражением лица Маленков. Они заняли свои места за столом на возвышении: Жданов посередине, Андреев справа, поближе к трибуне, Маленков слева, невдалеке от той двери, из которой вышли. Дверь эта мне была видна, но от большинства сидящих в зале загорожена колонной.

Жданов положил перед собой несколько папок и, отчужденно глядя на присутствующих, сказал, что мы собрались здесь для того, чтобы обсудить кинофильм «Закон жизни» и работу писателя Авдеенко. Слово «работа» он проговорил с подчеркнутым пренебрежением.

И Жданов, и Маленков, и Андреев тоже не замечали меня, хотя я сидел ближе всех к ним, хотя ни на мгновение не спускал с их лиц взгляда.

Жданов напомнил присутствующим о статье в «Правде», затем стал говорить о моих романах и повестях. Он давал им резко отрицательную характеристику. Привел отдельные цитаты из критических статей о романе «Судьба». Потом назвал мои киносценарии — «Миллиардерша», «Люди, перешагнувшие границу» и сценарий, написанный для Ленфильма, сказал, что вся эта писанина порочна, как и «Закон жизни». Потратив примерно час на обзор

сценариев и критических статей, он перешел к роману «Государство — это ».

Этот роман был написан два года назад, но не был опубликован. Рукопись я отложил с намерением еще поработать над ней.

Центральная фигура романа — донецкий шахтер Севастьян Бескаравайный. Посвящен роман событиям 1935—1937 годов, самому славному и самому тяжелому периоду в истории Донбасса. Живя там, я часто бывал в Горловке, Артемовске, Сталино, Мариуполе, Кадиевке, Алчевске на шахтах и заводах. Знал многих рабочих, почти каждого начальника шахты, каждого парторга, каждого директора завода. Дружил со многими стахановцами-шахтерами, с секретарями райкомов. Так что мне было что рассказать о моих земляках.

Естественно, я не мог пройти мимо того, что стряслось в Донбассе. Я имею в виду факты вредительства. Разумеется, я не был очевидцем вредительства. Мне факты стали известны из газет и по судебным процессам. Процессов в то время было много, и почти на каждом процессе в Донбассе я присутствовал. Я сидел в зале среди людей, приглашенных по специальным билетам, слушал обвинительные заключения, речи прокуроров, признания обвиняемых, показания свидетелей. И обвинительные заключения, и свидетельства, и показания казались мне достоверными, вскрывшееся на процессах ужасало. И я решил написать не только о рабочих-стахановцах, но и о маскировавшихся врагах Советской власти. Севастьян Бескаравайный и его друзья, их разоблачившие, олицетворяли, по моему замыслу, рабочую гвардию Донбасса, государство, партию, потому и назвал роман так: «Государство — это я».

По шестнадцать—восемнадцать часов работал. Писал все лето и зиму, уединившись с женой, младенцем и матерью неподалеку от Макеевки, километрах в восьми от города — на вишневом хуторе, на берегу ставка. К весне 1937 года роман был готов. Но я никому его не показывал. Хотелось, чтобы рукопись прочитал кто-нибудь из друзей.

Первым моим другом в то время был Антон Семенович Макаренко. Ему-то я и послал рукопись.

Спустя несколько дней я был в Москве, и мы с глазу на глаз говорили о романе. Потом я уехал домой, и Макаренко вдогонку мне послал подробное письмо. Вот оно:

Дорогой, милый, родной Александр Остапович!

Рукопись вчера отправил в Makeевку, а сегодня получил Ваше письмо. Дело, впрочем, не в том.

Дело в том, что я перед Вами виноват, как самая захудалая свинья. Виноват, честное слово, не по злой воле. Я человек — несчастный. Меня загоняли, и я похож на угорелую лошадь. У меня на плечах свой роман — «Флаги на башнях», — на него все сроки пропущены, все деньги, взятые под роман, давно прожиты, неловко перед людьми, а писать некогда. Москва для меня гибель. В час пятнадцать телефонных звонков, пять посетителей, а толку на копейку. Бездельные люди, сами лодырничают и мне не дают работать. Роман мой растянулся, конца не видно, и я принужден был пойти на последнее средство — печатать его прямо в чистовку. Так и делаю, сердце кровью обливается, знаю, что я поганю свою работу, а никаких других выходов нет. Меня, как вы знаете, почти не издают, во всяком случае, не переиздают, нужно эти самые презренные средства к жизни зарабатывать горбом.

Дальше — сейчас меня пристроили заместителем редактора «Октября», я там провожу целый день, и тоже пользы от моей работы нуль — читаю жалкие рукописи, скучные, пресные, бесталанные

В Makeевку я отправил вместе с рукописью целое сочинение, хотя, вероятно, оно Вам и не пригодится. Нужно Вам сказать, что Ваш роман в пристальном чтении мне понравился гораздо больше, чем тогда, когда Вы были у меня, при беглом просмотре. Это большая, высокоталантливая и свежая работа. Признаюсь Вам по секрету: иногда мне кажется, что это не Вы писали, настолько это не похоже на Ваши прежние работы и насколько это выше. Вы растете на глазах, и за это я больше всего Вас люблю. Страшно хочется для Вас огромного, головокружительного успеха, искренно говорю Вам, этот Ваш успех меня больше обрадует, чем мой собственный.

Собственно говоря, Ваш роман совершенно цельная вещь, в которой ничего не нужно исправлять и дополнять. Но, принимая во внимание интересы читателя и не всегда полную его способность разобраться в сложных вопросах, тот план, который мы наметили вместе, представляется мне по-прежнему очень хорошим и полезным.

Я уверен, что у Вас есть копия рукописи и в настоящее время Вы уже очень много сделали. В самом тексте поправок

будет очень немного, исключительно по линии уменьшения натурализма, который у Вас выходит очень выразительно и правдиво, но от которого Вам все равно необходимо избавляться. И без натуралистических трюков у Вас очень много силы, для Вас не нужны никакие подстегивания. И, представьте себе, самые лучшие Ваши страницы — это те, где нет никакого натурализма. Например, объяснение в театре — прелесть, замечательно тонко и обвинительно, я перечитывал его несколько раз.

Жаль, что Вы небрежно отнеслись к Божедомову. Затеяна фигура хорошо, а потом кое-как прикончена, видно было, что Вам было некогда с нею возиться. Совершенно убежден, что Вы слишком много уделили внимания семейным подробностям Вашего героя. Я уверен, что самые интимные его переживания будут выглядеть интереснее, если Вы будете давать их в меньшем количестве. И, конечно, ни в коем случае не нужно Вашу героиню просто гробить при помощи милиционерского протокола. Картина, когда она уходит и на переезде отказывается сесть в машину мужа, и без того очень трагична и убедительна. Трамвай после этого — совершенно ненужная и обидная для читателя жестокость, не правда ли?

Нет, серьезно, Вы работаете над замечательной книгой. Я никак не могу отделаться от этого общего впечатления. В некоторых местах я очень боялся, что роман потеряет при переходе на третье лицо. Нельзя ли соединить первое лицо с третьим, то есть перемежать Ваш рассказ с выдержками из дневника? Вообще не думайте, что я Вам много помогу, — у меня самого голова кругом идет. И что особенно для меня приятно, — я Вам ни капельки не завидую, между нами говоря, это все-таки трудно.

Роман Ваш я прочитал несколько раз. Первый раз сразу после Вашего отъезда. Потом меня выбило из колеи, и в двадцатых числах я начал читать второй раз уже с карандашом и, читая его как будто первый, иногда даже забывал, что у меня в руках карандаш. Думаю, что в своем письме, отправленном в Макеевку, я не смог отметить все, что приходило в голову, очень хочется с Вами видаться и говорить, писать писем я, собственно говоря, не умею. Надеюсь, что 15-го увижу Вас в Ялте. Но когда придется читать Ваш роман в готовом виде? Вы должны знать, что на Ваш роман я имею преимущественное право для того, чтобы печатать его в «Октябре». Панферов очень обрадовался, когда я рассказал о Вашей удаче, и тоже надеется, что Вы будете печататься у нас. Впрочем, имейте в виду, что я как редактор

— лицо для Вас второстепенное, со мною можно и не считаться.

Крепко жму руку. Ваш А. Макаренко».

В «Октябре» я печататься не хотел. Макаренко, с моего согласия, отдал рукопись в «Красную новь». Редактор журнала В. В. Ермилов не заинтересовался романом. После беседы со мной и Макаренко он вернул мне рукопись. Мы знали, что только что, буквально на днях, Ермилов получил от ЦК выговор за документальное произведение Мариэтты Шагинян о семье Ленина, опубликованное в «Красной нови», и был на пороге снятия с работы.

Однако ни Макаренко, ни мне тогда не было известно, что директор Гослитиздата Лозовский попросил Ермилова дать ему мою рукопись для ознакомления, в издательстве рукопись срочно перепечатали.

Через несколько дней Лозовский неожиданно пригласил меня на Никольскую. После четырехчасового разговора у меня сложилось впечатление, что в целом, с некоторыми оговорками, Лозовский одобрительно относится к роману. Мы тепло распрощались. Лозовский сказал, что верит в роман, что после доделок ему будет дана в издательстве «зеленая улица». С тем я и уехал в Донбасс.

А вскоре получил от Лозовского большое письмо — двадцать пять печатных страниц. И ни на одной из них не оказалось и следа недавнего сердечного разговора — сплошной разнос.

Я возмутился. Сел за стол и написал письмо — тоже большое, не менее двадцати пяти или тридцати страниц. Опроверг все, что нагородил Лозовский. Резкостью отвечал на резкость. Уличил его в передергивании, в подтасовке фактов.

Мое письмо Лозовскому Люба перепечатала, но со слезами на глазах начала умолять не посылать его. Даже ей, знающей, что Лозовский обвинения построил на песке, стало страшно, что я так гневно отвечаю директору Гослитиздата. Я разозлился, но скоро отошел. На Любу нельзя было долго сердиться. Написал другое, краткое, в несколько строк, письмо, отчужденное, но вежливое...

И вот теперь мы сидим с Лозовским лицом к лицу за столами членов Оргбюро ЦК. Как и зачем Лозовский попал сюда, ведь он не имеет никакого отношения к фильму «Закон жизни», и он уже не директор издательства, а заместитель наркома иностранных дел?

Но скоро все разъяснилось. Жданов обвел присутствующих многозначительным взглядом и сказал, что Авдеенко не случайно написал фальшивый и клеветнический сценарий «Закон жизни». До этого сценария он сочинил роман «Государство — это я», в котором оклеветал и партию, и народ, и Советское государство. И в подтверждение своих слов Жданов огласил послание ко мне Лозовского. Все письмо прочитал, все двадцать пять страшных страниц.

Я слушал и холодел. И до того, как Жданов прочитал письмо, была пропасть между мною и всеми, кто присутствовал в зале, но после этого она стала шире и глубже.

Жданов еще раз, опять очень многозначительно посмотрел в зал и сказал:

— И как же Авдеенко реагировал на справедливую критику? Он ответил товарищу Лозовскому высокомерной цидулькой. Вы послушайте, что он написал.

Извлек из папки еще одну бумагу и прочитал мой ответ Лозовскому.

— Мы видели лицо романиста и драматурга Авдеенко,— продолжал Жданов.— Давайте теперь посмотрим на Авдеенко-журналиста. Вот его статья, напечатанная в армейской газете. Называется «В Черновицах». Вот как он «живописует» буржуазный город, только что освобожденный Красной Армией.

И усталым голосом, скороговоркой, с нескрываемым отвращением он прочитал половину статьи, где я описывал внешний вид города. Вторую часть, где рассказывалось о социальных контрастах, опустил. Бросил газету, сказал:

— Ну и так далее.

Очерк этот был напечатан в «Правде», красноармейская газета лишь перепечатала его. Жданов и об этом умолчал.

Он не сказал о том, что я увидел в Черновицах не только оперный театр с цветником перед ним, но и людей, которые за всю свою жизнь ни разу не были в этом театре, предназначенном для панов. Не захотел прочитать и то место, где я рассказывал, что трудовой люд не покупал обувь в роскошном магазине «Кармен», а ходил босиком до морозов.

До этого в течение двух часов я не проронил ни слова, но тут не выдержал, сказал... Нет, не сказал, выкрикнул в лицо Жданову:

— Читайте, читайте до конца!

Не слышал или сделал вид, что не услышал. Закрыл папку, строго посмотрел в зал, брезгливо изрек:

— Вот как советский писатель Авдеенко описывает буржуазный город Черновицы.

И тут раздался хрипловатый, с кавказским акцентом злой голос:

— Тянет его туда... за границу.

Я оторвал взгляд от Жданова и увидел по ту сторону громадной четырехугольной колонны Сталина. Он сидел за отдельным столиком, скрытый от всех, и курил трубку. Видели его только Жданов, Маленков, Андреев и я — такое особое было мое кресло. Кресло члена Оргбюро ЦК Л. З. Мехлиса.

С этого момента один Сталин существовал для меня и для всех.

— Ишь, как расхвалил Черновицы!

Сталин поднялся, вышел из-за стола на то навощенное пространство, которое не было скрыто колонной, усмехнулся и язвительно добавил:

— Подумаешь! Тоже мне город, Черновицы. Бывали там, видали.— Проговорив это, он вернулся за колонну, сел за свой стол.

Смотрю на Сталина и не верю, что это он. Очень непохож на себя. Куда подевалось доброе, обаятельное лицо, известное по кинокадрам, фотографиям, портретам, монументам, бюстам. Вместо любимого, величественного облика вождя вижу более чем обыкновенную желтовато-смуглую физиономию, густо изрытую оспой. И рост совсем не внушительный. Ниже среднего. Пожалуй, даже малый. Узкоплечий, узкогрудый человек. Сильно разреженные седеющие волосы будто натерты черным варом. На макушке идеально круглая лысина, словно тонзура ксендза. Левая рука неподвижна, полусогнута, не то повреждена, не то парализована. Только усы, густые, рыжеватые, растрепанные, похожи на сталинские. Все остальное неуклюже сработано. Актер, загримированный под вождя. Актер, бездарно исполняющий роль великого Сталина. Актер, грубо утрирующий манеры Сталина...

Жданов, прямо обращаясь ко мне, продолжал:

— Скажите, как случилось, что вы написали такой сценарий, такой роман?

Не так-то просто подняться с кресла, на котором я сижу. Оно винтовое, как у пианиста, и вплотную придвинуто к столу. Надо повернуться влево или вправо,

чтобы встать. Я этого не знал и поэтому засуетился, с трудом поднялся.

Многое хотел сказать, но удрученно молчал. И все настороженно смотрели на меня и ждали.

Все, что я бы ни сказал, никого бы не убедило. Самые искренние слова не были бы услышаны. Судьба моя была решена до того, как началось судилище. Все-таки кое-что выдавил из себя. Собрался с силами. Сказал, что только сегодня утром увидел фильм, смотрел его в Комитете по делам кинематографии. Что если бы увидел фильм раньше, то категорически возражал бы против эпизода, где разгулявшиеся оруженосцы Огнерубова выливают бутылку вина в человеческий череп и с хмельной удалью вопрошают: «Пить или не пить?» В моем сценарии не было этого эпизода. Его написал кто-то другой, он вставлен в фильм без моего ведома. И еще что-то бормотал.

Жданов прервал меня:

— Значит, вы безответственно, наплевательски относитесь к своей работе, раз не удосужились посмотреть фильм до сегодняшнего дня.

Я попытался возразить. Сказал, что в то время, когда фильм был готов, когда и должен был его посмотреть, я находился по заданию «Правды» в качестве ее спецкора на государственной границе в войсках Красной Армии, со дня на день ожидавших приказа об освобождении Северной Буковины. В такое время я не мог покинуть войска, это было бы равносильно дезертирству.

Жданов раздраженно, грубо перебил меня. Я уважал и Жданова, и дом, и зал, где находился. Понимал, как тяжело мое положение, и все-таки не мог вытерпеть несправедливости. Посмотрел на Жданова и сказал:

— Я не ожидал, что со мной так будут разговаривать в Центральном Комитете.

Больше не произнес ни одного слова до конца совещания. Опустился на свое неудобное, странное кресло и замер.

Жданов отреагировал на мои слова удивленным взглядом, мимолетным замешательством и продолжал хладнокровно свое дело. Глядя в зал, спросил:

— Кто желает выступить?

Поднялся Николай Асеев. Вышел на дубовую трибуну и сразу начал говорить обо мне.

Что он мог сказать? До позапрошлого года он не был даже знаком со мной. Мы встретились в Ялте, в доме

творчества Литфонда. Месяц прожили в соседних комнатах, но разговорились только раз. Это было в тот день, когда я начерно закончил роман «Государство — это я». Усталый и счастливый, я вышел на крылечко, где в это время стоял Асеев. Должно быть, мое лицо, глаза сияли, и Асеев спросил, что со мной. И я, по простоте душевной, рассказал, что закончил первый вариант романа, что гора с плеч свалилась. И вот эту мою наивную, естественную радость Асеев теперь высмеивал. Вспоминая ялтинское весеннее, солнечное утро, он сказал, что я хвастался своей трудоспособностью, что не понимаю, как должен много и долго трудиться писатель над произведением. По словам Асеева выходило, что я не признаю необходимости кропотливо трудиться над рукописью, считаю пригодным для печати все, что выходит из-под моего пера.

Не говорил я так. Не мог говорить. Но если бы даже и говорил, то стоило ли с такой трибуны, в такую тяжкую для меня минуту это вспоминать? Не знаю, что случилось с Асеевым. Почему большой поэт оказался таким малым человеком?

Потом вышел на трибуну Николай Погодин. Он махнул на меня рукой — в буквальном смысле слова — и с таким же полным пренебрежением сказал:

— Такие люди меня не интересуют. И я не буду о нем говорить.

Эх, братцы-писатели...

Фадеев не пробился на трибуну. Говорил, вернее, пытался говорить с места. Короткой была его речь. Он успел сказать, что нужно освободить Союз от таких людей, как Авдеенко. И вообще надо провести генеральную чистку Союза писателей.

Сталин не дал ему довести мысль до конца, вышел из-за колонны, встал посередине зала между дубовым возвышением и столами, где сидели приглашенные, строго посмотрел на Фадеева и сказал:

— Ишь какой! Слон в посудной лавке. Ишь как разошелся! Чистка Союза писателей ему понадобилась.

Фадеев смертельно побледнел и сел.

Я сидел к Сталину ближе всех и неотрывно смотрел на него. Я считал его великим, гениальным. Преклонялся перед ним. Но выражение рябого, желто-смуглого лица поразило неумолимой жестокостью, надменностью, высокомерием. Я почувствовал и увидел, что Сталин не уважает ни одного из тех, кто находился в зале, никого

не считает способным понимать жизнь. Он изрекал всем известные истины, как великие открытия. Говорил медленно, с частыми паузами, нисколько не смущаясь долгим молчанием. Не говорил, а размышлял вслух, не замечая присутствующих. Произнесет две-три фразы и замолчит, прохаживаясь вдоль дубового возвышения, сосредоточенно глядя в пол. Остановится, пыхнет дымком, скажет что-нибудь и опять прохаживается. Почти слово в слово повторяет то, что напечатано в «Правде», в редакционной статье «Фальшивый фильм».

За все время, пока Сталин говорил, никто из присутствующих не шелохнулся.

Почему он один по-хозяйски расхаживает по залу, а все сидят затаив дыхание, ни живы ни мертвы? Почему один чувствует себя свободным, а все себя сами добровольно сковали? Похож на учителя с указкой в виде курительной трубки, а все — на провинившихся школьников-первоклашек.

Почему рукопись неопубликованного романа фигурирует на этом судилище в качестве вещественного доказательства как главнейшая улика моего преступления? С каких пор судят автора и за неопубликованные, находящиеся в стадии работы произведения?

До этого дня события тридцать седьмого, тридцать восьмого годов я воспринимал как трагедию государства и народа. Верил и не верил, что маршалы и наркомы, командармы и секретари обкомов, горкомов, райкомов, директора заводов, начальники главков, председатели облсоветов, горсоветов, райсоветов переметнулись в стан врагов, стали предателями и шпионами. Если у Советской власти такие враги и их столько, думал я, то плохи ее дела.

Теперь же, когда Сталин лично расправлялся со мной, я понял, как возникали обвинения в период массовых репрессий, как беззащитны были обвиняемые. Смертная буря в то время пронеслась мимо, не сняв с моей головы ни единого волоса. Сейчас, новым заходом, она сметет с лица земли и меня, и мою семью, и мои произведения. Имя мое и после физической смерти будет расстреливаться сталинским увековеченным словом.

Сталин прохаживался мимо моего стола и говорил:

— Коммунист режиссер Иванов в тот же день, когда была напечатана в «Правде» статья «Фальшивый фильм», пришел в райком партии и заявил, что согласен с критикой.

А писатель коммунист Авдеенко до сих пор отмалчивается.

Мне бы потерять разум, умереть от разрыва сердца. Однако я жил, слушал, видел, мыслил.

Оборвав себя на полуслове, никого не замечая, Сталин скрылся за колонной, сел за столик, брал одну за другой папиросы из большой коробки, ломал, вышелушивал табак и набивал трубку.

Жданов, робко взглянув туда, где сидел Сталин, предоставил слово следующему оратору.

На трибуну вышел Валентин Катаев. Недавно раскритикованный за пьесу «Синий платочек», он чувствовал себя на трибуне не очень уютно, говорил несколько скованно и разбросанно. Обо всем и ни о чем.

Но Катаева выручил Сталин. Поднялся из-за стола и, глядя на Жданова, сказал, как простой смертный:

— Я еще хочу сказать. Можно?

— Пожалуйста, товарищ Сталин,— поспешно согласился Жданов.

Сталин вышел из-за колонны и опять, прохаживаясь вдоль возвышения, медленно ронял слова. И опять, опять говорил исключительно обо мне. Он сказал, что в свое время прочел мои книги.

— Что это за писатель! — с пренебрежением, даже с отвращением воскликнул он. — Не имеет ни своего голоса, ни стиля. И неудивительно. Неискренний человек не может быть хорошим писателем. По-моему, Авдеенко пишет не о том, о чем думает, что чувствует. Он не понимает, не любит Советскую власть. Авдеенко — человек в маске, вражеское охвостье. Говорят, он был рабочим. А разве мы не знаем таких случаев, когда бывший рабочий становился нашим заклятым врагом? Разве у нас мало случаев, когда человек, имеющий в кармане партбилет, выходит на антипартийную дорогу? А кто, кстати, поручался за Авдеенко, когда он вступал в партию? Не враг ли народа Гвахария, бывший директор Макеевского завода, где живет Авдеенко? Гвахария был ближайшим его другом.

Андреев, секретарь ЦК, до сих пор не произнесший ни одного слова, вдруг оживился и сказал:

— Авдеенко дружил с таким заклятым врагом народа, как Кабаков, бывший секретарь Уральского обкома партии.

Да, это почти правда. Я любил мудрого Ивана Дмитриевича. Гордился его добрым отношением к себе. Да

и кто бы не гордился на моем месте! Кабаков! Член Оргбюро!

Теперь о Гвахарии. С этим человеком я действительно дружил. Но он не поручался за меня. Я вступал в партию в заводской организации, в доменном цехе, там, где мой отец проработал двадцать пять лет. За меня поручались товарищи отца.

Сталин, продолжая рассказывать и дымить трубкой, говорил: — Сегодня, перед заседанием, мы звонили в Донбасс. Там очень хорошо знают барахольщика Авдеенко.

Страшно прозвучали слова «человек в маске», «вражеское охвостье», но слово «барахольщик» почему-то показалось еще страшнее и обиднее.

И я вдруг посмотрел на себя глазами Сталина. Он в глухом сером мешковатом френче, в широких штанах, вобранных в сапоги, а я... На мне хорошо сшитый пиджак из темно-серой фланели, черные замшевые туфли, темно-синяя рубашка с накрахмаленным воротничком, шерстяной серый галстук.

Зачем я купил этот пиджак там, в Черновицах? Почему надел, когда шел сюда? Радовался, когда покупал добротные вещи, и ненавижу их теперь! Ненавижу пиджак, ненавижу галстук, которым повязан режиссер Столпер, — это мой подарок.

Но что такое творится со Столпером? Почему нагнулся над столом и лихорадочно шарит у себя на груди? Что делает? Развязывает галстук? Да! Развязал, скомкал, Спрятал в карман. Может, и мне надо это сделать? Галстук можно спрятать, но что сделаешь с пиджаком, рубашкой? Что я могу сделать с собой? Куда себя спрячу?

Это была минута постыдной моей растерянности, слабости, вспышки невменяемости, сумасшествия. Что имел в виду Сталин, употребив слово «барахольщик»? Поверил донецким доносчикам? Надо было прислать милицию с обыском. Она бы подтвердила, что в моей квартире нет ни грамма золота, серебра, драгоценностей. Даже обручальных колец нет. Ни одного ковра. Нет сберегательных книжек. Есть бывшая казенная мебель, за которую заплатил наличными втридорога. Единственное, что есть в доме ценного, — это редкие, дорогие книги, купленные через книжную лавку писателей у букинистов. Уйма старинных изданий. Есть еще и «бьюик» на ходу. И это надо было мне сказать Сталину. Куда там! Сам себя только слушает. Единогослова нельзя вставить

в его яростную речь. Да и почему я должен оправдываться, что не щеголял по Донбассу и Москве в чем мать родила, а прикрывал свои телеса приличными пиджаками, рубашками, купленными, кстати, на свои кровные, заработанные честным трудом деньги? Да и с каких это пор запрещено одеваться по-человечески? Стоит ли гордиться тем, что производим уродливый ширпотреб и обряжаем в него народ?

Такого рода мысли пронеслись в моей голове после того, как Сталин наклеил на меня еще один ярлык.

Был спровоцирован мудрейшим из мудрейших. Не об этом следовало мне думать.

Сталин рассуждает вслух о Шекспире, Гоголе, Чехове, о литературной плотве и китах, доводит до сведения присутствующих, какой манере письма отдает предпочтение, а я думаю о нем. Почему он с сокрушающей силой урагана набросился на писателя из рабочих? Почему обвинил в грехах, которые я по своей природе, характеру и призванию не мог совершить? Почему, отодвинув в сторону чрезвычайно важные государственные и партийные дела, уже который час прорабатывает меня? Неужели в самом деле я в его глазах являюсь государственной опасностью, большей, чем фашистские армии, сосредоточенные вблизи наших западных границ?

Катаев тем временем молча стоял на трибуне. Сталин прохаживался перед дубовым возвышением. Туда и сюда. Сюда и туда. Говорил. Набивал трубку. Курил. Размышлял. Говорил. Молчал. А я слушал, вытирал и вытирал облитое то горячим, то холодным потом лицо. Платок не впитывал влагу — хоть воду отжимай. Рубашка мокрая, будто я окунулся в реку.

Сталин удалился за колонну, сел за столик, предназначенный только для него. И колонна, вероятно, воздвигнута специально, чтоб скрывала его до поры до времени?

Сидел в уединении не более минуты. Как только Катаев начал говорить, снова вышел из-за колонны и, прохаживаясь взад и вперед, продолжал свою безначальную и бесконечную речь. Катаев растерянно умолк. Переступая с ноги на ногу, стоял на трибуне, а Сталин говорил, говорил. О том, что писатели должны писать правду. Ходит туда-сюда и говорит. И еще, еще прошелся по моему адресу. В слова обо мне он вкладывал какую-то особую злость.

Я следил за ним глазами и ясно видел все, что произойдет

со мной сегодня ночью. Угадывал, что буду видеть, о чем думать в последнюю секунду жизни, к кому обращаться, что говорить... «Люба, я ни в чем не виноват. Люба, объясни сыну, что я не совершил никакого преступления. Чист перед народом, перед Сталиным. Скажи, был честным человеком, коммунистом».

Сталин, обдавая меня запахом табака, шагал туда-сюда, что-то говорил обо мне, а я уже произнес предсмертную речь. Все, что происходило дальше, все, что еще говорил Сталин и другие, я уже видел и слышал оттуда, из камеры смертника.

Жизнь после смерти...

Сталин умолк, ушел за колонну. Катаев еще раз попытался закончить свое выступление. Но Сталин его снова прервал. Наконец выговорился и решил заметить Катаева, молча простоявшего на трибуне более часа. Посмотрел на него, кивнул и сказал:

— Извиняюсь. Продолжайте!

Катаев развел руками и сказал:

— А что же мне продолжать, товарищ Сталин? Вы за меня все сказали.— И сошел с трибуны.

Много лет спустя Катаев мне признался, что он не ожидал от себя такой отчаянной выходки. Когда вернулся на свое место, понял, что непочтительно ответил Сталину. Ему показалось, что Сталин очень внимательно посмотрел на него. Катаев долгое время боялся мести Сталина, ждал ареста.

В зале появились женщины, бесшумные, с сосредоточенно-отрешенными лицами, в белых халатах и мягких туфлях. Они разносили чай в подстаканниках и вазы с персиками.

Стакан чая и ваза появились и передо мной. Я давно изнывал от жажды. Обжигаясь, выпил чай. Но жажда все еще мучила. Протягиваю руку к персикам. Сталин говорит, а я ем персики, вытираю платком сок, текущий по рукам, и не думаю о том, как выгляжу, что обо мне подумают.

Спустя много лет один из писателей, присутствовавших на этом заседании, признался мне:

— Я видел бордовый влажный комок в ваших руках и с тех пор на всю жизнь возненавидел цветные платки.

Константин Андреевич Тренев через несколько дней после совещания сказал моей Любе, что слушал Жданова и Сталина и не понимал. В течение пяти часов меня всячески поносили, но не убедили Тренева, что я

«человек в маске». Он считал, что судят меня не за сценарий «Закон жизни», не за роман «Государство — это я». Был уверен, что я навлек на себя гнев чем-то другим, чего нельзя обнаружить.

Около двенадцати ночи еще раз выступил Сталин. Его лицо почему-то стало мягче, добрее, голос почти беззлобный. И он не прохаживался, а взошел на трибуну, внимательно посмотрел в зал и сказал, как бы подводя итог всему, что говорил раньше:

— Может быть, я и ошибаюсь в отношении товарища Авдеенко. В душу человека не влезешь.

Впервые прозвучало это великое слово: «товарищ». Никто до Сталина и сам он за эти часы ни разу не назвал меня товарищем. А тут — назвал.

Отметил я и фразу: «В душу человека не влезешь». Меня потрясли и эти слова. Сталин, великий, гениальный вождь, говорит, что не умеет заглянуть в души людей?! Я часто, как, вероятно, и все, мечтал о встрече со Сталиным. Много раз мысленно разговаривал с ним. Я был убежден, что он понял бы меня сразу, как только увидел, как только услышал. Когда попиралась справедливость, я всегда думал о Сталине. Он для меня был олицетворением мудрости, чуткости, справедливости, честности. Когда я видел где-нибудь в стране, как именем Советской власти творится произвол, мои мысли всегда обращались к Сталину, главному защитнику справедливости. Я больше верил Сталину, чем самому себе. Как же он сейчас не увидел всего этого, не почувствовал, не понял? Почему так несправедлив с человеком, который, ни на мгновение не задумавшись, отдал бы за него жизнь? Как он, глядя на меня сегодня, не вспомнил февраль тридцать пятого года, когда я стоял на трибуне Большого Кремлевского дворца перед делегатами съезда Советов и рассказывал, за что я люблю Сталина, почему предан ему? Забыл?

Нет, не забыл. Не верит. Подозревает в двурушничестве, считаем, что уже тогда, в тридцать пятом, я был «человеком в маске».

Сталин сошел с трибуны и, держа трубку на уровне груди, медленно направился за колонну, открыл дверь и скрылся. Жданов собрал папки, сунул их под мышку и, не глядя в зал, ничего не сказав, вышел. За ним последовал Андреев. Ушел и Маленков, так и не произнесший за пять часов ни единого слова.

Дубовое возвышение для президиума опустело, но

писатели и работники ЦК еще некоторое время сидели в своих креслах, переглядываясь, очевидно, не зная, как им поступить. Наконец кто-то встал, и сразу же поднялись все остальные, один за другим начали покидать зал. Ушли Фадеев, Катаев, Погодин, Тренев, работники Комитета кинематографии. Удалились, не попрощавшись, режиссеры Столпер, Иванов.

Я остался один. Сажу и жду, когда подойдут ко мне люди Берии. Жду этого момента и мысленно твержу: «Люба, я ни в чем не виноват. Люба, передай Сашке, что я был честным человеком. Никогда не носил маски. Любил страну, Сталина, хотел выразить эту любовь в книгах. Прощай, Любонька! Прощай, сынок!»

Почему так тихо в зале? Почему ко мне никто не подходит? Наверное, на Лубянку не поведут, здесь будут расстреливать. Нет! Расстреливают не в таких залах, не при таком ярком свете.

Кто-то прикасается к моему локтю. Я не вздрагиваю, не пугаюсь. Уже ничего не боюсь, уже умер. Все сказал, что надо было сказать перед смертью.

Медленно разворачиваюсь вместе со странным вертящимся креслом, встаю. Передо мной человек в черном пиджаке, в черной косоворотке. Почему в пиджаке? Почему в косоворотке? Почему не в мундире? Почему без оружия? Почему добрые глаза? Этот добрый человек на кого-то похож. Я где-то видел его недавно. Он похож на Кузнецова, помощника Жданова. Да это он!

— Совещание закончилось,— говорит Кузнецов и уходит куда-то.

Я медленно, нетвердыми шагами бреду по залу, вдоль столов, вдоль пустых кресел. Направляюсь к людям, стоящим поодаль, у двери. Все в сапогах, в темных суконных галифе. Сейчас заломят мне руки за спину, наденут наручники и поведут т у д а . Но они почему-то освобождают проход.

— Сюда, сюда! — Кто-то прикасается к моей спине, будто я не вижу, куда мне надо идти.

Я прошел дверь. Попал в коридор, длинный, ярко освещенный. Слева и справа стоят военные. Останавливаюсь и жду. Берите, я готов! Не берут. Смотрю на людей в малиновых фуражках и удивляюсь, что они не спешат.

— Дальше, дальше! — говорят позади меня.

Через несколько шагов опять останавливаюсь.

— Дальше, дальше!

Иду по коридору, внутри шеренги малиновых фуражек, и вижу справа, на пороге открытой комнаты Кузнецова.

— Сюда, пожалуйста! — говорит он.

Бог мой! Какое это великое слово «пожалуйста». Как я не чувствовал раньше его доброй силы? Миллион раз слышал и не понимал, сколько человеческой нежности оно таит.

Вошел в кабинет Кузнецова и, преисполненный благодарности к человеку, так неожиданно приласкавшему меня, разрыдался. Плакал навзрыд, содрогаясь. Но ни единой слезинки не выкатилось из моих глаз. Все слезы выплакал там, перед Сталиным. Потом они исторглись из меня.

— Почему Жданов не прочитал весь очерк? Почему оборвал?

Бормотание и бред невменяемого.

Кто-то, сидящий за столом, налил из графина воды, протянул мне стакан и сказал:

— Да разве в этом суть дела?

Да, он прав. Легко быть правым, когда тебя не оскорбили, не унизили, не оклеветали, не лишили ума, не осудили на смерть.

Человек, подавший мне стакан воды, был Пospelов, главный редактор «Правды». Я видел в его глазах сочувствие.

Сочувствовал мне и Кузнецов.

— Куда вы сейчас пойдете? — спросил он. — У вас есть в Москве квартира?

Вопрос удивил меня. Неужели не арестуют? Неужели эту ночь проведу дома?

— Есть! — сказал я.

— А там... там кто-нибудь ждет вас?

— Никто не ждет, — сказал я.

Кузнецов снял телефонную трубку, позвонил вниз, в подъезд, охране и приказал, чтобы задержали и прислали к нему режиссеров Столпера и Иванова.

Даже теперь, когда все было так ясно, я не понимал, что люди, считавшиеся моими друзьями, бросили меня. Нет, я не упрекаю их. Имели основания считать меня обреченным.

Столпер и Иванов вернулись. Кузнецов, не принимая в расчет мое присутствие, очевидно, уверенный в моей невменяемости, сказал:

— Товарищи, не оставляйте, пожалуйста, Авдеенко одного. Очень вас прошу...

Мы передвигались по огромному коридору почему-то очень мелкими, больничными шажками. Я чувствовал крепкие локти Столпера и Иванова. На лестничной площадке нас ждал лифт с распахнутыми дверцами.

Мы спустились вниз, прошли по вестибюлю мимо вооруженных людей. Никто не останавливал нас, не справился, кто мы и откуда.

Вышли на улицу, прошли несколько метров к откосу, заросшему густой травой. И тут я выскользнул из рук режиссеров, упал — ноги отказали.

Долго лежали на травянистом откосе, о чем-то говорили. Все слова забыл, а вот то, что сказал Столпер, очень хорошо помню. Он и сам, вероятно, не понимал, что говорит.

— Боря,— спросил он,— Жданов и Маленков смотрели или не смотрели на меня, когда я развязывал и снимал галстук?

Иванов не понял Столпера, попросил повторить. Столпер простодушно пояснил:

— Жданов и Маленков часто поглядывали в мою сторону. Мне показалось, что они смотрят на мой галстук, который привез Саша из Черновиц. Мне стало страшно, и вот я... Видели они, как я его развязывал?

Нет, я не рассердился на Столпера, который тревожился только о себе. Я был рад, что он рядом со мной.

Особенно хорошо мне было с Борей Ивановым. Он отдала мне свой сухой платок, говорил добрые слова, так нужные мне.

Мы лежали на откосе, на запретном месте, шагах в двадцати от главного подъезда Большого дома, и никто нас не тревожил.

Поднялись и пошли по темной безлюдной Москве. Миновали площадь Дзержинского, выбрались на улицу Кирова, дошли до почтамта.

Любонька еще ничего не знала. Она верила, что все будет хорошо. Она ждала моего телефонного звонка

Мы вошли в пустынный почтамт, я попросил девушку, сидящую за стеклянной перегородкой, заказать телефонный разговор с Макеевкой. Она получила деньги, выписала квитанцию, но через полчаса сказала, что телефон не отвечает.

Не может быть. Должен ответить! Люба не спит сидит у телефона и ждет моего звонка.

Я попросил еще раз позвонить. Позвонили и опять сказали, что телефон не отвечает. Я попросил позвонить в третий раз и теперь услышал более определенный ответ: «Телефон отключен».

Отключен! По лицам Иванова и Столпера я понял, что это значит.

Кабаков, Гвахария, Саркисов, Гугель, Тухачевский, Постышев, Чубарь, Мейерхольд, Бабель, Михаил Кольцов и много других людей явилось предо мной. Раньше я не понимал до конца, что с ними случилось. Сейчас я попал на их предсмертную дорогу. Пока жив. Но буду ли жив завтра? Пока на свободе. Но что будет через час, через пять минут, когда выйду из почтамта? Наверняка схватят, впихнут в черный ворон.

Каждый мой шаг контролируется невидимками. Все, что я ни сделаю, с кем ни встречу, что ни скажу,— будет известно на Лубянке. И выше, в кабинете Сталина.

Жизнь после смерти.

Нужно воспользоваться и этими пятью минутами свободы. Подошел к окошку телеграфа, попросил бланк и написал телеграмму Любе. Писал и не был уверен, что дойдут до жены мои последние слова: «Немедленно вылетай Москву». Девушка получила деньги, выдала квитанцию.

Мы вышли на улицу. Я невольно посмотрел налево, направо, уверенный, что меня ждут дюжие молодцы с машиной. Никого не было ни у подъезда, ни на всей улице Кирова.

Боря Иванов вдруг сказал, что ужасно устал и пойдет домой. И ушел. А мы со Столпером отправились к его матери. Она жила неподалеку от почтамта, в каком-то переулке, выходящем на бульвар. Несмотря на позднюю ночь, там не спали.

Старая, больная женщина налила нам чай, села напротив и молча пила в меня огромными глазищами. Сколько я ни буду жить, всегда буду помнить ее взгляд, полный сострадания, ее бледное отечное лицо, ее дрожащие руки, ее глубинный страх.

Мы долго чаевничали.

На рассвете я выложил на стол все деньги, которые у меня были, попросил передать Любе, когда она приедет в Москву. Мне они т а м не понадобятся. Я был уверен, что дома, на моей московской квартире, меня ждут. Ладно, пусть, не все ли равно, когда это случится —

сейчас или двумя часами позже? От судьбы не уйдешь. Я решил идти домой. Обнял мать Столпера, поцеловал и ушел.

Вглядываясь в рассветную Москву, понимал, что последний раз вижу ее. Медленно прошел по бульвару, свернул на улицу Кирова, потом еще раз свернул и попал в Большой Комсомольский переулок.

Как только открылся мой дом, я поднял голову, разыскал свои окна. Темные. Странно. Почему малиновые фуражки сидят в темноте?

Медленно поднимаюсь по лестнице на четвертый этаж, подхожу к двери с цифрой 6. Взялся за ручку. Не поддается. Зачем они заперлись? Хитрят?

Ладно, открою сам. Один поворот ключа, другой. Широко распахиваю дверь. Готов увидеть в прихожей людей. Но никого нет. Включаю свет, прохожу дальше. И тут никого. И никаких признаков, что был кто-то с обыском. Стою посреди комнаты, оглядываюсь, смотрю на шкаф, жду: вот-вот откроется, и оттуда выйдут. Нет, не открывается. Тогда заглядываю под кровать. Никого...

Падаю на диван, чувствую, что лицо, и голова, и спина покрыты холодным потом. А утверждал, что ничего не боюсь.

Очнулся от перезвона кремлевских курантов. Какой прекрасный звон! Неужели и завтра его услышу? Неужели буду жить, работать? Неужели жизнь не отвернулась от меня?

Из проруби — в кипятик. Из кипятка — в прорубь. Надежда изгоняла отчаяние. Смертная тоска душила надежду. Состояние обреченного, неменяемого, одной ногой стоящего на этом свете, другой — на том.

Меня для того оставили на воле, чтобы я покончил с собой и тем самым признал себя виновным. Не рассчитывайте — не покончу. Буду жить и работать, каждым днем жизни доказывать, что я не такой, каким примстился Сталину.

Но как Он мог обмануться?

Приснился Сталин. Стоял надо мной, долбал черной трубкой и говорил с сильным кавказским акцентом:

— Знаешь, почему я на тебя разгневался, почему

прорабатываю? Пять лет назад, с трибуны Большого Кремлевского дворца ты поклялся, что, когда у тебя родится сын, первое слово, которое он произнесет, будет не «мама», а «Сталин». Обманул народ. Не сдержал клятву. Не научил мальчика уму-разуму.

Проснувшись, вскакиваю с постели, сажусь за стол и начинаю писать... Но, кроме обращения «Дорогой товарищ Сталин», ничего не могу выжать из себя.

А написать надо. Нельзя отмалчиваться. Вчера не сумел, не успел сказать, как отношусь к его приговору. Он должен знать, что я не согласен с его ужасной оценкой. Не могу каяться в том, чего не совершал. Не могу согласиться, что я человек в маске. Не могу признать себя пособником врагов народа.

Сталин наверняка уже перестал думать обо мне, забыл вчерашнее совещание... Ладно, пусть так, а я напому о себе.

Напишу, что он ошибся, введен в заблуждение доносителями. Расскажу, как строил Магнитку, как работал на горячих путях, как беспрестанно учился, как люблю советскую жизнь, как предан ей.

Кто-то стучит в дверь. Ну вот...

Входит человек в черном костюме. Не здоровается. Бесцеремонно садится на диван.

Я печально смотрю на стопку бумаги, на верхний лист, где всего три слова: «Дорогой товарищ Сталин!» Ничего не успел больше написать. А может быть, этого и достаточно? Может быть, сказал самое главное? Может быть, послать только одну строку с моей подписью?..

Человек прервал мои размышления:

— Я пришел к вам по поручению редколлегии «Правды».

А я думал, он оттуда, с Лубянки. Не понимаю, зачем он после того, что произошло на Старой площади, пришел. Что ему нужно? Еще ночью, когда слушал Сталина, я распрощался с «Правдой».

— Редколлегия «Правды» поручила мне отобрать у вас правдистскую карточку,— мрачно, официально сказал мой гость.

Я достал из ящика стола корреспондентский билет, молча вручил посланцу.

Работая в «Правде», ни разу не видел этого человека. Нет, он не журналист. Вероятно, работник отдела кадров или что-нибудь в этом роде.

Не попрощавшись, не сказав больше ни слова, кадровик ушел.

Почему он был так враждебен? Ведь первый раз видит. Не знает обо мне ничего. Не был свидетелем каких-либо плохих моих дел. Лично ему я не причинил никакого вреда. Ненавидит меня не своей ненавистью, а ненавистью статьи «Правды», ненавистью Сталина. До чего легко распространяются подозрительность, ненависть!

Двое суток сижу за столом, смотрю на бумагу и не нахожу слов, которые должен написать Сталину.

Около моей двери кто-то остановился. Слышен шелест. Почтальон! Заложил газеты за дверную ручку и пошел дальше по длинному коридору.

Открываю дверь, достаю газеты и, как в прежние дни, с нетерпением разворачиваю родную «Правду». Да, она осталась родной. Я не связываю то, что со мной случилось, с истинной сущностью «Правды». Газету делают обыкновенные люди, способные и на ошибку, и на подтасовку, и на дешевую, копеечную хитрость, и на добрые дела.

И вдруг на последней странице увидел крохотное сообщение:

«От редакции
(о писателе Авдеенко)

Ввиду того, что, как выяснилось в последнее время, ряд произведений писателя Авдеенко носят не вполне советский характер, а в некоторой части даже антисоветский характер, редакция «Правды» постановила исключить писателя Авдеенко из списка корреспондентов «Правды» и отобрать у него корреспондентскую карточку».

Что делают?! Где ум и сердце? Да и читали ли они мои книги, газетные очерки? Пусть самые строгие эксперты изучат, что я написал, им не найти ни одного антисоветского слова. Почему клеветают? Во имя чего?! Зачем? Может быть, хотят других воспитать на моем примере? Но разве ложь кого-нибудь может воспитать?..

Вполне возможно, что роман «Государство — это я», сценарии «Закон жизни» и «Миллиардерша» написаны плохо. Так и надо было сказать, и цель критики была бы достигнута. Но зачем приписывать автору отрицательные качества персонажей? Где логика? Где элементарная добросовестность? Где справедливость?

Если с эдакой меркой подойти к произведениям великих

классиков, то можно написать, что Достоевский в лице Родиона Раскольникова описал самого себя — недоучившегося, завистливого студента, склонного к грабежу, убийству, тайной преступной жизни, ловко подводящего теоретическую базу под кровавое преступление. Да и «Войну и мир» можно раздраконить, зачислив в разряд произведений, восхваляющих красивую жизнь русского дворянства, отстаивавшего в войне с наполеоновским нашествием не Россию, не отчизну, а дворянский образ жизни, классовое, крепостническое право оставаться князем Болконским, графом Ростовым, графом Безуховым.

Нет, образ Огнерубова — это не образ самого автора фильма, как утверждают люди, выше которых нет в стране. Нет, автор не стоит на безнравственных позициях, он ненавидит огнерубовщину всеми силами души.

Огнерубовы произносят с трибун красивые речи. Льстят вышестоящим. Презирают нижестоящих. Правдами и неправдами, не гнушаясь ничем, пробивают себе путь к высокоответственным должностям. Притворяясь скромнягами, удалыми молодцами, такими парнями-рубашками, соблазняют приглянувшихся девушек. Огнерубовы вводят в заблуждение и тех, кем руководят, и тех, кто ими руководит. Огнерубов представлялся мне страшным злом, и я считал себя обязанным указать на него людям.

Почему там, в Большом доме, я не сказал все это Сталину? Почему он не сумел или не захотел заглянуть в мою душу?..

Мысли мои, словно карусель, все время вертятся вокруг одной оси. Карусель, карусель, карусель!

Утопающий хватается за соломинку... Достаяю из далекого ящика стола пухлую папку, в которую не заглядывал немало лет, перелистываю газетные и журнальные вырезки. Хорошая сотня, если не больше, статей, рецензий, посвященных «Я люблю».

Как же мог автор «Я люблю», влюбленный в советскую жизнь и гордо говоривший об этом, проповедовать в сценарии «Закон жизни» худшие буржуазные взгляды? Товарищи Сталин и Жданов! Почему же вы ни единым словом не упомянули «Я люблю»? Ведь там моя истинная сущность.

Отлучение от корней, от красного знамени, от партии, от права любить Сталина и, наконец, от самой жизни...

Где же ты, Любонька? Почему тебя до сих пор нет в Москве? Дошли ли мои телеграммы?

Наконец-то — на следующий день — пришла ответная телеграмма. Люба сегодня утром вылетела. Теперь — двенадцать. Через час-полтора будет на Центральном аэродроме. Но я ее, увы, не могу встретить. Срочно вызвали в ЦК к Поликарпову.

С тяжелым чувством вхожу в ЦК. Партийный билет при мне, но я знаю, что скоро его отберут, выгонят из партии. Заметка в «Правде» не оставляет надежд. Вероятно, сюда вхожу в последний раз в своей жизни.

Больше часа торчал в приемной Поликарпова, пока он освободился. Но разговор был минутный, на ходу. Поликарпова куда-то вызвали, и, уже уходя, он сказал, что ему надо обязательно поговорить со мной. Ему и Фадееву. Я получил приглашение явиться в Союз писателей сегодня вечером.

Опять возникает надежда. Может быть, Сталин понял, что чрезмерно жесток со мной? Может быть, решил смягчить приговор или вовсе отменить? Только вряд ли.

Я почти бежал домой. Люба уже, наверное, ждет меня. Еще вчера я стонал, как Мармеладов: некуда пойти, не с кем поговорить, некому доверить свои страдания. Сегодня у меня будет такой человек. Люба все понимает, все чувствует. Я не шел к ней, а летел.

Открываю дверь. Люба стоит у окна, улыбается. Но лишь мгновение мы улыбались, потом молча бросились друг к другу и разрыдались горько, неутешно.

За все эти годы совместной жизни я не любил Любу так, не был ближе к ней, не чувствовал так ее преданности, как теперь. Испытание, выпавшее на ее долю, не унизило ее, не изуродовало, не обессилило. Она красива и сейчас, с опухшим, облитым слезами лицом. Вера и доброта в ее взгляде. В самую тяжкую минуту она оказалась рядом. Пока Люба с такой нежностью и преданностью смотрит на меня, не кончилась моя жизнь.

Люба в те дни была для меня и женой, и возлюбленной, и другом, и моей надеждой, и верой, и моей партией, и моей Советской властью. Все от меня отказались как от зачумленного, а для нее я был прежним, сильным и чистым. Если бы не она, я, вероятно, не выдержал бы.

И сейчас не могу до конца понять, как могла возникнуть эта сталинская машина в стране революционной и благородной идеологии. Человек, считавшийся одним из творцов этой идеологии, первым попирал ее. Мне понятен Гитлер, который открыто проповедовал расовое превосходство немцев, который во имя нацистской идеологии истреблял людей во всех странах Европы и целые народы превращал в рабов. Трудно, невозможно понять Сталина, произносившего речи о том, что человека надо бережно воспитывать и выращивать, как садовник выращивает облюбленную яблоню в своем саду, и в то же время бросавшего в тюрьмы и лагеря коммунистов, интеллигенцию, рабочих и крестьян, командиров Красной Армии. Разве такие действия можно называть ошибками, культом личности? Это преступление вселенского масштаба.

Выплакавшись, мы с Любой сели на диван и стали рассказывать друг другу, что произошло за эти дни. Я говорил скупое, только самое необходимое — каждое слово еще сочилось кровью. Больше говорила Люба.

— Беда не является в одиночку. Тяжело заболел Саша — воспаление легких. Да и бабушка прихворнула серьезно. Двое больных на моих руках. Врачи! Лекарства! Суетня... Но в голове единственная мысль: что тебе скажут в ЦК? Поймут ли, что ты не тот человек, каким тебя выставила «Правда». Позавчера во время завтрака — звонок в прихожей. Открываю дверь и вижу на лестничной площадке заместителя директора завода Быбочкина, начальника районной милиции и еще кого-то третьего. Они как-то странно смотрят. Очень странно. Явно смущены. Я не понимаю, в чем дело, приглашаю войти. Говорю: если вы к мужу, то его нет дома, он в Москве. Они молча входят, топчутся, оглядываются, потом, собравшись с духом, заявляют: «Мы знаем, что его нет дома. Но мы и без него все сделаем». Быбочкин протягивает мне бумажку. Читаю: «Предлагаю немедленно, к 10 часам утра, освободить квартиру и дачу». Выселители пришли позже назначенного срока — в половине одиннадцатого.

— Чья была подпись? — спросил я.

— Прокурора города. Бумажка написана от руки, к тому же простым карандашом. Я говорю: это не санкция прокурора, а филькина грамота. Начальник районной

милиции сочувственно отвечает: «Если нам не верите, позвоните прокурору. Я сам не поверил, когда он мне сказал, но он настоял, что я должен поступить именно так». Быбочкин добавил от себя: «Мы к вашему выселению не имеем никакого отношения, все это делается по указанию свыше».

— И он прав,— сказал я.— Наверное, позвонили из секретариата Сталина и дали команду. Давай, рассказывай дальше.

— Поскольку я знала, что должно было быть совещание в ЦК, я поняла, что случилось что-то страшное, иначе не пришли бы тут же нас выселять. Вижу в окно — у нашего подъезда появились три грузовика. Потом распахивается дверь, входят рабочие и милиционеры.. Бабушка плачет, Сашка плачет, жметя к моим ногам А у меня — ни слезинки. Нельзя мне плакать, я должна действовать, должна быть сильной.

И тут появляется еще один неожиданный человек. Но не из вражеского лагеря. Почтальон! Телеграмма! От тебя! Свеженькая! Я прочла и сказала Быбочкину: вы уверены, что мой муж арестован, а вот телеграмма от него, он на воле, жив и здоров. И не совершил преступления. На каком же основании вы нас выселяете? Больного ребенка, больную бабушку?! Но даже если бы мы были самыми заядлыми преступниками, вы и тогда должны были бы дать нам двадцать четыре часа на выселение.

Слушаю Любу, и руки сами собой сжимаются в кулаки. Говорю мрачно — и верю во все, что говорю:

— Хорошо, что меня не было в Макеевке. Если бы я был дома, я бы вышвырнул всех милиционеров, забаррикадировался в своем кабинете и отстреливался до последнего патрона... Пистолет они не забрали? Обыск был?

— Нет, кажется, не было. Видела я тогда и не видела, что делается. Рассудок не теряла, но временами, наверное, на меня находило затмение.

— Начальник милиции не потребовал от тебя сдачи оружия?

— Нет, об оружии он ничего не говорил. Я о нем начисто забыла.

— Значит, пистолет при выселении уцелел?

— Не знаю. Не помню. Наверное, я машинально положила его в чемодан — и забыла.

— Что же дальше было? Рассказывай!

— Что?.. Начальник милиции не очень торопил милиционеров и грузчиков. То и дело сочувственно поглядывал на меня. И даже вслух посочувствовал: «Я выполняю приказ своего начальства, но не понимаю, чем он вызван. Если все так, как вы утверждаете, вам надо звонить прокурору, потребовать прекратить выселение.— Он подвел меня к телефону: — Звоните!»

Я позвонила прокурору и говорю ему, что получила его незаконное предписание. Что он не имеет права нас выселять. Да к тому же с больным ребенком и больной бабушкой. Он мне на это ответил: «Делайте так, как я велел. Выселяйтесь!» На прощание я сказала ему: «Вы — фашист».

— Правильно сказала. Молодец! Ну и что было дальше?

— Начальник милиции посоветовал мне обратиться к областному прокурору, товарищу Руденко. И уже не по телефону, а лично. И сейчас же. «Поезжайте в Сталино. А насчет вещей не беспокойтесь, все будет в порядке, я присмотрю. И ваша домработница здесь. Шкафы и диваны определим на склад хозяйственного двора, носильные вещи, книги и посуду отправим на новое место жительства». Не до шкафов и диванов мне было. Побежала в гараж, завела машину, подъехала к дому. Бегом, бегом, без передышки — на пятый этаж. Взяла в охапку безропотного Сашку, бросилась вниз. Бегом, бегом — в машину. Примчалась в Сталино. Заскочила прежде всего к родителям. Оставила им Сашку, рассказала, что происходит в данную минуту в Макеевке, и бросилась к областному прокурору. Не так-то просто было попасть к нему. В приемной громадная очередь — человек тридцать, а то и сорок. На мое счастье, я встретила в коридоре знакомого работника прокуратуры, недавно женившегося на девчонке с нашего двора. Он спрашивает с удивлением: «А вас что занесло к нам?» Говорю: «Беда! Выселяют из квартиры. Помогите попасть к Руденко». Не испугался. Помог. Областной прокурор выслушал меня с недоверием: «Не может этого быть!» А я ему говорю: «Выселение в самом разгаре. Я только что из Макеевки». Он подумал и сказал: «Выйдите на минутку. Я вас потом позову». Минут через пять прокурор вызвал меня. Лицо отчужденное, казенное, слова ледяные: «Ну что ж, с вами еще хорошо поступили. Не на улицу выбросили, а предоставили комнату». Я поехала к родителям, попросила маму вызвать

для Саши врача и тут же вместе с папой поехала в Макеевку. Было два-три часа дня. Около нашего дома толпа — смотрят, как нас выселяют с милицией.

— Возмущались люди? Сочувствовали?

— Чем возмущаться? Кому сочувствовать? Я была для толпы непонятным существом и, может быть, враждебным. Сидела за рулем автомобиля. Вышла, хлопнула дверцей. Белое пальто. Белое платье в черный горошек. Белые туфли. Духи!

Неуместно и несвоевременно было усмехаться, но я усмехнулся.

— Не зря Сталин назвал меня барахольщиком. Надо было тебе не наряжаться, а щеголять в лохмотьях.

Люба тоже усмехнулась и продолжала, рассказывать:

— Я смотрела на толпу и не испытывала никакого стыда, что нас с таким позором выселяют. Абсолютная уверенность в своей невинности. Поднялись наверх. В доме полный кавардак. Галя говорит: «Грузчики и милиционеры воруют книги, бумагу, ручки». Ничего, пусть! Лес рубят — щепки летят... Огромное зеркало разбито на кусочки. Правильно! Так положено. Необходимая примета для дома, терпящего бедствие. Я спросила, где наша комната? Мне сказали, что это совсем в другом районе Макеевки, на улице Бассейной. Мы поехали туда, на Бассейную, там уже было свалено кое-какое барахло и книги. Мрачное помещение — не то бывший склад, не то кладовая, не то овощехранилище. Смрад и сырость. Зарешеченное окно на уровне земли, чуть-чуть выше. Думаю, такую комнату подобрали твои землячки, чтобы еще больше тебя унижить и оскорбить.

— Сталин так меня растоптал, что его уже никто не переплюнет. Последняя инстанция.

Люба внимательно посмотрела на меня и сказала:

— Он сам себя переплюнет. Поживешь — увидишь...

Т а к о й Любоньки до сегодняшнего дня я не знал.

Она была красивой, милой, любящей женой, хорошей матерью — и только. А сейчас...

Слушаю ее сердцем, всем существом. Она рассказывает, как вернулась из Макеевки к родителям в Сталино вместе с отцом и Галей, нашей юной домработницей.

Сталино! Сталино! Сталино! В моем сознании, в моей повседневной жизни рядом, бок о бок, стоят человек и город, носящий его имя. Когда-то Сталино было Юзовкой,

по имени англичанина Юза, дореволюционного владельца металлургического завода. В 1929 году, в день пятидесятилетия Сталина, Юзовка переименована в Сталино. Тяжелая жизнь предстоит мне в городе Сталина. Его хозяева, то есть руководители, выполняя волю Сталина, не пощадят меня.

— Часа четыре я была за рулем,— рассказывала Люба.— Да еще в крайне возбужденном состоянии. Папа с тревогой на меня поглядывал, то и дело предупреждал: «Тише, доченька, тише, ради бога!» Какое там тише! Откуда ему взяться? Обгоняю машину за машиной. Шоферы то грозят кулаками, то смеются. Не заметила, как домчались до Сталино. Знакомые, как нарочно, встречаются то на одной, то на другой улице. Не отворачиваются, к моему удивлению. Пристально в меня всматриваются. Любопытство во взглядах: какая я стала после того, что случилось. И ни единой искорки сочувствия. Ладно, обойдемся. На квартире родителей меня ждала паническая телеграмма от тебя. «Где Люба? Почему не вылетает Москву? Что-нибудь случилось?» И тут, в Сталино, ты нашел меня! Весточка от тебя обрадовала. Жив, здоров, на свободе! Это — самое главное. Вечером пришел врач, лечивший меня еще ребенком. Осмотрел и выслушал Сашку, сказал, что у него не воспаление легких, а коклюш, и разрешил мне ехать в Москву — он уже знал, в какой переплет ты попал, и всей душой нам сочувствовал. В городской кассе Аэрофлота купила билет на самолет, отлетающий в Москву утром. Чуть свет была на аэродроме. Дул сильный ветер, и вылет задерживался. И ветер оказался моим противником. Весь день сидела и ждала. Терпеливо ждала: вот-вот разрешат вылет. Вечером вернулась к родителям, а сегодня на рассвете опять поехала на аэродром. На этот раз погода смилостивилась надо мной, я улетела. В Москве среди встречающих тебя не оказалось. И тут я дрогнула, по-настоящему испугалась. Решила, что тебя не только выселили из квартиры, но и арестовали. Будь ты на свободе, ты бы встретил меня. И я решила оставить чемодан в камере хранения и налегке поехала на Большой Комсомольский. Минут через двадцать была на месте. Ни жива ни мертва подошла к лифтерше и очень тихо спросила, не оставил ли ты для меня ключ. Была уверена, что услышу что-нибудь ужасное. Лифтерша ответила: «Да, оставил. И просил передать вам, что скоро будет дома». Слава богу! Я поднялась наверх,

открыла дверь. На столе увидела твою записку. Вот и все... Зачем тебя вызывали в ЦК?

— Поликарпов и Фадеев ждут вечером в Союзе писателей, хотя о чем-то поговорить.

Пришел мой черед рассказать подробно о том, что было со мной. Искренне хотел быть обстоятельным — не получилось. Горький комок в горле мешал говорить, и голос срывался. Кое-как, с пятого на десятое, изложил высказывания Сталина. И этого для Любы оказалось более чем достаточно. Гневно закричала:

— Но это же неправда!

— В устах Сталина и неправда — правда.

Сказал — и самому стало страшно.

Люба понимает мое состояние. И не задает вопросов. Вдруг вспоминает, что голодна. Спрашивает, есть ли у меня что-нибудь съестное. Есть, милая, есть!

Вскипятил электрический чайник, заварил чай, разлил по чашкам и говорю:

— Как нам жить? Где? Что делать?

— Будем жить, как всегда жили. В трудах. Я — продолжать учиться в Литинституте, если не выгонят, а ты — писать новую книгу о Донбассе.

— Если я и напишу книгу, то ее никто не напечатает.

— Напечатают в конце концов, если хорошо напишешь.

Я обвел взглядом довольно уютную, большую комнату, вздохнул и сказал:

— Боюсь, что нас и отсюда прогонят. Негде будет писать. Если рука Сталина дотянулась до Донбасса, то сюда и подавно достанет.

— Нет! — закричала Люба. — Всякая жестокость имеет свои пределы!

— То, что нам с тобой кажется жестокостью, Сталину наверняка представляется законностью и справедливостью.

Сам не знаю, как сорвались с языка такие слова. Однако теперь я уже не испугался того, что было сказано. Не пускаешь правду в дверь или окно — она все равно найдет щель и пробьет себе дорогу в твой дом, в твою душу.

Не мог я безропотно принять вынесенный мне приговор. Нет! Еще и еще раз нет! Я должен, несмотря ни на что, чувствовать себя советским человеком. Это — мое право, полученное в октябре семнадцатого. И никому не дано лишать меня его. Буду искать и находить в самом себе нравственную опору. Не падать духом. Если меня и посадят, то и в тюрьме останусь самим собой, с достоинством буду разговаривать со следователями. Если вынесут смертный приговор, не упаду на колени, не стану выпрашивать помилования.

Вертится и вертится карусель. Езда по наезженному кругу.

Я любил Советскую власть, писал книги для советских людей — и все-таки «антисоветский писатель», «человек в маске». Не хочешь верить? Но ведь это сам Сталин сказал. И не имеешь права не согласиться с отцом народов, мудрейшим из мудрых. Сталин, учит история партии, никогда не ошибался, всегда прав. На всех крутых поворотах: и в дни Октября, и в годы гражданской войны, и в годы борьбы с изменниками и предателями, с разного рода уклонистами.

Вертится, вертится карусель.

Пишу письмо Сталину.

Вождь подавляет, диктует свою волю. Собираю и собираю улики против себя.

Вдоль и поперек исколесил за последние годы Донбасс. Бывал на рабочих местах знаменитых работяг. Почему же люди коммунистического завтра во всем своем величии и простоте не присутствуют на страницах моих книг?

На неудачу обречен даже самый большой талант, если дело народа не стало его плотью и кровью. Как жил ты, писатель, в последнее время и как жили герои твоей несостоявшейся книги? Ты получал хороший гонорар, имел прекрасную квартиру, дачу, машину, ел и пил, что душе угодно. А они? Ты знал, что горновой доменной печи, сталевар и прокатчик получают маловато, живут в коммунальных, без удобств квартирах, едят с оглядкой и не имеют не только собственной машины, но часто и велосипеда, — мог ли ты понять, прочувствовать душу рабочих людей?

Еще и еще улики. Гора улик. Я беспощадно распинаял себя. Не оправдал доверия, товарищ Сталин. Оторвался от действительной жизни народа.

Сталин бил меня по одной щеке, а я подставлял другую...

Карусель, карусель...

Но в письме к Сталину я не признал, что я «человек в маске», «вражеское охвостье», «антисоветский писатель» и пр., и пр. Обошел это молчанием.

Кстати, насчет молчания. Сталин говорил и о нем тогда:

— Комитет кинематографии, студия Мосфильм, кинорежиссеры, поставившие фильм, и газеты «Кино», «Известия» уже признали статью «Правды» правильной, покаялись, один Авдеенко гордо отмалчивается. Почему отмалчивается? — вопрошал Сталин и сам себе отвечал: — Говорят, молчание — знак согласия. Нет, не так. Молчание Авдеенко — знак несогласия.— И, уже обращаясь непосредственно ко мне, продолжал: — Почему вы, коммунист, писатель, прочитав статью в «Правде», которая выдвинула против вас тягчайшие политические обвинения, не всполошились, не задумались, не пришли в тот же день в Центральный Комитет, не добивались приема у секретарей? Почему не пришли ко мне?

Прийти к нему?.. Да мыслимое ли это дело?!

Как только стемнело, мы с Любой направились на улицу Воровского, 52, в Союз писателей. Шли и гадали: что еще обрушат на нас Фадеев с Поликарповым?

Явились раньше назначенного времени. Сидели в скверике на скамейке и ждали. Фадеев и Поликарпов пришли через час или полтора. Я оставил Любу в сквере под деревьями, листья которых еще не пожелтели. Теплое лето было в тот год. Не то что люди.

Я поднялся наверх. Фадеев и Поликарпов приняли меня в маленьком кабинете, который находился напротив большого, горьковского, то есть того, где когда-то работал Горький, будучи главой Союза писателей.

Фадеев погасил верхний свет, включил настольную лампу, расположился в кресле, в центре стола. Поликарпов сидел сбоку, поставив локти на кипу папок. Я сел на стул напротив Фадеева.

Фадеев, по-видимому, куда-то спешил, не собиравшись со мной долго разговаривать. Я видел это по нетерпеливому выражению его лица.

— Ну, рассказывай!

— Что именно я должен рассказывать?

Фадеев удивился или сделал вид, что удивился:

— Как, ты не знаешь, о чем должен говорить? Неужели не понял ничего? Не дошло?

— Дошло! — сказал я. — Писатель Фадеев превратился в следователя.

У Фадеева побледнели губы, а глаза стали темно-синими.

— Скажи, почему ты написал «Закон жизни», «Государство — это я», «Миллиардершу»? Кто на тебя влиял?

Что ж, вопрос не так уж и плох. Пожалуй, даже хорош.

Кто влиял?.. Перед моим мысленным взором пронеслась, пролетела вся моя жизнь с того дня, как помню себя. Один за другим возникают люди, влиявшие на меня. Их много, и все хорошие. Отец, мать, Макаренко, Довженко, Гугель, Ломинадзе, Люба. Влияли на меня Октябрьская революция, Ленин, Дзержинский, Горький, Серго, Чапаев, Толстой, Чехов, Достоевский, Есенин, Маяковский. Магнитка, легендарная Магнитка повлияла больше, чем что-либо другое. О ее влиянии я и написал книгу «Я люблю».

Собираюсь сказать это и ничего не говорю. Как бы искренне и убедительно я ни говорил, все равно ничего не изменится. Не поверят ни одному слову. Им нужно, чтобы я клеветал на себя, на друзей, на моих учителей.

Кто влиял?.. И ты, Саша Фадеев, когда-то повлиял на меня своим «Разгромом», жизнерадостным смехом, юным, красивым лицом, каким оно было в начале тридцатых годов. Ты влиял на меня и добрыми словами, и дружеским локтем, когда мы смотрели с тобой пьесу Михаила Светлова «Глубокая провинция». Ты влиял на меня, когда мы с тобой сидели в грузинском подвальчике на Тверской, напротив телеграфа, и пили доброе вино. Почему же теперь ты стал жестоким, бесчеловечным? Наивно спрашивать? Конечно! Ты поверил, что я «человек в маске», «антисоветский писатель»!

Фадеев напряженно смотрит на меня, всем видом показывает, что у меня осталась последняя возможность покаяться и тем самым хоть немного облегчить свою участь.

Ну что ж, если это действительно последняя возможность произнести человеческие слова, то я в полной мере воспользуюсь ею.

— Вы только для этого и позвали меня сюда,

чтобы спросить, какие враждебные силы влияли на меня?

— А хотя бы и для этого,— сердито сказал Фадеев.

— Ну, если так, тогда с этим вопросом пусть ко мне обращаются в НКВД.

Фадеев побагровел.

— А что, разве НКВД не советская организация?

— Почему же не советская? Очень даже советская. Но всякому свое. Следователям НКВД привычнее, чем вам, товарищ Фадеев, задавать подобные вопросы.

И Фадеев, и Поликарпов мгновенно утратили ко мне всякий интерес. Заторопились уходить. Но я все-таки успел кое-что сказать, прежде чем они меня выдворили. Сказал, что не считаю себя конченным человеком и не собираюсь отправляться на тот свет. Люблю жизнь, как никогда. Хочу жить, как никогда. Буду бороться за жизнь.

— Подумаешь! — издевательски засмеялся Фадеев.— Червяк тоже любит жизнь, судорожно хватается за нее. Видели мы таких борцов, сверхчеловеков.

Да, так, именно так и сказал писатель Фадеев. «Прекрасный и ужасный», по словам Ольги Берггольц. Я ничего не могу ни изменить, ни смягчить, хотя знаю, как он прожил последний день своей жизни.

Больше не о чем говорить. Я покинул кабинет. Вслед за мной вышли Фадеев и Поликарпов. В пустынной приемной Союза писателей мы обменялись еще несколькими словами. Я вдруг вспомнил, что не имею права носить билет члена Союза писателей. Достал из кармана маленькую книжечку в кожаной темно-коричневой обложке, раскрыл, посмотрел на подпись Алексея Максимовича Горького, спросил Фадеева:

— Это вы отберете у меня?

Фадеев молчал. Молчал и Поликарпов. Теперь думаю, если бы я положил билет в карман и ушел, они бы не остановили меня. Но мысленно я уже распрощался с членским билетом, и рука моя автоматически протянулась к Фадееву.

— Берите,— сказал я.— Верю, что ненадолго расстанусь с этой книжечкой. Через год, два вернусь в союз.

— Конечно, конечно,— великодушно промолвил Фадеев.— Все в твоих руках. Работай.

«Работай!» Спасибо за единое доброе слово. Оно,

наверное, нечаянно вырвалось у Фадеева. Не имел инструкций для разговора со мной?

15 сентября в «Литературной газете» появилась передовая, написанная, как мне известно, Фадеевым. «Решением президиума Союза советских писателей исключен из союза, как человек, проводящий в своих произведениях антисоветские взгляды, писатель Авдеенко...»

«Прекрасный и ужасный».

И передовую «Литературки», и невинно оклеветанных, безвременно погибших писателей, и бешеную кампанию против так называемых «космополитов», и многое-многое другое вспомнил я в ту минуту, когда мой сын, друживший с сыном Фадеева, однажды в воскресный полдень ворвался в дом с криком: «Только что застрелился Фадеев!»

Прекрасный!..

Многое искупил этот выстрел из старого, времен гражданской войны, нагана.

Я был на кладбище, когда хоронили Фадеева. Прощаясь с ним, бросал землю в его могилу и не вспоминал зла.

Потом неподалеку от того места, где похоронили Фадеева, на скамейке у какого-то памятника я увидел Юрия Либединского, его жену и Валерию Герасимову, бывшую жену Фадеева. Они подозвали меня и не скоро отпустили. Либединский часа два рассказывал о субботней встрече с Фадеевым накануне его гибели.

«Трудно жить,— сказал Фадеев своему старому другу,— после того, что мы узнали о Сталине, после того, как поняли, что вынуждены были делать по его указаниям. Совесть мучает. Трудно жить, Юра, с окровавленными руками».

На партийном собрании в марте 1956 года наш секретарь, говоря о произволе, царившем при культе личности, и о погибших писателях, упомянул и Фадеева. «Жертвой культа личности стал и наш Фадеев». Я согласен с ним и не согласен. Жертва и не жертва. Человек, изменяющий своей сущности, перестающий видеть в другом человека, не способный верить, сочувствовать, жалеть, прежде всего убивает человека в себе.

Вернемся в роковой сороковой.

В Москве все, кому я был здесь нужен, сделали свое дело; разоблачили, исключили, заклеямили, лишили. Теперь очередь за Донбассом, расправа должна быть завершена там. Ведь партийный билет и депутатский мандат горсовета Макеевки еще не отобраны у меня.

Через день или два после разговора с Фадеевым мы с Любой отправились на аэродром, купили билеты и вылетели в Донбасс. Но кто-то сделал так, что мы не попали на один самолет. То, что мы летим разными рейсами, мы обнаружили в самый последний момент и ничего не могли изменить. Первой вылетела Люба крымским рейсом. Она долго ждала меня в Харькове, там мы вместе сели в самолет, улетающий в Донбасс.

Приземлились в Сталино. Направляясь к выходу из самолета, я наклонился к Любе и шепотом говорю:

— У трапа нас встретят...

— Кто? — удивляется Люба.— Мы телеграммы не посылали.

— Ее послали другие.

Простодушная, по-детски чистая ее душа все еще не примирилась с жестокой действительностью, живет по старым меркам: по правде, совести, справедливости — и ждет такого же отношения к себе. Нет, милая. Мы с тобой изгой, достойные только презрения, наказания.

Мысли мои, должно быть, отразились на лице. Люба поняла.

— Ты думаешь?

— Донецкая земля... наше с тобой место жительства. Самое подходящее место для такого дела. Давай прощаемся...

Ослепительное, не по-осеннему жаркое солнце Донбасса встретило нас. У трапа стояли только работники Аэрофлота. Те же, кто должен был в з я т ь меня, люди Берии, наверное, там, у выхода из аэропорта. Ждут около машины. Распахнут двери «эмки», любезно скажут: садитесь!

И там, за аэродромом, никто вроде бы не обращал на нас внимания. Но я чувствовал на себе чей-то стерегущий взгляд. Кто-то не спускал с меня глаз, кто-то ждал, что сделаю я здесь, на родной донецкой земле Ну что ж, пусть смотрят.

— На этот раз пронесло! Видимо, есть указание

пока не трогать. Заберут в другом, более подходящем месте. У них свои расчеты.

Добираемся до конечной трамвайной остановки, и минут через сорок мы в городе Сталино, на Восьмой линии, у родителей Любы. К моему удивлению, в тесном дворике вижу «бьюик». Мой. Пока что мой. Могу ехать, куда хочу, а завтра... Завтра машина может не понадобиться. Прямо сейчас надо ехать в Макеевку повидать маму. Несчастные мамы! Страдают за своих сыновей в любом случае — когда те виноваты и не виноваты.

Ехал на роскошной машине по улицам Сталино и Макеевки у всех на виду и не отводил взгляда от тех, кто с удивлением на нас заглядывался и немо возмущался: какой нахал! После всего, что натворил, смеет раскатывать в заграничном лимузине.

Маму нашел на окраине Макеевки в сером трехэтажном, тюремного вида доме. Стены комнаты изъедены сыростью, облупились. Как только я вошел в это бывшее овощехранилище, а может быть, арестантское крыло отделения милиции, я решил забрать отсюда мать: ни одной минуты она не должна быть в этом вонючем крысином подвале.

Но тут между мной и матерью оказался какой-то милицейский чин, не то капитан, не то майор. Значит, сюда явились по мою душу!..

Но милицейский чин не спешил подвергнуть меня аресту. Он еще больше, чем я, смущен. Не ждал моего появления. Полагал, что я упрятан за решетку в Москве. Оказывается, он допрашивал мою маму, что-то строчил в протоколе.

Гнев и ярость охватили меня. Рванул к милиционеру, закричал:

— Как вы смеете мучить больную, старую женщину, мою мать?! Не имеете права! Меня допрашивайте, если считаете виноватым!

Милиционер бормотал:

— Я не допрашиваю, я знакомлюсь с новым жильцом.

— Не притворяйтесь! — закричал я с новой силой. — Убирайтесь вон отсюда!

Милиционер собрал свои бумаги и испарился.

Я посадил маму в машину, увез ее к брату, там и оставил.

Многое я постиг после этого случая. Понял, как должен

разговаривать с преследователями. Мои противники должны чувствовать, что творят неправо, нечистое дело.

Мы с Любой, Сашкой и его нянькой Галей поселились у Любиных родителей. Вшестером в двух крошечных комнатухах. Просто негде было повернуться.

Едва успел войти в квартиру Любиного детства, как снова увидел милиционера. Не того, макеевского, другого, сталинского. «Моя милиция меня бережет...»

Этот, сталинский, милиционер, в отличие от макеевского, был вежлив. Снизошел даже до того, что назвал товарищем, когда спрашивал, тот ли я, кто ему нужен. Да, тот самый. В чем дело?

Представитель власти вручил мне повестку: немедленно явиться в областное управление милиции к начальнику уголовного розыска. Еще один вид унижения. Не просто милиция желает со мной разговаривать — обязан предстать перед деятелем уголовного розыска, авось испугаюсь, наложу в штаны, расколуюсь повинно. Знаю, зачем меня туда вызывают. Речь, конечно, пойдет о пистолете, который когда-то был выдан мне милицией.

Этот пистолет мне однажды пригодился. Года три назад я жил километрах в восьми от Макеевки на даче. В одну из зимних ночей Люба, кормившая грудью ребенка при свете ночника, услышала, как кто-то настойчиво стучит в дверь. Не стучит, а громыкает. Перепуганная, она прибежала в мою комнату, разбудила. Я накинул халат, положил в карман пистолет и выбежал в прихожую, к двери, в которую только что стучали. Стук здесь уже прекратился. Теперь стучали с другой стороны дома, там, где веранда. Собственно, не стучали, а разбивали стеклянную дверь. Я побежал туда и начал стрелять. Выстрелы подействовали отрезвляюще. Наступила тишина. Потом послышался чей-то стон. Я подошел к разбитой двери и, отодвинув штору, посмотрел на террасу. Человек в черном лежал на заснеженном полу и стонал, по-видимому, тяжело раненный. Я бросился к телефону. Через час сквозь снега пробилась милиция, агенты уголовного розыска с розыскной собакой. После краткого разговора со мной милиция увезла громилу. На другой день выяснилось, что раненный мною

человек — отпетый уголовник, намеревался ограбить нас, уверенный, что в доме одни женщины.

Направляясь в областной уголовный розыск, я подумал о том, что очень легко обвинить меня, пусть задним числом. Сознаю, я редко вспоминал раненого. Не задумывался, кто он и что. Был уверен, что мы квиты. Теперь только понял, что виноват перед ним, как и он передо мной. Все люди в ответе друг за друга. И Сталин не освобожден от ответственности и за весь наш народ, и за каждого отдельного человека.

Начальник уголовного розыска хорошо знал меня. Мы встречались с ним на партактивах, в обкоме. Но сейчас встретились как незнакомые, чуждые друг другу. Глядя в какую-то бумагу, он строго официально сказал, что у меня имеется пистолет системы браунинг за номером таким-то, с таким-то количеством патронов, выданный в таком-то году, в таком-то месяце, такого-то числа.

— Да, есть,— ответил я.

— Вы лишаетесь права иметь оружие и обязаны немедленно сдать его.

Я достал из кармана пистолет, запасную обойму, милицееское разрешение на право носить оружие, положил на стол и спросил:

— Больше нет вопросов?

— Нет,— ответил начальник уголовного розыска.

Мне показалось, что он сказал это через силу, с великим сожалением. Но он не посмел ни о чем спросить.

Из состава депутатов горсовета меня вывели таким образом: опубликовали в газете «Макеевский рабочий», что я лишен доверия избирателей,— и все. За избирателей «проголосовали» власть имущие.

Из партии исключали в райкоме, минуя первичную организацию, где я состоял на учете. Нарушается устав? Подумаешь! В отношении антисоветского элемента можно действовать без оглядки на устав, Конституцию, советские законы.

Заседание в райкоме было многочленным. Члены бюро и почти все собравшиеся знали меня не один год и считали своим человеком. Теперь откровенно враждебны, угрюмо, с презрением смотрят на меня.

Почему легко поверили тому, что напечатали «Правда», «Литературная газета»? Встречались со мной каждый

день, знали, как и чем я живу и дышу, а теперь воспринимают меня как человека в маске.

А разве я не верил всему, что печатают газеты?

Далеко отсюда, от Донбасса, Кремль, Сталин. Далеко и в то же время близко. В углу, на высокой тумбе — бронзовый бюст Сталина. Он наделен энергией, слухом, волей, властью. Нельзя в его присутствии быть не жестоким, не презирать, не ненавидеть, сомневаться, размышлять, быть самостоятельным. Нельзя! Иначе поставишь себя вне рядов партии, вне рядов советских людей.

Заседание началось с тягчайшего молчания. Члены бюро воинственно настроены, но все-таки чувствовали себя неловко. Картину «Закон жизни» не видели, сценарий «Миллиардерша» и роман «Государство — это я» не читали. Читали только обвинения в газетах.

Секретарь райкома, докладывая о моем персональном деле, пытался дорисовать мой портрет, который был набросан в газетных статьях небрежными, грубыми мазками. Но у него ничего не вышло, не было под рукой местных макеевских красок — фактов, подкрепляющих обвинения.

Я вижу, как он мучается, и спешу ему на помощь. Ни в чем решительно не оправдываюсь. Во всем, что случилось, обвиняю только себя. Виноват, что не хватило таланта и ума написать действительно хорошие киносценарии. Виноват в том, что после критической статьи в «Правде» не пошел в ЦК и не заявил, что признаю критику справедливой и правильной. Виноват, что не оправдал ожиданий читателей, возлагавших на меня надежды после выхода первой книги. Назвал и другие грехи, но решительно отверг обвинение, что я антисоветский писатель, и прочее такое.

Когда я умолк, на меня набросились со всех сторон, используя мои же слова, толкуя их превратно, чудовищно преувеличивая. Ожесточались по мере того, как говорили. Вдохновлялись собственным гневом. Решение об исключении, конечно же, было принято единогласно.

Бюро горкома партии должно утвердить или отменить решение райкома. И на заседании в горкоме я опять вынужден был выступить в роли главного обвинителя самого себя. Конечно же, горком утвердил решение об исключении меня из партии.

Это заседание памятно особенно. Рассказывая членам бюро горкома о своей встрече со Сталиным, я вдруг почувствовал, что говорю об этом подозрительно охотно,

чуть ли не с гордостью, что мне выпала такая честь — быть объектом гнева самого Сталина. Вот когда мне стало страшно, вот когда я почувствовал себя на дне пропасти.

Я скомкал свое выступление и умолк.

Иду по главной улице, и мне кажется, люди, глядя мне вслед, возбужденно толкают друг друга, говорят обо мне. Умом я понимаю, что я отвержен, но душа не хочет мириться.

Я не хочу, я не должен умирать с клеймом, но и жить с ним не могу. Как же быть? Где выход? Да и есть ли он? Был... До того, как сдал пистолет. Кусочек свинца разрубил бы все узлы.

Никто не в силах заставить меня признать, что я не должен писать, не имею права. Сегодня мои книги изъяты из библиотек, но уверен, пройдет время, и они вернутся на свое место. Я хочу быть полезен стране, народу как писатель.

С такими мыслями я приехал домой, посадил Любу в машину, и мы начали колесить по окрестностям города Сталино.

Колесим по окраинам не праздно. Ищем шахту, где мне предстоит жить и добывать уголь. Бывший машинист паровоза, бывший писатель, бывший спецкор «Правды» решил снова стать шахтером, как в юности. Никто не ссылал меня под землю, никто не советовал туда идти. Я сам, с одобрения Любы, выбрал для себя рабочее место. Работая в шахте и живя в каком-нибудь общежитии, буду писать книгу о шахтерах.

Облюбовал шахту имени папанинцев, большую, механизированную, новую. Года два назад очерк о ней я опубликовал в «Правде».

Но не так-то просто досталось и это — работа под землей, звание шахтера. Отдел кадров, начальник шахты долго согласовывали с областным руководством, принять меня или не принять в ряды рабочего класса. Очевидно, и на шахте, и в обкоме мучительно гадали, почему я решил стать шахтером. Подозревали, видимо, в каком-то хитроумном антисоветском умысле. В конце концов определили помощником машиниста врубовой машины, дали место в общежитии.

Когда шагаешь от шахтного ствола по коренному штреку в лаву, то поступательная струя свежего, с поверхности, воздуха дует в спину, как в парус, гонит вперед. Возвращаясь с работы — искусственный ветер оmyвает лицо, покрытое черным потом и угольной порошей, въевшейся в кожу, в брови, в ресницы.

Первая шахтерская упряжка. Первые сотни тонн н а ш е г о угля, добытого н а ш е й врубовой машиной. Первый подъем на-гора. Первая баня после трудов.

В предбаннике, в старом зеркале, увидел свое отражение в полный рост. Шахтерка. Тяжелые ботинки на резиновом ходу. Пластмассовая каска. Черное — от уха до уха, от шеи до лба — лицо. Вот теперь я действительно человек в маске.

Неторопливо, с высочайшим удовольствием мылся под горячим душем. Не пыль, не грязь смывал, а черное золото. И чувствовал себя равноправным с крепильщиками, проходчиками, навалоотбойщиками, коногонами, машинистами врубовых машин и электровозов. Думал только о том, как работал, добывая уголь, что слышал, что видел.

Рассказывает Люба:

«С Сашкой и Галей собираюсь ехать в Москву. Будем там жить, буду учиться. Сборы были хлопотными, нервными. Но вот наконец все уложено, завязано, замкнуто, перетянута ремнями. Можно ехать. В день отъезда я пошла в заводской комитет комсомола — попрощаться, а заодно и сняться с учета. Но не тут-то было! Секретарь комитета, мой ровесник, парень пригожий и вполне порядочный до сегодняшнего дня, всегда уважительный, неожиданно повернулся ко мне наихудшей стороной. Стараясь не встретиться со мной взглядом, отчеканил: «Не с учета мы будем тебя снимать, а рассматривать персональное дело на комсомольском собрании. Так что придется тебе задержаться в наших краях на три дня». — «Персональное дело? В чем я провинилась перед комсомолом?» Секретарь поднялся, осмотрел меня с ног до головы — и осудил и мою прическу, и платье, и туфли. «Ты провинилась не только перед комсомолом, но и перед всей страной, перед народом. Была активным членом бюро комитета, неплохим редактором стенной газеты и вдруг...» — «Вспомни, ты торопил меня подавать заявление в партию... Что я натворила?»

Конкретно: в чем моя вина? Уж не в том ли, что я жена писателя Авдеенко?» — «Твоя вина в том, что не пришла, куда следует в таких случаях, и не сказала, что твой муж пишет антисоветские романы и сценарии». Тише, Любка, не вопи, не заламывай руки! Не хватайся за голову! Не давай воли истеричному хохоту. Спокойствие. Хладнокровие. Ничуть не меняясь в лице, я сказала ровным голосом: «Не признаю себя виновной. Во-первых, мой муж не писал антисоветских произведений. А во-вторых, я не клеветник, не доносчица». — «Ах, вот как ты заговорила! Значит все, что напечатала «Правда», — клевета? Так надо понимать?» — «Да, клевета! Так и скажу собранию». — «Ничего ты не поняла. Ничему не научила тебя эта история. Тем хуже для тебя. До свидания».

И вот общее комсомольское собрание. Тон задал юный вождь заводского масштаба. Прорабатывал, пинал и топтал. Забыл, что всего месяц назад рекомендовал меня в секретари комсомольской организации, торопил вступать в партию. Сейчас — объявил наихудшей комсомолкой. Отказывалась от нагрузок. Вела мещанский образ жизни. Одевалась по последней парижской моде. Приезжала на собрания за рулем собственной машины. И это в чисто пролетарском городе Макеевке! Потупив очи, молчали не шибко понимающие, что происходит, комсомолки без году неделя, ученицы ремесленного, но дружно подняли руки, проголосовали единогласно за исключение. И началось! Как две капли воды похожее на то, через что прошел муж. Место действия другое, иные обвинители, а речи одинаковые. Протащили по всем кругам нашеньского ада. Обвинения росли, как снежный ком. Если на собрании я была просто никудышной комсомолкой, мещанкой, выпендривалась, изображая модную парижанку, то на бюро заводского комитета я уже стала гулящей, соблазнявшей чужих мужей. На бюро райкома — устраивавшей у себя дома пьяные оргии с молодыми людьми, танцевавшей в чем мать родила. В горькоме... В общем, мое персональное дело с каждым новым обсуждением распухало. Впрочем, я заметила, клеветники не очень изобретательны. Одни и те же байки сочиняют. И все-таки не выдерживала. Потеряв хладнокровие, потрясенная, кричала: «Неправда! Ложь! Бред собачий!» И отчаяние было поставлено мне в вину: «Вы посмотрите, товарищи, как нагло она себя ведет!» Исключали единогласно, с искаженными ненавистью лицами.

Последняя инстанция — бюро областного комитета комсомола. Собрала все силы, пришла на заседание. Долго ждала, пока дошла до меня очередь. Стояла в коридоре. Сердце колотилось. Ноги подгибались. Наконец, вызывают. Вхожу в огромный зал. Большой квадратный стол. За ним человек пятнадцать парней и девчат. Все мои земляки. Я их чуть ли не каждый день встречала на улице. Они меня тоже знают. Предложили сесть. Я это сделала с превеликой радостью — ноги не держали. Встает секретарь макеевского горкома комсомола и докладывает. Повторяет все, что говорилось во всех инстанциях. Вызубренная клевета произвела впечатление на членов бюро обкома. Лица их становились все более и более враждебными. Смотрели на меня как на чудовище. Закончил свою речь секретарь макеевского горкома такими словами: «Горком постановил исключить из комсомола. Единогласно. Не сомневаемся, что бюро обкома утвердит наше решение».

В отличие от предыдущих собраний, где меня исключали, даже не выслушав меня, здесь мне предоставили последнее слово. Говорила я долго. Рассказала, как полюбила Сашу Авдеенко, как вышла замуж, какой он хороший человек, как предан Советской власти, как много работает и мало отдыхает. Рассказала, что сдала сессию в Литинституте, что готовилась к вступлению в партию. Поверили мне ребята. Изменились лица, просветлели, в глазах появилась доброта. Посовещавшись, предложили создать комиссию, направить ее в Макеевку, чтобы разобраться в моем персональном деле. Председателем комиссии назначили редактора газеты «Комсомолец Донбасса». Мы с ним условились, что я приду к нему в редакцию, поговорим, а потом уже комиссия поедет в Макеевку. Встретились, поговорили. Через некоторое время опять назначают бюро обкома. За большим столом сидят те же люди. Слово берет редактор «Комсомольца Донбасса». «Мы были в Макеевке, встречались с многими комсомольцами. Могу сказать одно, товарищи: побольше нам надо бы иметь таких комсомольцев, как Люба Авдеенко».

Когда я пришла к своему секретарю, чтобы сняться с учета, он как ни в чем не бывало сказал: «Надеюсь, ты не гневаешься на меня за то, что я выполнял указания сверху. Ты же знаешь, как у нас это делается».

Еду на своем хорошо приметном «бьюике» из города Сталино на шахту папанинцев.

Отец Любы, сидящий рядом, работает механиком в органах безопасности. Пока его почему-то не увольняют. Вероятно, жаль терять незаменимого мастера по несгораемым сейфам, ключи от которых их хозяева ухитряются терять.

Оглянувшись через заднее окно на дорогу, он сообщает мне с чисто одесским юмором:

— За нами «хвост»! Эти босяки, которых уже три года боится весь город, имеют наглость надеяться, что их «эмка» способна угнаться за «бьюиком». Газани, а я помашу им ручкой.

Я так и сделал. Тесть засмеялся, снял потертую, мятую шляпу и, высунув наружу руку, помахал преследователям, которые сейчас же пропали в туче донбасской пыли.

В другой раз я подвел «босяков» под монастырь. Заехал в огороженный двор какой-то полузаброшенной шахты. Дальше ехать некуда. «Хвост», плохо знавший местность, увязался за мной и попал в тупик. Я уже развернулся, чтобы мчаться дальше, а они только-только миновали раскрытые ворота. Подъехав к ним, я остановился. Три здоровенных парня растерялись. Один полез под машину, делая вид, что рассматривает кардан, второй согнулся в три погибели между передним и задним сиденьями. Третий сделал вид, что его сразил сон.

Я вежливо поздоровался с молодыми людьми, сказал:

— Маленько подвел вас. Не хотел, честное слово. Так что извините.

И нажал на газ.

Труд шахтера во все времена был тяжелым, если не самым тяжелым. В сороковом году уголь уже не добывали обушком, хотя обушок все еще был нужен для подсобных работ. Не гоняли вагоны от забоя к стволу вручную. Мало осталось под землей лошадей и конононов, отдельных забоев — так называемых печей. Появились врубовые машины, а кое-где и горные комбайны.

Десятки миллионов тонн угля добывал перед войной Донбасс. Но машины только подрубывали пласт, а разрушали его обушком и грузили на конвейер обыкновенными лопатами. Делали это так называемые навало-отбойщики,

молодые, во цвете лет, наделенные недюжинной силой. За смену наваливали пять-шесть тонн, стоя чаще всего на коленях, сутулясь, вдыхая тонко измолотую угольную порошу, кашляя, выплевывая черную, густую мокроту. И в легкие, и в желудок, и в кишки проникает пороша. Семь потов сойдет, пока выдадут на-гора норму. Обнаженные до пояса, блестящие от горячего пота, они не песни поют, а матерятся, проклиная неполадки. Выработанное пространство забучивают породой вручную. Крепят вручную. Механизмы переносят вручную.

И механизаторам не легче. Часто приходится брать обушок, лопаты и вырубать зажатую под пластом машину. Много физических сил затрачивается, когда зарубываешься в кутке, в устье лавы. Потеем, как в парилке, когда отбрасываем штыб. К концу упряжки никаких сил не остается.

А ведь мне предстоит еще одна упряжка — за письменным столом. Нет, я не жалею. Просто объясняю.

Покойный мой друг Антон Семенович Макаренко в любой ситуации утверждал: «Все, что с нами делается,— не к худшему, а к лучшему». Ох, милый человек!.. В тридцатых с нами происходило такое... Не воскреснут Бабель и Тухачевский, Блюхер и Кольцов, Мейерхольд и Орджоникидзе...

Кровавая или бескровная расправа, клевета в государственном масштабе, обречение на бедность, нищету, унижение, бесправие, одиночество — это всё разновидности, мести со стороны сильных мира сего тем, кто им чем-нибудь не угодил.

Эту месть я испытываю каждый день, каждый час. Бесшумный расстрел моей души. И тем не менее я живу, работаю и тем самым доказываю свою силу и право. Так будет и дальше, если даже мое положение еще ухудшится, хотя хуже, кажется, нельзя придумать.

Можно!

Приговорить к смерти и тем самым лишить возможности доказать жизнью и трудом, что я не человек в маске. Коммунист. Советский гражданин. Писатель. Частица великого народа.

Часа два сидел в коридоре обкома среди себе подобных, недостойных быть в партии большевиков, ждал вызова на бюро. Последняя инстанция. До сих пор,

несмотря на то, что меня исключили на бюро райкома и горкома, я все еще числился коммунистом. Сегодня окончательно решится... Не верю даже в неминуемое.

Зал, где заседает бюро обкома, находится в конце коридора. Открывается дверь, выходит человек и суровым голосом называет мою фамилию.

Вхожу в зал с огромными окнами, за которыми море электрического света вечернего города Сталино. Огни большого Донбасса. Огни Родины, ставшей мачехой, судьей и палачом.

Несколько часов назад я добывал уголь. Брови мои и ресницы покрыты несмываемой порошей, и вокруг глаз черно. В костях ломота. Я еще наполовину там, в лаве, среди рабочей братвы. А вторая моя половина здесь. Персональное дело...

Взгляды всех прикованы к моему лицу. Разглядывают с превеликим любопытством. Да и как не быть любопытным, как не разглядывать?

Во взглядах недоброжелательность даже к моему внешнему виду. Не нравится, что явился на заседание бюро обкома с неотмытой порошей. Думают, хочу произвести впечатление. А ведь эту порошу ох как трудно отмыть.

Поперек широкого кабинета протянулся массивный стол, за которым сидят члены бюро обкома, вторично сменившие репрессированных партработников. Суровые, как и положено им быть, лица.

Меня усаживают в конце длинного стола, примыкающего перпендикулярно к главному. Напротив — пожилой человек в очках. Наклонившись ко мне, деловитым шепотом спрашивает:

— Партбилет при вас?

— Да, конечно.

Лезу в карман пиджака, достаю красную книжечку, но он энергичным жестом дает понять, что пока могу не расставаться с партбилетом.

Человек на подхвате. Работник из отдела учета. Ворон, ждущий, когда может схватить добычу.

Члены бюро обкома ничего плохого не могут сказать о моей жизни в Донбассе, если не вздумают плести небылицы. Скорее всего, просто повторят то, что напечатано в газете.

Начали с того, что предоставили мне слово. Решается вопрос моей жизни и смерти. И мне же велено как можно удобнее приладить к шее удавку, приготовленную на

виселице. И я подчиняюсь. Оправдываю оказанное доверие. Говорю о встрече со Сталиным 9 сентября, о том, что он раскритиковал мои произведения.

Но я только расправил петлю, а голову в нее не засунул — предоставил это палачам. Пусть и они поработают. Употребив слово «раскритиковал», я все же не захотел вспомнить, что назван автором антисоветских произведений. Язык не повернулся. Да в этом и нужды не было. Все ведь было решено. Не здесь, а там, в Москве. Что бы, как бы я ни сказал, результат был бы один.

Обсудили, осудили, проголосовали. Формулировка кратчайшая: исключить за моральное разложение и как буржуазного перерожденца.

Ворон, сидящий напротив меня, захлопал крыльями, закаркал, протянул лапу. Я вложил в нее согретую моим сердцем, всей моей жизнью красную книжицу и вышел в коридор.

Лучше бы он глаза мне выклевал.

Исключенный!..

Малиновые фуражки возьмут меня под руки, посадят в машину, как только выйду из обкома. Долго ждали своего часа.

Не взяли. Решили оставить на длинном поводке.

Управляю врубовой машиной, подрубываю угольный пласт, погружен в работу, радуюсь угольному потоку, текущему по конвейеру вниз, на коренной штрек, но все равно чувствую — кто-то смотрит на меня и пытается: кто ты на самом деле — шахтер или человек в маске?

Сажу за столом в своей комнатушке, пишу страницу за страницей. Ночь. Тихо в общежитии, населенном молодым народом. Но все равно остро чувствую: кто-то стоит позади, заглядывает через мое плечо, вчитывается в каждую строчку, — так ли пишу, как Он указывает?

Иду по безлюдному штреку, от лавы к стволу. Одинокая моя шахтерская лампа еле-еле освещает узкоколейный путь и крепежные пары с верхняками, пахнущие живым деревом. Вдыхаю еле уловимый аромат таежной ели или сосны и чувствую, как по капле восстанавливаются силы, израсходованные в лаве на тяжелой

работе. И все-таки, все-таки даже теперь прислушиваюсь и оглядываюсь: не крадется ли по моим следам какой-либо соглядатай? Вроде бы нет никого. Но я знаю, что он есть. Должен быть. Затаился где-то, ждет, когда пойду дальше. Пойду я, пойдёт и он.

Пора бы привыкнуть. Не умею ценить того, что посылает судьба. Сначала грозила расстрелом или годами тюрьмы, лагерей, потом сменила гнев на милость: оставила на свободе, позволила стать шахтером. Более чем великодушно обошлась со мной — и тем не менее недоволен. Неблагодарная свинья.

Во время перекура, когда вышел из строя мотор, приводящий в движение рештаки качающегося конвейера, мой напарник Максим ни с того ни с сего сказал:

— А война, как мы от нее ни отнекиваемся, со дня на день навалится и на нас. Немцы побьют греков и югославов — и начнется. Ох, плохо нам будет! Москву разрушат до основания. И сюда придут, в Донбасс. Нас с тобой заставят работать на Германию.

Понял я, что напарник заговорил о будущей войне и чудовищном поражении не случайно, не по собственному хотению, а по чужому велению. Кто-то хочет знать, разделяю ли я пораженческие прогнозы. Явная провокация!

— Ну чего ты не мычишь, не телишься? — толкает меня в бок подонок. — Прав я или не прав? Скажи. Ты ведь грамотей!

— Скажу... Доносить на тебя не буду... А воевать, если придется, будем на чужой земле и победим малой кровью.

Максим расхохотался. А я молчу. С этого часа с моим напарником, который казался мне хорошим парнем, больше и словом лишним не обмолвлюсь.

Уходя на работу, оставляю на столе записные книжки, блокноты, начерно написанные главы. На чужой взгляд — беспорядок, а на мой — идеальный порядок. Каждый клочок бумаги лежит на своем месте. Накрываю «письменный стол» старой развернутой газетой, поверх кладу лист бумаги с обращением к безвестным, но вполне

реальным соглядатаям: «Не перепутайте грешное с праведным. Прочтите и положите все на свои места».

И потянулось день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем шахтерское житье. Шесть часов работы под землей в механизированной лаве. Шесть, а то и больше,— усидчивой работы за столом в крохотной комнатухе. Слова сами собой, кажется, льются из-под пера. Есть о чем рассказывать. Черновые заготовки для романа. Эскизы портретов шахтеров и шахтерок.

Наконец наступает время, когда рождается сюжет и появляются один за другим герои будущего произведения — мои товарищи по труду, побратимы Стаханова.

Всю осень и зиму трудился я под землей и на земле: добывал уголь и писал страницу за страницей. И еще каждый день посылал письма Любе и Сашке в Москву, куда уехали они осенью.

И еще готовился к поступлению в Литературный институт имени Горького. На заочное отделение. Перечитывал «Слово о полку Игореве», древнерусские летописи и всякое такое.

Боюсь только, что не зачислят и в студенты-заочники. Больно страшная биография. Заявление с просьбой о приеме все же послал.

Приняли! К величайшему удивлению и, конечно же, радости. Шахтер и студент без отрыва от производства. Это звучало бы гордо, если бы...

Каждый день поднимаюсь на-гора с хорошей добычей — угольной и чисто писательской. Иногда добываю несколько подслушанных фраз, иногда два-три слова. Прихожу в общежитие и сейчас же записываю.

По зернышку, по камешку, по кирпичику собираю книгу. Рождаются новые мысли, и все яснее вырисовываются контуры будущего произведения, которое я, не мудрствуя лукаво, окрестил «Труд». Труд как жизненная необходимость.

Растаяли снега и льды. Иссякли вешние воды. Солнце греет все теплее. Дни длиннее, ночи короче. Весна на дворе. Но я ее только вижу и совсем не чувствую. Двойная болезнь одолевает: физическая и душевная. В общем, плохи дела и на одном, и на другом фронте. И на третьем, семейном, тоже нет ничего хорошего: вот уже который день не пишу Любе и Саше писем — рука не поднимается, нет сил рассказывать, что со мной происходит.

Милая Любонька! Чувствовала ли ты, как мне было тяжело всю последнюю декаду марта? Перенес ужасную болезнь. Ничего нового. Старая она, болезнь, уже не раз мучившая меня,— неверие в свои силы, неверие в то, что я называю «Трудом». Мало в нем правды, той великой правды, которой много и под землей.

Ворох исписанной бумаги. Пустая трата времени.

Припадки отчаяния начинались с утра, не кончались и поздней ночью. Беспросветное отчаяние. Беспросветное отвращение к тому, что уже написано, что задумано. Безнадежно плохо. Не вижу ни единой страницы, которая была бы по душе. Хочу писать правдиво, не жалею для этого сил, но желанной цели не достигаю. Если и был у меня талант, то он убит наповал в сентябрьскую ночь сорокового. Человек без настоящего и будущего.

Не пугайся, Любонька. Безвыходное отчаяние уже позади. Прошедшая декада была моим истинным «Путешествием на край ночи». Слава богу, сегодня оно кончилось. Кончилось так же внезапно, как и началось. Вернулась вера в себя, в то, что сделал и собираюсь сделать. Обычная история: большая вера в себя время от времени превращается в полное безверие. А я до такой степени измордован, что ум за разум заходит...

В самый разгар работы, когда машина подрубывала пласт где-то в середине лавы, произошел частичный обвал кровли. Не знаю, не могу сказать, чья тут вина. То ли мы, механизаторы, чересчур бойко, без оглядки на крепление, рванули вперед, не обеспечив тылы, то ли крепыльщики не торопились надежно раскреплять за нами выработанное пространство, то ли напоролись на кумпол породы, плохо соединенный с коренной породной массой, висящей над нами трехсотметровой толщей. Так или иначе, но машину и кабель завалило. И мне, управляющему врубовкой во время обвала,

изрядно досталось: громадный корж породы угодил в спину, боль пронзила от шеи до крестца.

Травмированного шахтера посреди рабочего дня выдали на-гора, увезли в больницу.

Неужели кончилась моя шахтерская жизнь? Неужели придется доживать век еще и с перебитым хребтом? Перебитым — в буквальном смысле этого слова. Завершилось то, что было начато на Старой площади. Убит и душевно, и физически.

Тщательно осмотрев и просветив меня, врачи вынесли более чем великодушный приговор: несмотря на сильный ушиб, позвоночник цел и невредим. Радоваться бы мне, а я готов криком кричать от страшной боли именно в позвоночнике. Не могу ни стоять прямо, ни согнуться, ни разогнуться. Способен только ползать на четвереньках. «Ничего, ничего,— утешали меня врачи.— Боль скоро пройдет».

Не прошла боль ни через час, ни через неделю, ни через три. Днем и ночью ноет крестец. Наружных повреждений нет, а внутри нестерпимо болит. Лечащий врач откровенно не верит в мою боль и бесцеремонно заявляет, что продлевать бюллетень не намерен. Нельзя в моем положении оспаривать мнение врача. Вынужден воспринимать как должное любое унижение и оскорбление. Такова теперь моя доля...

Итак, шахтер с перебитым хребтом и еще студент-заочник Литературного института имени Горького. Первую работу о «Слове» почти написал. Читаю, к сожалению, мало: два-три часа. Надо больше, но наверстаю потом, когда одолею самые трудные главы «Труда», когда приеду в Москву и буду сдавать экзамены вместе с Любой.

Апрель 1941 года. Долгожданный вызов в Москву в Литературный институт для сдачи экзаменов первокурсника. Древнерусскую литературу сдал на «отлично».

Май 1941 года. Хожу в Историческую библиотеку, как на работу, благо она неподалеку от Большого Комсомольского, где мы живем с Любой, Сашей и Галей. С утра до поздней ночи читаю и перечитываю нужные книги и сдаю экзамен за экзаменом. В течение мая сдам по всем предметам за второй курс и начну штурмовать высоты третьего. Думаю к концу лета сдать все экзамены и получить диплом.

Не успел! Война!

Двор военкомата полон народа, мужчин и женщин, жаждущих немедленно попасть на фронт. Еще и часа не прошло, как узнали о нападении Германии, а от добровольцев нет отбоя.

Среди них и я, сомнительный доброволец. Самим Сталиным крещенный как вражеское охвостье, антисоветский писатель. Все это я сейчас должен сказать. И боюсь, что не буду допущен в ряды добровольцев: побоятся, как бы такой-сякой не переметнулся к противнику.

Когда подошла моя очередь, вручаю военкому заявление с просьбой отправить на фронт и военный билет. Майор раскрывает военный билет, сейчас же возвращает и укоризненно говорит:

— Политсостав!.. Вам должно быть известно, что вас призовут в первую очередь. Ждите повестку. Там будет сказано, куда и когда явиться. Следующий!

— Видите ли...— промямлил я.

— Вижу и объясняю русским языком. Ждите повестку.

Собравшись с духом, говорю вполголоса:

— Я уже не политсостав. Исключен из партии... Отовсюду...

— Чего же вы сразу не сказали? Почему не пришли к нам вчера, позавчера, месяц назад?

Военком впервые встретился со мной взглядом. Удивлен. Насторожен. Малость растерян. И больше всего раздосадован тем, что я задерживаю очередь.

Наплевать на то, о чем он думает, что чувствует. Я пришел сюда не в гости к нему. Спрашиваю:

— Имею ли я теперь право попасть на фронт в качестве рядового?

Военком ответил раздраженно, почти с гневом:

— Я не могу вас зачислить в ряды добровольцев.

— Почему?

— Звание вам присвоено приказом наркома, и лишить его тоже должен нарком. Предстоит длительная процедура. Приходите, когда схлынет народ, я вам объясню, что надлежит делать. Следующий!

Еще одно лишение. Хватит ли душевных сил?

Очевидно, мои мысли и переживания передались военкому, и он вдруг увидел меня тем, кем я был на самом деле.— попавшим в беду человеком. Он достал из ящика стола анкету.

— Заполните и вместе с военным билетом верните мне.
Я сделал, как было велено.

Прежде чем нарком лишил меня офицерского звания, прежде чем я прошел военную медкомиссию и получил военный билет рядового, минули долгие месяцы.

Фашистские орды гигантской дугой обложили Москву, ворвались в подмосковную Яхрому, форсировали последнюю водную преграду — канал Москва — Волга. Ужасное время. Отчаянное время. Смертельно опасное время. На площадях столицы появились сварные из рельсов и швеллерных балок «ежи» и противотанковые пушки. Многие обитатели Кремля, десятки правительственных учреждений, посольства покинули Москву. Воздушные тревоги сменяли одна другую. Станции метро превратились в подземные убежища, в гигантский табор.

Но и в этот грозный час мне не удалось получить оружие, стать красноармейцем, защитником Москвы — столичные военкоматы в середине октября потеряли интерес к таким, как я, военнообязанным и заботились главным образом о том, чтобы самим не попасть в немецкое окружение: грузили свои пожитки и куда-то спешно уезжали. Небо над Москвой заволочло дымом — горели секретные бумаги.

Начался массовый исход москвичей. Тысячи и тысячи людей, стар и млад, кинулись на восток, в узкую горловину, которая могла вот-вот быть перерезана вражескими танками. Кто на поезде, кто на машине, кто пешком. Поток беженцев подхватил меня, Любу и Сашу и через месяц, изголодавшихся, грязных, вшивых, вынес на Урал, на берега Камы, в город Пермь.

Тут, наконец, меня призвали и направили в минометно-пулеметное училище, которое я через полгода окончил в звании лейтенанта.

В декабре 1942 года морозным и вьюжным декабрьским вечером я сошел на станции Нефедово с поезда «Архангельск — Москва». Ветер со снегом насквозь продувал обмундирование новоиспеченного лейтенанта: коричневую шинель из тонкого ненашенского сукна, кирзовые сапоги и артиллерийскую фуражку — черный околыш и защитного цвета верх.

В Архангельске я вдоволь хлебнул лютого холода, а здесь, под Вологдой, еще холоднее. В одну минуту окоченел. Надо скорее укрыться в вокзал. Но где же он? Вокруг, в пределах видимости,— одни заснеженные вагоны на путях.

Навстречу, скрипя снегом, шагает с фонарем, в полушубке, валенках, шапке-ушанке железнодорожник. Спрашиваю: в какой стороне вокзал?

— У нас сроду не было вокзалов. Обходились разездом. Но и тот разбомбили. Под вокзал и станцию приспособили товарняк без колес. Во-он там...— железнодорожник махнул куда-то в белую мглу,— иди прямо...

Разбомбили... Далеко на север от Москвы. Под Вологдой. Об этом в штабе Архангельского военного округа, где оформляли мое назначение, ничего не слышал.

Значит, дивизия, куда меня определили командиром минометного взвода, формируется не в глубоком тылу, а в пределах досягаемости вражеской авиации. Значит, боевое крещение начнется здесь, а не на переднем крае. Кто знает, попаду ли вообще на передовую. Может быть, необстрелянная лейтенантская голова угодит под фашистскую бомбу вдали от фронта. Было бы ужасно погибнуть, не отправив на тот свет ни единого немца.

Бесколесный вагон, заменивший станцию, приткнулся на обочине железнодорожных путей. В торец врезана маленькая, с крылечком, дверь. Переступаю порог и в тусклом свете коптилки вижу двух мужиков. Один железнодорожник, другой — с петлицами интенданта. Военный вглядывается в меня, встает, протягивает руку.

— Здравствуйте, товарищ...— Он называет мою фамилию.— Здорово вы закамуфлировались, но я узнал. Ваш земляк и почитатель.

Радушие интенданта смутило меня. Мой довоенный почитатель, конечно, не знает, в какое пугало я превращен.

— Простите... лицо знакомое, но не могу вспомнить...

— Ничего удивительного. Мы с вами не были знакомы. Видел вас издали. Я — бывший секретарь Марьинского райкома партии. Теперь — заместитель командира 131-й стрелковой дивизии по тылу. А вы?..

— Я, как видите, лейтенант. Недавно закончил

военное училище на Урале, в Перми, и назначен отделом кадров штаба Архангельского военного округа в вашу дивизию.

Уточнение моего положения нисколько не охладило пыл интенданта.

— Вам очень повезло. Попали в героическую дивизию, защищавшую Сталинград до последней капли крови, до последнего бойца. Комдив у нас — полковник Песочин Михаил Александрович. Умница. Интеллигентный. Справедливый. В гражданскую воевал. Был военным советником в китайской Красной Армии.

Я счел своим долгом, хотя бы в двух словах, рассказать майору, что произошло со мной осенью позапрошлого года.

— Знаю, все знаю! — замахал на меня руками земляк. — И тогда не верил ни единому газетному слову, а теперь, когда мы все поумнели, — подавно не верю. В хорошей книге главные герои не действующие лица, а сам автор.

Вряд ли ведомо замкомдиву, что он исповедует веру бога литературы — Льва Толстого.

— Ладно, соловья баснями не кормят. Шагом марш, товарищ лейтенант, за мной. Накормлю, чаем напою и на теплой печке спать уложу. Есть здесь, при станции, нечто вроде тыловой штаб-квартиры дивизии. Пошли!

«Штаб-квартирой» оказался жарко натопленный бревенчатый дом, типичный для Севера: с полатами, печкой, холодными сенями, божницей и домоткаными половиками. Встретила нас дородная хозяйка. Она-то и накормила, напоила и спать уложила лейтенанта.

Проснулся я, по казарменной привычке, рано утром. Пахло сдобным тестом, растопленным маслом. В печи потрескивали дрова.

Едва успел умыться под рукомойником, как появился с мороза чуть заснеженный мой земляк, посланный судьбой. Война, как это ни парадоксально, с одной стороны ожесточила людей, а с другой — смягчила.

Земляк сообщил, что на станцию с минуты на минуту должен прибыть комдив Песочин: будет проверять службу тыла и движение грузов, предназначенных для дивизии.

Вскоре появился и сам комдив. Высокий. Стройный. Мужественно-красивый. Суровое лицо. Уверенность и спокойствие.

Земляк представил меня комдиву с такой значительностью, будто я должен занять пост начальника штаба дивизии, а не командира минометного взвода. Комдив с отсутствующим видом пожал мне руку и, кажется, сразу же забыл о моем существовании.

— Петровна, не заваришь нам чайку? — обратился он к хозяйке.

— Заварила, товарищ полковник. И завтрак приготовила: ваши любимые вареники с творогом в топленом масле и со сметанкой.

Сейчас, в голод, вареники с творогом? Да еще в топленом масле и со сметаной?

Комдив снял черные, кожаные, на меху перчатки, сбросил шинель на теплой подкладке и, потирая руки, сел за стол, накрытый чистой белой скатертью.

Мельком взглянув на меня, указал на стул:

— Прошу!

Пригласил и заместителя, но тот отказался, сославшись на неотложные дела. Попросив разрешения удалиться, он ушел, быстро закрыв за собой дверь, чтобы не напустить в дом холода.

Завтракаем вдвоем. Лейтенант без году неделя и полковник, командир дивизии. Чувствую себя скованным по рукам и ногам. Нельзя вводить человека в заблуждение — надо рассказать свою историю: исключен оттуда и оттуда, проштемпелеван так и этак. Комдив должен узнать правду от меня, а не из бумаг в засургученном пакете.

— Товарищ полковник...— начинаю я и достаю пакет с личным делом.

— Ешьте, ешьте, лейтенант! Первым делом вареники, а все остальное потом.

Чревоугодничаю, но ни на мгновение не забываю, что предстоит рассказать. Трудное это дело — вслух вспоминать, как тебя распинали, сдирали кожу, и при этом признавать справедливость наказания.

Сумею ли достойно поведать, что со мной случилось? Будут ли меня слушать?

Люди чаще всего плохо понимают друг друга. И не потому, что недоверчивы от природы,— разного рода обстоятельства не позволяют им быть самими собой.

В засургученном пакете официальные бумаги. Не сомневаюсь, что меня расписали таким, сяким и этаким, мазанным и перемазанным. Комдив Песочин обязан считаться с тем, что сказано в документах, а не с тем, что

услышит от меня. Мертвая бумага таит в себе большую силу, чем живой человек. Такова реальная действительность.

Покончив с варениками и принимаясь за чай, комдив спрашивает:

— Какое военное училище закончили?

— Пермское. На скорую руку созданное в Красных казармах.

— Преподаватели были хорошие?

— Неплохие. Во всяком случае, воевать научили.

— Смелое заявление.— Комдив засмеялся.— Воевать по-настоящему можно научиться только на поле боя. Весной сорокового я считал себя подготовленным военачальником, а война показала, что переоценил себя. В Сталинграде за три месяца боев нашей дивизии на улицах города, в домах и во дворах мы получили столько всего, чего не могла дать никакая военная академия.

Отодвинув стакан с чаем, комдив поднялся. Вскочил и я.

— В моей машине найдется место и для вас. Довезу до места назначения. Штаб дивизии располагается в поселке Плоском, а полки — в окрестных деревнях. Подождите меня здесь, пока я закончу дела с тыловиками.

Оделся и ушел. А я пью чай, смотрю на засургученный пакет и жалею, что не сумел, не успел выговориться. Не обернется ли это худом? Впрочем, чего бояться? Дальше фронта не пошлют, меньше минометного взвода не дадут.

Вскоре комдив вернулся. Приказным тоном бросил:

— Поехали!

Дорога пробита бульдозером в северных снегах. На обочинах слева и справа высоченные сугробы. Через полчаса, может быть, и того меньше, подъехали к старой, без крестов церкви. В ней расположен штаб 131-й дивизии. Комдив выходит из машины и дает знак, чтобы я следовал за ним. В церковном притворе крошечный кабинетик комдива. Стол, две табуретки. Зарешеченное окно.

— Садитесь! Здесь и начнем наш официальный разговор.

Я сел и положил на стол пакет. Комдив взял его,

подержал в руках, как бы взвешивая, и раздумчиво сказал:

— Нетрудно догадаться, что тут написано. Знаю, как делаются такие дела. Да и сам побывал в вашей шкуре, на волосок был от гибели. И потому склонен больше верить самому себе, а не чужому сочинению.

Все еще не вскрывая пакета, глядя мне в глаза, комдив сказал:

— Скажите, кем вы сейчас себя чувствуете? Минометчиком или писателем?

— Я чувствовал себя советским писателем даже в ту минуту, когда расставался с билетом члена Союза писателей. И теперь чувствую себя писателем.

Комдив пристукнул по столу кулаком.

— Я так и думал! В свое время я познакомился с вашей первой книгой. С тех пор составил о вас твердое мнение, которого и сейчас придерживаюсь. И потому скажу все, что думаю. Уверен, что вы будете гораздо полезнее для фронта в качестве писателя, а не командира минометного взвода. Кстати, в боевых условиях минометчик живет в среднем, как показал опыт обороны Сталинграда, менее двух недель. И писатель, конечно, уязвим для пуль, но все-таки не так, как минометчик. Писатели Симонов, Гроссман прошли через Сталинград и остались живы, написали великолепные очерки о битве на Волге. Короче говоря, товарищ лейтенант, мое решение такое: командовать минометным взводом я вас не пошлю. Как только попадем на фронт, начнем воевать, прикомандирую вас к дивизионной газете военным корреспондентом. А пока, до фронта, будете состоять при штабе дивизии, как бы моим личным порученцем. Вот и все. Устраивайтесь на квартиру. Нет, еще один вопрос. Вы женаты?

— Да, имею пятилетнего сына.

— Жена, семья, конечно, эвакуирована?

— Да. Живет на Урале, в Перми.

— Бедствует?

— Как все солдатки.

— Больше вопросов нет.

Комдив разорвал конверт, пробежал глазами написанные в нем бумаги, усмехнулся и ничего не сказал.

Поселили меня в теплом бревенчатом доме, стоящем на краю поселка, на опушке заснеженного леса. Выдали новенький белый полушубок, валенки, суконные галифе, гимнастерку, овчинную безрукавку, хромовые сапоги,

ушанку и кобуру с пистолетом и запасной обоймой. Оружие... Доверили!

А на другой день вызвал к себе комдив и, ничего не говоря, вручил бумагу с коротким, напечатанным на машинке текстом, с круглой печатью, с номером воинской части и с подписью ее командира. Это был так называемый «вызов». В нем сказано, что моя жена такая-то с сыном, эвакуированная из Москвы на Урал, направляется в населенный пункт Плоское по месту службы мужа. На основании этого документа Люба сможет получить пропуск в милиции города Перми и приехать ко мне. Неделю — другую проживем вместе под вологодской крышей, прежде чем надолго, может быть и навсегда, расстаться.

— Своей жене я уже послал вызов. Так что теперь дело за вашей, товарищ лейтенант.

Приехали, родные и милые. Семья... Самая лучшая форма жизни, полная разумного и поэтического содержания.

Новый, 1943 год встречаем в доме комдива Песочина. Были новогодние тосты, поздравления, всяческие пожелания друг другу, были патефонная музыка, танцы, веселье, пироги, хмельное. Веселился и я. С тех пор как стал общаться с полковником Песочиним, перестал быть отчужденным от мира сего. Для Песочина я человек, достойный доверия, уважения, способный сделать немало хороших дел. И этим он возродил меня.

Танцуя с Песочиним, Люба обеспокоенно спросила:

— Не пора ли нам с сыном уезжать?

— Не волнуйтесь. Я скажу, когда вам уезжать.— Лукаво улыбнулся и добавил: — И провожатого дам.

Да святится Ваше имя, Михаил Александрович Песочин! Да будет весь Ваш род в десятом и двадцатом колене таким же человеческим, как Вы! Пусть минует Вас вражеская пуля.

Не дошли до неба мои молитвы.

Генерал Песочин, командир дивизии, штурмовавшей весной 1945 года столицу Силезии Бреслау, был убит. Похоронен в Киеве, на Владимирской Горке, на кладбище героев Великой Отечественной.

Январь 1943 года.

На ясном небосклоне появились грозовые тучи. Мой донецкий земляк и кое-кто из доброжелательных штабных

офицеров доверительно рассказали, что на комдива Песочина жмут сверху: почему он использует не по назначению лейтенанта такого-то, бывшего писателя, автора антисоветских произведений, исключенного из партии и Союза писателей? Комдив наскоки отразил, сказав, что ему виднее, где и как с наибольшей пользой использовать присланного лейтенанта.

Я поверил слухам, однако с тревогой присматривался к Михаилу Александровичу: не дрогнул ли? Не сожалеет ли, что не побоялся опального?

Нисколько бы я не обиделся, если бы заметил перемену. Все мы люди. Плетью обуха не перешибешь.

Нет, не переменялся. Если и переменялся, то к лучшему. Посылает с поручениями туда и сюда... Рассказывает о летних боях дивизии в Сталинграде.

Когда я вхожу в офицерскую столовую, он, сидящий в углу, у окна за отдельным столиком, повелительным жестом приглашает к себе. Вместе завтракаем, обедаем, ужинаем. По вечерам иногда играем в шахматы.

А что же я? Каким был все это время? Восторгался позицией сталинградца, и было страшно за него: может голову потерять, если до Верховного дойдет, как человека в маске пригрели в 131-й дивизии. Со дня на день ждал, что мое положение круто переменится вмешательством сверху. Скорее бы на фронт. Там все упростится. Кровь и смерть искупают грехи, оплачивают несправедливые счета.

Все ли? Есть такого рода прегрешения, за которые придется отвечать потомкам грешника: сыновьям, дочерям, внукам, правнукам, праправнукам.

Любу и Сашу, сразу после Нового года, раздобыв пропуск, отправил в Москву. Провожатым был я. А вскоре и сам покинул Плоское. Вместе с дивизией.

Для того чтобы подвести полнокровное соединение к фронту, понадобилось немало эшелонов: теплушек с двухэтажными нарами и платформ для орудий и инженерного имущества. Приехали на фронт и несколько тысяч необстрелянных лошадей. 131-я сталинградская дивизия, согласно приказу о секретности, стала скромно называться хозяйством Песочина. И грозное на самом деле, хорошо вооруженное, обученное военному делу хозяйство, хозяйствогромадина, двинулось по Вологодской земле на северо-запад, к землям, прилегающим к Ладожскому озеру, к Неве, Ленинграду и Балтийскому морю. Шесть дней и ночей эшелоны пробивались к

фронту. Сквозь бомбежки, развалины, заносы, метели. Остановки — длительные, движение — скоростное. Стучали на стыках рельсов колеса теплушек. Тревожно ревел паровоз. Время от времени погромыхивали эшелонные зенитки и тархтели пулеметы. Ветер доносил в штабной обрывки лихих песен, звуки баянов и гармоний, бушующих в жарко натопленных теплушках. Мелькали разрушенные и чудом уцелевшие станции, скованные льдом речки, мосты и прямые столбы дымов над белыми деревьями и поселками. Чернели среди зимней белизны еловые леса.

До войны, до начала блокады и осады Ленинграда, в город вели десятки земных дорог. Сейчас осталась одна: из Кабоны. Трасса длиной в сорок километров проложена по льду Ладоги, обвалована сугробами и льдом. Охраняется зенитками. Чисто русское чудо называется Дорогой Жизни.

Вот сюда, в Кабону, и прибыло хозяйство Песочина. Для того чтобы под покровом ночной темноты, пешим порядком совершить бросок через Ладогу, находящуюся под обстрелом тяжелых вражеских орудий и почти непрерывной бомбежкой с воздуха.

Бросок начался перед заходом скупого на свет и тепло северного солнца. С твердой земли на скользкий лед выходили полк за полком, батальон за батальоном. Больше всего русаков-северян. Полушубки, ушанки. Рукавицы, варежки. Валенки. Оружие всех видов. Белые сани с лыжами вместо полозьев, а на них минометы, станковые пулеметы, боеприпасы, противотанковые ружья. Играет духовой оркестр. Развеваются на ветру красные флаги, укрепленные на большой, вроде бы Триумфальной арке, вмороженной в прибрежный лед. Каждая колонна, под звуки марша духового оркестра, прошла под этой голубой аркой. Завтрашние защитники Ленинграда проходили под аркой и, казалось, говорили: «Вот оно какое дело, братцы-сталинградцы! Мы еще воевать не начали, а нас сквозь арку Победы протащили. Аванс выдали. Так оправдаем его, славяне!»

И я прошел под аркой Победы и, ступив на лед Ладоги, устремился к Ленинграду по Дороге Жизни. Шагал с музыкой и солнцем в душе, не предчувствуя, что в условиях почти непрерывного житья-бытья на переднем крае мне предстоит выиграть не одно сражение с хулителями, гонителями, притеснителями, находящимися по

эту сторону фронта. Надо было одержать победу и над собой: не утратить человеческого достоинства и естественного желания жить.

Из фронтовых писем

Ленинград, 6 февраля 1943 г.

Здравствуй, Любонька! Здравствуй, Сашуша! Чувствуете ли, как я близко от вас? Сажу на берегу торосистой Невы, смотрю на низкое, хмурое небо и всем сердцем с вами. Все стало хорошо с того момента, как мы побратались с Мих. Александровичем. Были мы неразлучны шесть суток. Помнишь октябрь позапрошлого года, нашу эвакуацию? Так вот, мы жили там, где ты жила с Майкой и другими женщинами, — в теплушке. Только у нас было больше соломы, вольготнее и сытнее. Мы ехали, стояли, попадали под зимнюю грозу, читали, ели, спали. И говорили, говорили. На много месяцев вперед наговорились. Хороший он, мой друг. Бескорыстный совершенно. Военная косточка и вместе с тем большой интеллект.

Сейчас я уже в редакции, приступил к работе. Туговато дело продвигается, будто впервые пишу для газеты. Лиха беда начало! С трудом одолеваю намеченную тему.

Не верь, Любонька, моим наговорам на себя. Развернусь, дай срок. Просто отвык от газетной работы — отсюда и затруднение. К тому времени, когда получишь это письмо, фронтовой очерк будет готов. Надеюсь, бывший правдист не оплошает на страницах дивизионки.

Через несколько дней буду там, где и должен быть. Власко и некоторые другие мои товарищи уже ходили на наше новое местожительство — на смотрины. Ничего, понравилось. Многолюдная улица. Можно сказать — главная магистраль. Прямая как стрела, летящая с севера на юг. О ней когда-то писал любимый тобой Радищев.

Понятна тебе моя писанина? Если нет, осваивай поскорее. Почерк мой испортился — придется тебе расшифровывать ребусы и каракули. У нас мороз, ветер и огненные закаты вполнеба.

Милая Любонька, посылаю тебе со счастливой оказией странички своего фронтового дневника, которые военная цензура зарезала бы, если бы я отправил обычным

путем, почтой. Надеюсь, не обманет мой фронтовой доброжелатель, корреспондент столичной газеты.

Был на переднем крае, где нет окопов. Почему? Не успели вырыть? Лень? Нет, что ты. На переднем крае ленивые не уживаются. Земля насквозь промерзла. Низменная местность. Близко к поверхности подпочвенные воды. Заполняют самую маленькую выбоину или ямку. Где же и как укрываются бойцы во время вражеского обстрела? Соорудили наземное овальное гнездо с круговой обороной, толщиной в два метра, такой же высоты, с амбразурами через короткие промежутки. Сокрушить его можно только прямой наводкой, что немцам в данное время недоступно. Надежное укрытие. Смертельно только прямое попадание, что случается крайне редко. При мне, к счастью, не было ни одного.

Спрашивается, где же бойцы переднего края раздобыли строительный материал для оборонительного гнезда? Уложили по кругу плечо к плечу отвоевавшиеся тела однополчан, убитых во время последнего наступления местного значения, облили водой. Поверх первого ледяного слоя нарастили второй, потом третий и так далее. Представляешь?! Мертвые защищают живых. На войне как на войне. Нет ничего более бесчеловечного, как война.

Однако и на войне люди ухитряются, нет, умудряются оставаться людьми. Внутри «бублика» постоянно горит скромный костерик, нечто вроде вечного огня. Вокруг него и роятся в часы затишья люди переднего края. Курят, спят. Рассказывают байки. Вспоминают. Размышляют. Мечтают. Судят. Выносят приговоры. Пытаются разгадать государственные, мирового масштаба тайны. Читают газеты. Чистят оружие и даже хохочут.

Не представляешь? Не укладывается в голове? Что ж, это нормально для тебя, живущей в Москве, под крышей, в теплом доме.

Для фронтовика-ленинградца, воюющего главным образом в окопах да «бубликах», тоже нормально — жить и оставаться сильным и непобедимым в нечеловеческих условиях. Тем и могуч отдельный человек и народ, что он в тяжелые для себя часы, дни, годы силой своего духа преобразует нечеловеческие условия в человеческие и в конце концов преодолевает самые страшные препятствия.

Думаю, ты без труда уловила наши личные мотивы в том, что я рассказал. Да, мы с тобой, поставленные волей всевышнего еще до войны, в сентябре сорокового года в нечеловеческие условия, остались людьми. Сами создаем для себя человеческие условия. Каждый день жизни берем с боем и медленно, но верно продвигаемся к свету, справедливости, правде.

Недолго я пробыл в «бублике» около огня, отраженного ледяным валом, но он останется в моей душе на всю жизнь.

Вот такие мои дела, Любонька. Хорошее попеременно с плохим. Хорошее, как это ни кощунственно звучит, вливается в меня чаще всего на переднем крае, плохое — в тылу, когда я остаюсь наедине со своими мрачными мыслями. «Человек в маске». Какой чудовищной фантазией надо обладать, чтобы сказать такое мне прямо в лицо!

Уверен, Любонька, что ты с ужасом начала читать это письмо, а кончила со спокойным челом.

Умница!

Я давно, еще по ту сторону блокадного кольца, на Большой земле, в Плоском, подозревал, что моей личностью заинтересовался оперативный уполномоченный Смерша — так теперь называется чекистский Особый отдел.

Тебя, разумеется, испугало слово «Смерш», хотя ты не знаешь, что это такое. Да, верно, звучит страшно. Страшно и по смыслу. «Смерть шпионам». Знающие люди говорят, что Верховный именно так приказал именовать довоенный Особый отдел Красной Армии. Что ж, это правильно. Шпионы, предатели, изменники Родины должны знать, что их ждет эшафот с перекладной и веревочной петлей.

Ясно мне, против кого направлен карающий меч Смерша, однако я похолодел, весь внутренне сжался, когда уполномоченный, назовем его Журавлевым, с четырьмя капитанскими звездами на погонах, встретив меня на берегу Невы, пригласил к себе в гости на вечерний чай.

Поднимаясь на второй этаж бывшей заводской конторы, где разместился капитан Журавлев со своим ординарцем, я со страхом подумал: «Вот и конец. Подошел мой час. Арестуют, осудят и проговорят к расстрелу»

Никаких оснований для этого нет, но разве они были тогда, когда меня объявили «человеком в маске, антисоветским писателем» и втащили на Голгофу?

Мы вошли в большую комнату с канцелярскими шкапами, столом, печкой-буржуйкой и раскладной походной кроватью.

Журавлев, к моему удивлению, потирая руки и дружески улыбаясь, действительно устроил самое настоящее чаепитие. На столе появилась сахарница, полная сахара, тарелка с печеньем, банка с вареньем, сухая колбаса, чашки с блюдцами. Я был скован и пил чай, обжигаясь, не замечая, сладкий он или горький, крепкий или слабый.

Капитан счел своим долгом приободрить меня. Сделал он это на свой лад.

— Почему к сахару и закускам не притронулись? Чай не водка, его положено употреблять с сахаром да еще с бутербродом и печеньем. Ешьте и пейте, как говорится, от пуза. Не стесняйтесь.

Я попытался мысленно оправдать свою скромность, вернее растерянность, естественную в моем положении «человека в маске, антисоветского писателя».

— Знаете, я с начала войны приучил себя отвыкать от сладкого чая, от сытой пищи.

— Плохая привычка. Привычка тыловика. Она не к лицу фронтовику.

Говорит и улыбается. Доброжелательный, молодой, красивый капитан-здоровяк. Больше похож на веселого конферансье, заискивающего перед публикой, чем на грозного работника Смерша. И все-таки я был настороже. Не только для чаепития пригласил меня Журавлев, а для чего-то другого. Видимо, решил прощупать меня в дружеской беседе.

Не переставая улыбаться, он расстегнул планшетку, достал из нее оранжевый тончайший листок бумаги, положил на стол, бережно разгладил и спросил:

— Как вы думаете, что это такое?

Я пожал плечами. Сознаюсь, покривил душой. Я уже догадывался, какого рода документ оказался в руках уполномоченного. Снова, как в Киеве на Крещатике, когда улицу переходил расклейщик афиш, я почувствовал надвигающуюся беду.

Опасность часто невидима, не имеет ни цвета, ни запаха, но все-таки она материальна: наполняет душу мраком, давит на сердце. В данном случае опасность

излучала оранжевая бумага, заполненная жирными типографскими строчками. Ни единой буквы не разглядел, но был уверен, что напечатана какая-то очередная клевета, направленная против меня. И тут, проклятая, настигла, чтобы смертельно поразить.

— Оказывается, ваши очерки, напечатанные в нашей дивизионной газете, читают не только по эту сторону фронта, но и по ту. Видимо, Геббельса и его борзописцев встревожила ваша творческая активность и было решено нанести по вас удар, — сказал Журавлев, согнав со своего лица улыбку. Он протянул мне оранжевую бумагу. — Это немецкая листовка, посвященная вам, товарищ лейтенант. Вчера над нашим расположением разбросаны с самолета сотни, а может, и тысячи таких листовок. Считаю своим долгом ознакомить вас с целенаправленным посланием фашистских провокаторов.

То ли потемнело в моих глазах, то ли искры посыпались, то ли ослеп. Держу листовку, смотрю на нее и ничего не вижу. Сплошная темнота. Видимо, нервная слепота внезапно поразила меня. Прошло значительное время, пока я смог видеть. Медленно, вникая в каждую строку, прочитал то, что Журавлев назвал посланием. Ловкая оперативная работа. Кратко и толково рассказано, что произошло со мной осенью сорокового года. Кончается листовка таким абзацем. «Вот так расправляется «гений всех времен и народов» даже с теми, кто боготворил его. Славные бойцы и командиры Сто тридцать первой дивизии! Каждого из вас рано или поздно ждет такая же участь! Штык — в землю, камарад! Переходи на сторону Великой Германии, которая встретит тебя с распростертыми объятиями. Пусть эта листовка служит тебе пропуском в мир справедливости и всякого благополучия. С нами бог и бессмертный фюрер Адольф Гитлер».

Ужасная минута. Потерянно молчу. Не знаю, что сказать. Огонь полыхает во рту, а душа и сердце леденеют.

Журавлев положил обе руки на мои плечи.

— Не убивайтесь, товарищ лейтенант. Вашей вины в этой затее фашистов нет. А эту бумаженцию можете оставить себе на память. Пригодится, когда после войны будете писать о фронтовых переживаниях.

Вот она, тайная коварная цель особиста — навязать мне листовку под благородным предлогом, а потом нагрянуть с обыском, обнаружить неопровержимую улику

моей виновности перед государством, которая карается расстрелом.

Мне стало совершенно ясно все, о чем я только догадывался: с тех пор как Сталин обрушил на меня свой гнев, органы безопасности не спускают с меня глаз, собирают компромат. Если не находят, так выдумывают. Сколько еще лет или месяцев будут охотиться за мной? До самой смерти, наверное. По правде сказать, не думал я, что и на фронте, под пулями и снарядами фашистов буду числиться в тайном списке опасных государственных преступников.

Я швырнул на стол оранжевую листовку с такой стремительностью и с таким ужасом, будто она была гремучей змеей.

Вот и все, Любонька, что сейчас я способен тебе написать об этой чудотворной истории. Много в ней недосказанного, не до конца разгаданного. Но ты, Любонька, я уверен, постепенно, а может быть, и сразу разберешься что к чему.

Не знаю, как на тебя подействовало мое сообщение, но я не мог не рассказать тебе еще об одном душевном потрясении в моей жизни. Сколько их уже было! И сколько еще будет! Самое время вспомнить разговор протопопа Аввакума с женой во время их тяжких испытаний. «На меня, бедная, пеняет, говоря: «Долго ли мука сия, протопоп, будет?» И я говорю: «Марковна! До самой смерти». Она, вздохня, отвечает: «Добро, Петрович, ино еще побредем».

Побредем, Любонька, побредем и по кровавым дорогам войны, на которых немало добрых людей, таких, как Песочин. Добром, а не злом держится наш мир. И не везде, слава богу, высятся пьедесталы и Голгофы.

Ленинград, 7 февраля 1943 г.

Приступаю к письму после долгого раздумья. О чем тебе, любимая, сегодня написать? О том, чего еще нет, но что непременно будет? Все мои чувства, все помыслы там, где меня нет, но где скоро буду. Теперешняя моя жизнь кажется ненастоящей, временной. Ты улыбаешься: обычная, мол, для моего характера склонность к преувеличению. Нет!

...Сегодня утром плакал. От радости. В тот момент, когда мне сказали, что в Германии объявлен траур по случаю пленения армии Паулюса. Не помню более счастливого

момента в жизни, чем вот этот. Траур в Германии!

Жду от тебя письма с отчетом о разговоре с Ортенбергом. Не тревожусь почему-то. Возможно, волнение другого характера тому причиной.

Ленинград, 8 февраля 1943 г

Вчера долго бродил по Ленинграду. Разумеется, тебе хочется знать, как выглядит город. Он представлялся мне в гораздо худшем виде. Центр целехонький. Все разрушения восстановимы. И люди тут гораздо веселее, чем я думал. И дети есть. Видел детский сад в полном составе на прогулке. Кое-где ребята играют в снежки. Ходят трамваи. Работает электростанция, радио, телефон, театры, цирк, кино.

Конечно, еще многого я не видел. Да всего в письме и не опишешь.

Ложусь поздно — работаю. К уральской повести даже не притрагивался. Потихоньку делаю очерки для «Красной звезды». Пока написал один. «Дорога жизни — Ладога». Сегодня ночью буду отделявать.

Ах, Любонька, так хочется, чтобы вы с Сашей не бедствовали! Вы — самое дорогое в моей жизни — как же мне не беспокоиться! Жалко, что пока я могу беспокоиться только словесно. Ничего, потерпите!

Ленинград, 12 февраля 1943 г.

Сегодня узнал, что письма идут в Москву 20 дней. Очень огорчен. Получишь, стало быть, ты это письмо в марте. А в марте у меня будет совсем другая жизнь, другое настроение, и у тебя сложится неверное представление обо мне.

Последние дни живу плохо. Желание как можно скорее сделать что-нибудь для Ортенберга привело меня к тому, что я дни и ночи корпел над очерками. Но, к счастью, не отослал ни одного. Нет в них того сока, той плоти, какой хочется.

Завтра и послезавтра я и все мои товарищи, известные тебе, приступим к работе на главной магистрали. Каждый — по своей специальности. Я — как писатель. Свершится долгожданное. Об этом дне я напишу отдельно, подробно.

12 февраля 1943 г.

Где только мне не приходилось коротать ночь: в землянке, битком набитой народом, в блиндаже, сотрясаемом недалекоими взрывами снарядов, в окопе, у костра, разложенного внутри здания без крыши, в штабе полка, положив голову на краешек стола, на охапке сена, среди артиллерийских лошадей. А сегодня, в ночь перед наступлением на нашем участке фронта, меня, вместе с солдатами, втянула в свое нутро гигантская гофманская печь бездействующего кирпичного завода. Убежище хоть куда. Своды и стены, выложенные из огнеупорного кирпича, толщины неимоверной — обыкновенный снаряд не пробьет, только тяжелому по силам. Ни мороз, ни ветер нам не страшны — обогреваем пещеру своим дыханием да еще костерком, разложенным в центре печи. В тесноте, да не в обиде. Каждому бойцу нашлось местечко. Чувствуем себя не только сносно, но и просто хорошо, что в условиях неподвижного фронта с его сплошными развалинами и гофманская печь — роскошный и надежный приют. В сто раз лучше, чем в окопах переднего края или в траншеях второй линии обороны. Тепло. Светло. Не угарно. Сверху не каплет, не снежит, не продувает. Клопы не беспокоят, не говоря уже о немцах, их ракетах и пулеметных очередях.

Неприхотливость фронтовика, вернее, его умение приспособиться к самым тяжелым, казалось бы, невыносимым условиям жизни является неотъемлемой, может быть, главной частью того, что называется героизмом. Фронтовик постепенно втягивается в свое трудное житье-бытье и тем самым закаляется, готовит себя к боям — к высшему физическому, нравственному, политическому, а в совокупности — жизненному испытанию. Испытанию на душевную прочность.

Люди, заполняющие гофманскую печь, готовились встретить завтрашний день. Кто писал письмо домой, кто курил сигарку за сигаркой, кто вспоминал былое, кто делал генеральный смотр личному оружию, кто подшивал белый подворотничок гимнастерки, кто погрузился в думы, глядя на тихий огонь костра, кто бесцельно переключивал в вещевом мешке небогатое добро, кто играл в карты, кто ухитрялся читать дивизионную газету, кто перед карманным зеркальцем махонькими ножничками подстригал себе чуб и виски, кто грыз сахар, кто мурлыкал песенку, кто травил смешные

анекдоты, кто рассказывал о жене и ребятишках, кто пытался вздремнуть, кто переобувался раз, другой и третий, удобнее прилаживая портянки.

И никто, ни один человек не говорил о том, что предстоит завтра. И все, конечно же, думали об этом. Скрытая работа мысли? Долгий и пристальный взгляд в пережитое? И попытка разглядеть затуманенное будущее? Может быть, дальше завтрашнего дня никто и не пытался проникнуть?

Всю ночь вслушивался в то, что говорили, запоминал лица. Пытался угадать, как проявят себя в завтрашних боях. Ни один боец не показал, что его гложет тоска предчувствия непоправимого. И еще я убедился, что человек до последней минуты надеется на свою неуязвимость, верит в победу над врагом и над смертью.

Без такой надежды, без такой веры в свое бессмертие немислима была бы любая война. Самовнушение, может быть, самое сильное оружие солдата.

Смотрел, слушал, думал, писал. Всю ночь не сомкнул глаз, и сам собой сложился очерк «Ночь перед штурмом». Так я его и назвал.

Внимательно прочти — и ты получишь полное представление о том, что делают, что говорят, какими бывают люди перед боем.

Не произносились клятвы, не было трибунных речей, не брали под чьим-то нажимом повышенных обязательств, не украшали друг друга пышными словесами. Оставались живыми людьми. Далеко не красавцы и не молодцы-герои и все же внушали к себе величайшее уважение, убеждали в своей силе.

Хорошую ночь я прожил. И зарядился энергией и вложил ее в очерк. Перепечатай, Любонька, рукопись, исправь возможные огрехи и отнеси в «Красную звезду».

Не огорчило ли тебя мое слишком деловое письмо? Все, что я теперь делаю, все, чем живу, чего добиваюсь, — все пронизано, пропитано любовью к тебе, к Саше. Любовью и желанием вам лучшей жизни.

13 февраля 1943 .

На передовую, в самое пекло боя меня никто не посылал. Ни комдив, ни комиссар, ни редактор газеты не знают, где я и что делаю. Занесла меня сюда, в боевые порядки наступающей пехоты, необходимость видеть войну собственными глазами.

Прорвав первую линию на ближайших подступах к Ижорскому заводу, оставив позади себя разгромленные доты, дзоты, стальные колпаки, блиндажи, глубокие землянки, разветвленную сеть траншей, полных всякого домашнего скарба, вплоть до самоваров и спиртовых кофейников, под непрерывным огнем немцев продвигаемся вдоль железной дороги Ленинград — Москва. Впереди слева — станция Поповка, справа — Красный Бор. Тут же, где-то рядом, как свидетельствует топографическая карта, Степановка. Все эти населенные пункты должны быть взяты нами несколько часов назад, но мы топчемся на промежуточных рубежах. Пехота рассредоточилась по обе стороны железнодорожной насыпи, в болотной низине, залегла в свежих воронках. Всюду, куда ни глянь, вздымаются к небу черные столбы земли и болотной жижи. Тарахтят пулеметы, немецкие и наши, и при этом ярко-ослепительно светит солнце с чистых, голубеющих небес. Не верится, что в такое чудесное время люди убивают друг друга.

Противоестественно это — бойня для людей.

Противоестественно и нежное солнце, черные проталины с проблесками прошлогодней травы на возвышенных местах, весенняя свежесть и льющаяся по всему фронту кровь, стоны и крики раненых, вечное молчание убитых парней, виновных лишь в том, что освобождают родную землю. Противоестественна, бесчеловечна блокада, за которую Ленинград заплатил сотнями тысяч жизней, задушенных зимой сорок второго жестоким голодом и холодом, обстрелами, бомбежкой, безысходной тоской. Противоестественно, что фашисты дошли до Волги, до Большого Кавказа.

И совершенно естественно, в высшей степени справедливо, что окружена и пленена армия Паулюса, что мы, ленинградцы, уничтожаем сейчас немцев, окопавшихся в высокой насыпи железнодорожной магистрали Ленинград — Москва. Наконец это произошло.

Вот, Любонька, какого рода мысли владели мной. И в то же время не покидали меня и сиюминутные думы. Я был удивлен и озадачен, увидев в выемке насыпи, между двумя откосами, на обочине магистрали, метрах в тридцати от себя здорового старшину, повязанного фартуком, с длинным ножом в окровавленных руках. Рядом лежала наполовину разделанная лошадь в хомуте. Перед старшиной стоял стол с магазинными весами и гирями. Почему на передовой оказались весы?

Откуда? Зачем? Неуместные глупые вопросы? Конечно!

На том месте, где мгновение назад находился старшина с ножом в окровавленных руках, разорвался снаряд и образовалась воронка. Человек со всем остальным исчез. Представляешь, каково это видеть?

До сих пор перед глазами стоит широкоплечий боец с гирями и...

А ведь я направлялся к нему. Несколько секунд не хватило, чтобы разделить его участь. Удача? Для меня — да. Радость вперемежку с горем? Не знаю. Оглушен. Растерялся. Ничего не соображаю, что к чему? И с большим опозданием падаю в канаву. Лежу, уткнувшись лицом в землю, и жду очередного разрыва снаряда. Куда упадет?

Не знаю, сколько времени лежал и ждал, томился. Больше ни единый снаряд не разорвался в створе магистралей. Мимо, мимо. Дальше и ближе.

Встал, отряхнулся, зыркнул по сторонам. Некому меня осуждать — ни единого бойца нет в выемке. Один лейтенант — я. Наедине с самим собой. Стыдно стало за себя, Любонька. За то, что испугался, за то, что беспамятно упал в канаву уже после разрыва снаряда. За то, что долго лежал, долго приходил в себя. Никакого оправдания не находил себе. Скажу по совести: не ждал такой выходки. Был уверен, что бесстрашно буду шагать по переднему краю.

Немалое время потребуется, чтобы освоиться с войной. Так утверждают бывалые фронтовики.

Куда теперь идти военному корреспонденту? Слева и справа разрываются мины и снаряды, визжат пули. В какую сторону ни направляюсь, всюду передний край.

Иду куда ноги несут. Свернул влево, в низину и, пробежав, согнувшись, метров сто, очутился в большой обжитой воронке.

Три бойца в замызганных шинелях и шапках, тяжеленная ребристая плита восьмидесятидвухмиллиметрового миномета, косо поставленный на ней ствол. Ящики с минами. Минометчики! Моего поля ягоды. Один опускает мины в ствол, другой подает, третий управляет прицельным прибором. Все трое, не прекращая стрельбы, с удивлением смотрят на незнакомого лейтенанта. Кто такой, мол. откуда и зачем ворвался на огневые... Сейчас, братцы, сейчас скажу, дайте отдышаться.

Переведа дух, сидя на корточках у подножия миномета, ощущая тепло сильно нагретого ствола, объясняю, кто я и зачем сюда пожаловал. Минометчики подобрили. Делают свое дело и рассказывают.

— Стреляем по ближним тылам, товарищ лейтенант, не даем подбираться подкреплениям.

— Ну и как?

— Не зря пуляем. Немецкие подкрепления несут большие потери. Так сообщают наблюдатели.

Сержант, командир отделения, он же и наводчик, стреляет и говорит. Он не слышит и не видит, что вблизи от воронки, где он устроил огневую позицию, часто разрываются немецкие снаряды и мины. Я тоже хочу не видеть и не слышать, как ожесточенно сопротивляется противник, какой стеной огня отгородился от наступающих. Мне кажется, как всякому новичку, что каждый снаряд и каждая вражья мина нацелены на меня. Однако вида не подаю. Интересуюсь, давно ли минометчики воюют, откуда родом, как величаются.

Подносчик боеприпасов — Холмогоров Сергей Матвеевич. Заряжающий — Барышников Василий Петрович. Сержант и командир отделения и наводчик — Котомка Иван Трифонович. Всем вместе чуть меньше шестидесяти лет. Вологодские ребята. Деревенские. В боях участвуют впервые. Воюют с рассвета и уже успели набраться опыта.

Я их расспрашиваю, они — меня. Я — для газеты, они — так, для того, чтобы не молчать, чтобы веселее было, чтобы заглушить непрошенные мысли.

Стреляют, беспричинно смеются, подшучивают друг над другом, а заодно допытываются, как я попал в газету, обучен в институте или самоучка, почему у корреспондента всего-навсего лейтенантское звание, когда напечатаю статью и как ее назову. Отвечаю на вопросы, а сам глаз не спускаю с заряжающего Барышникова, люблюсь тем, как он одну за другой опускает мины в ствол. Стальные, неокрашенные, аккуратно выточенные. Левой рукой принимает, правой опускает. Без передышки.

— Вася, дай и мне пострелять. Я окончил минометно-пулеметное училище.

Барышников охотно уступает лейтенанту место заряжающего. Осторожно, как ребенка, он передает в мои руки красиво обработанную мину, и я, с сильно бьющимся сердцем, опускаю восьмидесятимиллиметровую

мину в горячий ствол. И она тут же, ударившись днищем о боек, вылетает на волю и, описав крутую траекторию, видимая и невидимая, летит к немцам. Еще не успела взорваться, рассыпаться на сотни осколков, а ее уже догоняет вторая. Потом третья, четвертая, пятая устремляются к цели. Стреляя, забываю, что меня ищут немецкие снаряды, что смерть обложила нас со всех сторон.

Командир отделения, приложив руку ко лбу, вглядывается из-под нее. Смотрел, смотрел и весело воскликнул:

— Прямое попадание, товарищ лейтенант! В темечко Гитлера кокнули.

— Хорошо бы!.. — откликнулся в тон Котомке юный солдатик Вася. — Война сразу бы кончилась.

В голубом солнечном небе бесшумно распустились две парных ракеты, обе красные. Наши? Конец «перекуру» на промежуточном рубеже? Так и есть! Наступление продолжается. Вологодские ребята мгновенно собрали свое тяжелое снаряжение и короткими перебежками бросились туда, откуда светило солнце, — в сторону далекой Москвы.

Ожила, стала многолюдной заснеженная равнина, изрытая воронками. Молча, сноровисто, деловито пробегали простреливаемое пространство солдаты. Падали, стреляли, вскакивали и бежали дальше. Многие не могли оторваться от земли, наверное, навсегда остались здесь лежать.

Вот и все, Любонька, что было со мной на переднем крае в первый день наступления. Нечем вроде бы гордиться. И тем не менее я чувствую, что прожил первый свой день с пользой. Напишу очерк о минометчиках! Видел наступление своими глазами, сделал свой первый шаг, шаг фронтовика. Посмотрим, как буду дальше шагать. Очень интересно, куда доберусь. Неужели судьба уготовит мне счастье — дойти до Берлина?

14 февраля 1943 .

Вчера был в боевых порядках наступающей пехоты, сегодня потянуло к артиллеристам, сопровождающим своим огнем атакующие взводы, роты, батальоны. Сопровождали... Два или три часа назад. Сейчас — обеденный перерыв. Стволы орудий остыли. Пустые гильзы убраны. На позиции, в артдвориках наведен тот строгий

порядок, который издавна присущ интеллектуальным воинам, богам войны. Орудийные расчеты, окружив полевую кухню, стоя, держа в руках солдатские котелки, поглощают только что сваренный борщ из сухих овощей и перловую кашу. Аппетиту способствует свежий морозный воздух, медленно падающий с неба пушистый снег и законные наркомовские сто граммов спиртного. Пьют, шумно крикают, смеются, шутят. И ни единого слова о том, что недавно делали, то есть воевали.

Комбат, старший лейтенант Захаров, как я узнал мгновение спустя, сидел на обрубке бревна и утолял голод и жажду.

Достаю удостоверение редакции, представляюсь. Старшой, чуть подвыпивший и оттого веселый, беспечный, с полным ртом непрожеванной пищи, восклицает:

— Верю, верю! Спрячь свой мандат, лейтенант, да садись, потрапезничай со мной. Вот колбаска, правда мерзлая, не угрызешь, вот каша, жизнь наша, вот святая наркомовская водица.

Протягивает флягу с водкой, краюху черного хлеба.

Люди на передовой живут по-братски и каждого, кто сюда ненароком заглянет, привечают как своего.

Ем мерзлую колбасу, прикладываюсь к фляге со «святой водицей», расспрашиваю комбата, как он воевал.

Заполняю страницу за страницей блокнот. Снежок падает на бумагу и тает, чернила слегка расплываются.

Огневые позиции вблизи немецких укреплений второй или третьей линии обороны, рядом с железной дорогой Москва — Ленинград, на подступах к Поповке с одной стороны и Красному Бору — с другой. Представляешь? Я пишу тебе так, чтобы тебе совершенно ясно было видно, где я сейчас нахожусь, что и как делаю.

Разговариваем с комбатом под неумолкаемый грохот снарядов и мин, разрывающихся по всей зигзагообразной линии наступления наших войск.

Долгое время я не замечал, на чем сижу. Вдруг мне стало неуютно: я почувствовал под собой леденящую сырость. Поднялся, взглянул на то, что прежде, с первого взгляда, показалось не то бревном, не то большим камнем, и к своему ужасу обнаружил, что сидел на окоченевшем трупe.

— Что, испугался? — засмеялся комбат. — Видно, тебе в новинку убитый наповал. Я тоже когда-то, до Сталинграда, был чувствительным. Прошло, пронесло после того, как немцы скосили почти всех моих однокашников по артучилищу. Теперь забронирован. Ни на какие потери не реагирую. Воюю нормально, назло всем чертям.

Вот такое лицо у войны, милая Любонька. Типичное? Случайное? Не искаженное ли какими-нибудь привходящими обстоятельствами? Пока не знаю. Пытаюсь разгадать.

Что настоящее, а что показное в комбате Захарове? Хмельная удаль? Озорство закаленного фронтовика? Отчаянный цинизм обреченного? Предельно упрощенные отношения со смертью, упрощения, без которых немислимо жить на переднем крае?

Не знаю. И вряд ли скоро узнаю. Сие для меня великая тайна войны. Подозреваю, что и для Захарова его поведение на передовой является непостижимой тайной.

Труднее всего познать самого себя. Я, например, не могу со всей определенностью сказать, что именно руководило мною, когда я затесался в боевые порядки атакующей пехоты и поддерживающих ее своим огнем минометчиков. Уничтожил в самом себе чувство страха? Если бы!..

Вернусь, однако, к убитому командиру, окоченевшее тело которого так потрясло меня. Ему двадцать пять. Сибиряк. Фамилия, имя, отчество — Добрынин Егор Иванович. Женат. Имеет сына и дочь. Часто переписывался с женой. Ее письма хранил в командирском планшете. Вел нечто вроде фронтового дневника. Аккуратным, твердым почерком переписанное стихотворение Константина Симонова, ставшее знаменитым, — «Жди меня»... Жди меня — и я вернусь...

Когда я читал эти строки, у меня волосы на голове встали дыбом. Видимо, для Егора Добрынина это стихотворение было фронтовой молитвой.

Комбат Захаров собирается переслать жене в Сибирь все личные вещи бывшего замполита, в том числе и дневник. Представляю, как будет потрясена Екатерина, когда прочтет «Жди меня».

Милая Любонька, да минует тебя чаша сия. Пусть свершится чудо

Жди меня. Любонька, — и я вернусь!

Нам на роду написано — не разлучаться до глубокой старости.

23 февраля 1943 г.

Сегодня у меня двойной праздник — День Красной Армии, твое первое «информационное» письмо. И хотя в нем ты забыла меня приласкать, я счастлив тем, что твоя жизнь наладилась, что эвакуация только снится. Теперь буду жить куда спокойнее!

В редакции все от души смеялись, когда я прочитал слова Сашеньки, продиктованные папе-фронтовику: «А военная цензура не съест печенье, если мы его положим в письмо?»

Я послал ему два письма и буду посылать теперь регулярно.

У меня много новостей, связанных с тем, что дважды побывал на огневых позициях артиллерии, на куске земли, только-только отвоеванной у немцев. Вывороченная. Печальная земля. Настоящие огневые позиции. Дуэль — немцы пытаются подавить нашу батарею, мы — немецкую. Воронки, воронки, воронки... Огонь из стволов наших орудий. Деловая перекичка комбата с наводчиками, заряжающими, стреляющими, подносчиками снарядов... Трясущиеся от страха лошади. Недалекие разрывы немецких снарядов... Ужасная, тошнотворная вонь чужой взрывчатки... Хмурое зимнее небо... Отрешенность людей в бушлатах от всего, что не имеет отношения к работе длинноствольных, с пламегасителями орудий. Колокольный звон пустых использованных гильз, количество которых увеличивается с каждой минутой.

Вера, что со мной не может случиться непоправимое, жила во мне все время, пока я был там, где тысячи смертей летают, как мухи. Много я уже увидел страшного. Удивительно быстро привык к тому, что на войне неизбежно, — к крови, к смертям.

Как хочешь, верь или не верь, я счастлив, что наконец попал на фронт, пропускаю его события через свое сердце, имею возможность писать о них в газете. Я был на передовой два дня, а материала набрал на неделю. Прекрасен цвет нашего народа — солдаты. Сколько о них писали — все не то, не то. Они в сто раз проще, скромнее, тише, малословнее и героичнее. Главное же — правдивее. Но... фронтовая правда в неладах с военной цензурой.

Как можно правдивее хочется рассказать о фронтовиках. Вот и этим еще дорога мне жизнь — возможностью сохранить правду о войне и фронтовых побратимах.

Живу в редакции как в своей семье. С редактором подружились. Печататься надеюсь часто. Все твои знакомые живы и здоровы. Мих. Алекс. о тебе нет-нет да и вспомнит. Он по-прежнему хороший, и я не вижу конца его «хорошести». Сейчас, командуя сражающейся дивизией, он стал сильнее, мудрее, значительнее, чем был в тылу.

Послал тебе не менее десятка писем. Неужели до 22 февраля ты не получила ни одного! Почему так долго не откликнулась — три недели? Конечно, сказались домашние заботы. Кроме того, ты ленишься писать письма. Но любить меня не ленишься. И то хорошо.

На этот раз я не чувствую между нами большого расстояния ни во времени, ни в пространстве. Не оттого ли это, что мы встретимся?

Я неустанно верю в нашу встречу. И она состоится. Обстоятельства моей жизни складываются так, что на это есть надежда.

Весна близко. Сегодня был почти весенний день. Ледяная Нева сияет тысячами граней. Закатное небо было такое, что уже угадывались белые ночи. Когда солнце, когда вокруг торжество красоты, когда на душе радость — в эти моменты особенно сильно хочется быть с тобой, делиться счастьем земли и души.

6 марта 1943 г.

Милая Любонька,

чувствовала ли ты, как я горел в этот день? Проснулся я в девять утра и до десяти вечера беспрестанно работал. Писал рассказ «Дерево любви». Родился он из желания высказать волновавшую меня мысль. А мысль эта такая. Я глубоко убежден в том, что моя чистота оберегает твою, а твоя — мою, что наши корни переплелись навеки.

Эта мысль является стержнем рассказа от первого лица. Пошлю тебе его завтра — послезавтра.

Нужны ли фронтовикам рассказы и повести о любви? Ого — еще как нужны! Средь прочих чувств любовь занимает первое место: и говорят и думают о ней в окопах и блиндажах осажденного Ленинграда больше всего. Без нее верить в победу нельзя было бы. И воевать невозможно. Любовь к Родине — это всего лишь большая

ветвь Дерева любви — любви к матери и отцу, к жене, сыновьям, дочерям, братьям, сестрам, к родной земле, к родному дому, к своему народу, к его истории, песням, обычаям.

7 марта 1943 .

Позавчера и вчера очень грустил. Причин, кажется, нет. Напротив — должен радоваться. Ведь то, что ты сообщила, ожидалось мною на протяжении двух лет. И теперь, когда оно близко к свершению, у меня хватило радости только на один день. Видимо, преждевременно возликовал. Ни синицы в руках, ни журавля в небе. Только видение радуги. И даже видения облегчают нам жизнь. Надежда — это тоже своего рода видение. Так это или не так, но, бесспорно, хорошо то, что Ортенбергу понравились и мой роман и пьеса. Хорошо и то, что он предпринимает кое-какие меры для того, чтобы я перестал быть запрещенным писателем, но такова уж человеческая натура: хочется сразу всего и как можно скорее.

Я, грешным делом, разворачивая «Красную звезду», надеюсь найти на ее страницах свой очерк, хотя в глубине души понимаю, что еще не сделано то, чего ждет от меня Ортенберг, с чем должен выйти на люди.

...Сегодня совсем другое настроение. Работал всю ночь напролет. Над тем, думаю, чего от меня ждут. Когда лег спать, я умолял судьбу, чтобы она задержала прежние мои очерки, чтобы на свет божий я, для многих навсегда пропавший, объявился с тем, что родилось сегодняшней ночью.

Пишу маленькую повесть «Человек, которого мы любим». Главный ее герой — бывалый русский солдат, храбрый, скромный, веселый и малость лукавый. Я, кажется, понял, почувствовал, как надо писать о войне, чтобы тебя читали с интересом и душевным волнением. Может быть, не повесть это, а большой рассказ, где и война, и кровь, и тоска по дому, и весенние ручьи, и песни, и любимые окопные байки — одним словом, все, что есть в жизни солдат. Фронтная правда, которой дивизионная газета боится как черт лаdana.

Вот уж когда выговорюсь, изолю душу, расквитаюсь за долгое молчание! Чудак! Было ли оно, молчание? Как ты мог забыть «Труд», «Солдаток», «Пшеничный колос»? Не забыл. Лежащие в дальнем ящике стола писателя рукописи безмолвствуют. Обретают голос лишь после того, как становятся книгами.

С женским днем тебя не поздравляю. Уж он очень тяжел нынче этот день. Величайшие тяготы свалены на ваши хрупкие женские плечи.

Ленинградский фронт, 22 марта 1943 г.

Дорогой мой сыночек, Сашуша!

Твоя мама, а моя Люба писала мне, какую радость доставляют тебе мои письма. Часто ты бегал в домоуправление и спрашивал: «Нет ли мне письма от папы?» И огорчался, когда писем не было.

Все это время я был очень занят. Тебе, конечно, интересно, чем я занимался. Пожалуйста, расскажу. Я сидел за столом и работал несколько дней кряду... Представляю твое удивление. Как так, подумал ты, в Москве работал, в Перми работал и на фронте работаешь. Разве на фронте работают? На фронте воюют. Танкист воюет, пулеметчик воюет, пехотинец воюют, летчик воюет. И писатель должен воевать: убивать фашистов.

Нет, Сашуша, я пока еще не воевал. Помогаю бойцам воевать. Ты спросишь — как помогаю? Очень просто. Сажусь в машину, груженную снарядами, еду на передовые позиции. Чаще всего добираюсь пешком. Немцы пытаются остановить меня минами, бомбами, пулями, а я иду себе и иду, проникаю в самую середину фронта — и ничего, остаюсь жив. И ни на одну минуту я не думаю, что меня могут убить. Нет, я слишком мало жил на свете, слишком мало написал книг, слишком люблю жизнь, чтобы дать себя убить. Правда, пуля большая дура, снаряд тоже дурак — убивает и тех, кто очень любит жизнь. Позавчера на передний край налетел вражеский истребитель, убил разрывной пулей моего лучшего друга Ваню Изовита, Корреспондента. Долго, долго я буду горевать. Он тоже сильно любил жизнь. Да и как ее не любить в двадцать два года!

...Прихожу я к бойцам, смотрю, как они воюют, разговариваю с ними и записываю их рассказы. После этого покидаю передовую, удаляюсь в деревню, куда падают только бомбы и снаряды, но уже не свистят пули, и работаю: описываю, как бойцы воевали. Газета потом печатает мои рассказы и очерки. Бойцы читают.

Теперь понимаешь, как я работаю на фронте? Сейчас опять отправляюсь туда, на передовую позицию. В другом письме напишу, что такое передовая. Обнимаю. Твой папа.

30 марта 1943 .

Судьба, кажется, решила обласкать меня.

Несколько дней тому назад на передовые позиции, в штабную землянку командира полка Долина, позвонил начальник политуправления армии и приказал немедленно разыскать на передовой и командировать в Ленинград писателя Авдеенко для переговоров с редактором фронтовой газеты.

Подумать только — меня, опального, разыскивают, со мной хотят вступить в переговоры! Да еще кто!

Вижу, вижу, Любонька, ты улыбаешься...

Ну, явился я к редактору. И что же ты думаешь он мне предложил? Написать рассказ или очерк о девушках-фронтовичках: какими они должны быть и какими не должны. И, оказывается, это не его личная инициатива, а поручение начальника политотдела Ленинградского фронта. Кроме того, редактор добавил, что, возможно, это поручение исходит от самого А. А. Жданова.

Я обезумел от радости. Мне предложили такую тему, мне, «большому грешнику» по части женской нравственности. Вспомнили автора «Закона жизни», фильма о любви юных, обожженных неумелой любовью.

Кроме того, я еще радовался и потому, что, не зная ничего о намерениях Жданова, я разрабатывал эту тему в повестях «Человек, которого мы любим» и в «Солдатках».

Предложение я, конечно, принял, сел за работу — и вот сейчас окончил ее. Получился небольшой очерк. Написал с натуры. В одно дыхание. Пока что это лучшее мое фронтовое произведение. Так думаю сегодня.

Утром, с рассветом, помчусь в Ленинград, сдам рукопись и с душевным трепетом буду ждать: напечатают или дадут поворот от райских ворот?

1 апреля 1943 г.

Вернулся в свои края более чем печальным. Не пойдет во фронтовой газете мой документальный очерк. Почему? Не дорос еще до уровня фронтовой газеты. Таковы якобы решения больших начальников. Передумали сменить гнев на милость? Или им сверху не разрешили? Скорее всего, последнее.

Напечатал очерк в дивизионной газете. Посылаю тебе. Прочти и напиши свое мнение. Оно очень важно.

7 апреля 1943 г.

Я тебя, возможно, огорчил кое-какими письмами и, может быть, и «Человеком, которого мы любим». Что ж, я привык к неудачам, не буду удивлен и твоей злостью и на эту рукопись. Но вместе с тем я так привык к мысли, что все-таки добьюсь своего, привык к упорству, привык, что настороженное отношение к моей работе не собьет меня с толку, не подрежет крылья. Кроме того, если б сам процесс труда не приносил мне радости, я б, конечно, давно засох.

Все об одном и том же из письма в письмо!.. Сколько энергии тратится на подбадривание себя, на утешение. Что поделаешь, надо! Твои «нравоучительные» письма, безусловно, и сами по себе полезны, и, главное, хороши тем, что постоянно взывают к моему внутреннему миру, жгут меня и жгут. Пиши, любимая, в таком же духе,

10 апреля 1943 г.

Обнимаю, любимая Каштаночка, крепко и нежно целую. Не бойся, это письмо не будет таким грустным, как прежние. Сейчас ночь. Нашел пристанище в землянке на переднем крае. Не умолкают разрывы мин и снарядов. Сажу в шапку, чтобы земля, которая сыплется сверху от содрогания землянки, не набивалась в волосы. Все, т. е. почти все, спят, а я пишу и думаю о тебе. Когда только не думаю! Но сейчас, в такую бурную ночь, на земле, где нет ни единого живого кустика, где не один и не два человека распрощались с жизнью,— сейчас думаю о тебе и Сашеньке с особой нежностью. На душе спокойствие, несмотря на то, что наверху такое творится... А может быть, потому я спокоен, что мои личные невзгоды кажутся мелкими по сравнению с тем, что творится вокруг, что ждет меня каждый час, каждую минуту. Мое спокойствие исходит от веры в жизнь и во все хорошее, что есть и будет у тебя и у меня.

Вчера за обедом в землянке мы разговорились с Мих. Алекс, о письме Павленко, напечатанном в «Красной звезде». Я хвалил. Песочин вдруг рассвирепел. Чепуха, мол, приторная, слащавая до тошноты. Жены наши живут в страшной нужде, их жизнь более сурова, чем в письме Людмилы. Не об этом вашему брату надо писать. Об огороде-кормильце пишите. Об очередях. О холодной квартире. О босоногих детях. Ну и дальше в этом роде.

12 апреля.

Только что вернулся с передовой и нашел три твоих письма. Давно знаю, что люблю тебя, что ты меня любишь, но все-таки читал твои признания с такой радостью, будто слышу впервые.

Ты просишь, чтобы я пожелал тебе удачи. Ах, Каштаночка, себе я меньше желаю счастья, чем тебе.

16 апреля 1943 г.

Всю эту неделю было очень грустно. Источник, вероятно, все тот же — мелкая речушка, где я плаваю, мелководные душонки людишек, от которых я в зависимости. Сегодня, например, я закончил большой очерк о людях, ставших перед боем коммунистами, об их подвигах в боях. Хорошо, чувствую, сработано. Это признает и мой редактор. Но его махонькая газета нуждается в заметке, И поэтому он не может печатать большие очерки, вроде «Ночь перед боем».

Что же делать? Сегодня уезжаю на передовую, в самое пекло и буду там неделю, не меньше. Буду работать на «Красную звезду». Рано или поздно, но я все-таки своего добьюсь. И, может быть, это и хорошо, что Ортенберг держит меня в узде.

24 апреля 1943 г.

Здравствуй Сашуша, родной мой!

Сейчас ночь. Ты спишь, свернувшись калачиком. Маленькая головка. Маленькие ручонки, маленькая рубашонка, крошечные ботинки на полу. Читать маленький Сашуша, в отличие от большого — папы, еще не умеет, как все маленькие.

Стало быть, я должен говорить тебе такие слова, какие привычны для маленьких. Но я хочу писать тебе и как маленькому и как взрослому. Этого требует время и место, где я сейчас нахожусь,— война и фронт. Кто знает, доживу ли я до того времени, когда ты станешь большим, всякое может случиться. Если и доживу, то вряд ли во всей свежести сохранится то чувство, которое владеет мной сейчас, вряд ли скажу тебе то, что хочется сказать теперь...

Прежде всего несколько слов о том, как ты появился на белый свет.

Родился, как тебе известно, в мае 1937 года. Но ты

у меня был в сердце лет на пять раньше. Я еще не был женат, но уже хотел иметь сына. Я любил тебя заглазно, не зная, какой ты будешь. Прочитай книжку «Я люблю» — и там есть мечта о тебе и о твоей маме. И когда ты родился, я был несказанно счастлив. Поразило меня то, что ты, кроха, как две капли воды похож на отца. И чем больше подрастаешь, тем все больше и больше становишься похож.

Почему же мне хотелось иметь сына? Почему мечтал о тебе, будучи холостяком? Родительский инстинкт? Любовь к детям? Жажда продолжения рода? Не только. Я хотел оставить в наследство тебе мою радость, счастье.

Я не знал в ту пору, что на четвертом году твоей жизни случится большое, тяжелое по своим последствиям для меня, твоей мамы и для тебя, несчастье. Если бы каким-либо чудом мне стало известно об этом, я бы не женился и тебя не было бы на свете.

Какое несчастье? Вырастешь — узнаешь.

Тебе сейчас шесть лет. Поймешь ли ты все так, как надо? Вряд ли. Потом поймешь.

И еще тебе надо знать обязательно вот что. Обо мне мои родители не мечтали ни за пять лет, ни за один год до моего рождения. Даже огорчились, что на свет родился еще один лишний рот.

Очень мне хочется тебе счастья которого бы хватило на всю твою жизнь, сын мой. Что в силах моих, то сделаю. Письма мои когда-нибудь принесут тебе светлые минуты радости. Главное сейчас — раздавить фашистскую гадину, дожить до Победы. Это и будет истоком счастья для нашей семьи, всего народа и человечества.

Обнимаю Сашушу. Кончил писать тебе письмо, и ночь кончилась.

26 апреля 1943 г.

Вчера написал тебе письмо, полное тоски. Сегодня такое же послал Саше. Страшно, что ты плохо подумаешь обо мне.

Нет, Любонька, я не в безысходном отчаянии. Не потерял почву под ногами, не ослеп. Трудно мне, горько, обидно — ничего! От этого я только злее работаю. То, что у меня есть в душе, рано или поздно станет всем видно. Уже ради этого стоит жить.

Огорчения мои вызваны новым несправедливым отношением к моей чересчур усердной работе в газете. Видите ли, я слишком часто печатаюсь, слишком много места

занимаю на очень тесной площади. Моего редактора, это пугает. И не только его, но и политотдельцев.

Все! Никаких жалоб от меня не услышишь больше, что бы ни случилось.

Я опять на новом месте. Кочуем в пределах большой клетки. Живем вдвоем с редактором в маленькой комнатухе, полной крыс и клопов, но спим на чьих-то мягких кроватях. Кто тут жил до нас? Где они? Умерли от голода? Эвакуированы на Урал? Обезлюдил Ленинград. Трагедия города неслыханного масштаба.

С Мих. Ал. по-прежнему, кажется, дружны. Теперь только кажется? Да! Кто-то вклинился между нами, пытается поссорить. Положение его хозяйства и здесь, на Неве, такое же, как было на Волге. И не его в этом вина. Но наверху им очень и очень недовольны. Не умеет он творить чудеса: воду превращать в медовый напиток. И слишком много в нем человеческого достоинства, гордости, честности и правдивости. С такими качествами трудно жить в наше время. И еще труднее подчиняться. Боюсь, что и ему не миновать моей участи.

Да не упадет ни единый волос с его головы.

26 апреля 1943 г.

Здравствуй, родной Сашуша!

Вот и сегодня захотелось поговорить с тобой и как с маленьким и как с большим.

Вчера снял шапку, шинель — хожу в одной гимнастерке и пилотке. У нас тепло. Нева — чистая, быстрая. Правда, сегодня дождь, пасмурно и мне очень тоскливо. Но не только от дождя.

Невеселый папа, не ровня сыну-хохотуле. Когда-нибудь, если вернусь с войны, расскажу тебе причину этой тоски. Впрочем, кое-что поведаю и сейчас...

В то время, когда ты станешь взрослым, жизнь будет не такая трудная, сложная, как сейчас, и тебе многое будет понятно: например, это — почему я тоскую в войну, когда каждому человеку некогда тосковать?

Потому тоскую, что идет война, а я живу, не расходуя и четверти своих сил, способностей. Хочется отдать всего себя войне, без остатка, а люди, от которых это зависит, всячески, отстраняют меня от больших дел. Хочу писать много, глубоко, раскрывать душу воюющего человека, а от меня требуют только заметки без сучка и задоринки.

Да и в заметке придираются к каждому слову. Если

раньше это делал один редактор газеты, то теперь и комиссар дивизии зло наставляет уму-разуму.

Вот отсюда и тоска. А что я могу сделать? Где же выход? Некуда, Сашуша, податься. Писать и складывать в стол? Да, это единственное утешение.

Может быть, не то пишу, что надо? Нет, не в этом дело. Имя мое запрещено. Труды мои, если они даже полезны, не имеют никакой цены.

Когда подрастешь, то узнаешь, кто такой был Тантал. Так вот, без всякого преувеличения могу сказать, что я испытываю муки Тантала. Чувствуя жизнь, она в моей душе, в сердце, в крови, в мозге, я лишен возможности говорить о ней. Только мычу.

Не думай, Сашенька, что твой папа был бесталанным человеком, лентяем, не любознательным. Горе мое, может быть, и вытекает из того, что я слишком горяч, искренен, смотрел на жизнь собственными глазами, глазами человека, влюбленного во все хорошее, что дала нам революция, ненавидел плохое. Сейчас страдаю и не знаю — за что.

Не время сейчас копаться в психологических переживаниях? Именно сейчас и время разобраться, выяснить, что война идет во имя лучшей жизни человека, во имя того, чтобы не было униженных, оскорбленных, во имя настоящего и будущего народа, Родины.

Родина для меня — это не только земля наша от Владивостока до Ленинграда. Родина — это и ты, мой взрослый сын, перед которым я тоже ответствен. Вырастешь, спросишь у мамы, если меня не будет: «А что папа сделал за войну? Какие книги написал?» Мама со слезами на глазах покажет мои газетные заметки. Тебе станет стыдно, и твои глаза тоже наполнятся слезами. А я в это время перевернусь своими истлевшими костями в братской фронтовой могиле. Не хочу такой участи. Отвергаю.

Знай, Сашуша, что я работаю и на фронте. Уже есть не одна рукопись, и еще будет не одна. Пишу, несмотря ни на что. Если теперь не увидят света, то через двадцать — тридцать лет будут напечатаны.

Вот, поговорил как с большим — и легче стало.

Что же сказать тебе, маленькому?

Жалуюсь — писем папе не пишешь, то есть не диктуешь маме. Уж сколько я тебе послал, а от тебя — ни одного. Расскажи, нравится ли тебе жизнь в Москве. Обнимаю. Поцелуй маму. Надеюсь, ей не в тягость моя тоска, моя неспособность приспособиться к тому, к чему невозможно приспособиться с моим характером.

29 апреля, Ленинградский фронт, 1943 г

Здравствуй, Сашуша, сыночек мой любимый!

У нас непроглядный дождь. Пасмурно. Холодно. Тоскливо. Тесно в моем мире. А когда мне тоскливо, холодно, я всегда окунаюсь в ваш с мамой светлый, радостный мир.

Вот, едва начал писать это послание, а на душе стало просторнее, веселее, и потекли одно за другим воспоминания. 1937 год... Последние недели мая. Маленький домик с большими окнами на все четыре стороны света. В нем живут два любящих человека — Люба и Саша, твои будущие папа и мама. Домик окружен вишневым садом. Деревья белые, словно в снегу, а земля под ними покрыта густой зеленой травой. Большая луна по ночам не сходила с высокого неба. И часто на заре твоя будущая мама просыпалась от соловьиных песен и не могла заснуть. Слушала и улыбалась. Ей казалось, что соловьи славят ее любовь, ее счастье, ее созревающее материнство.

Всходило солнце. Мама твоя выходила на мокрый от росы балкон, спускалась в сад и бродила под вишневыми деревьями, а белые цветы потихоньку падали на ее каштановые волосы. Часто мы гуляли вдвоем, взявшись за руки. Какая теплая, мягкая, душистая была рука у твоей мамы в те дни!

Я закрываю глаза, вспоминаю, и мне кажется, что мы ходили тогда с мамой, взявшись рука за руку, неразлучно. Куда я — туда и она. Куда она — туда и я. Да, так оно и было.

Утром, взяв лопату, грабли, топор, я шел в овражный лес. Расчищал кустарник, делал дорожки для нас троих.

Лес был сочный от весенней влаги, одетый в легкий весенний пух, душистый, прохладный, таинственно прекрасный. Росли подснежники, фиалки и еще какие-то чудесные, желтые цветы. Я работал до изнеможения. Мокрый, едва способный разогнуться, я все-таки был счастлив, ибо около меня всегда сидела в своем каштановом платье, с веснушками на счастливом лице твоя мама. Иногда она тихо улыбалась, и тогда ее золотое лицо становилось еще счастливее. В это время ты подавал признаки жизни. Мы все бросали и, затаив дыхание, прислушивались к тебе.

Мама любила шептаться с тобой. Положив руку на живот, улыбаясь, тихонько шевелила губами. Маме хотелось, чтобы и я шептался с тобой. Обижалась, если я медлил. Да, Сашенька, как это ни невероятно, мама даже

в то время обижалась на меня и, конечно, всегда была права. Глаза ее, бывало, наполнятся слезами, золотое личико потемнеет.

— Я ему пожалуюсь на тебя, расскажу, какой ты нехороший.

«Ему» — это значит тебе. И мне всегда становилось страшно, что ты, еще не родившись, будешь уже недоволен мною. Я спешил скорее загладить свою вину.

Ой, Сашуша, сколько было переговорено с тобой, еще не родившимся! Природа пока прятала тебя от нас, но мы были сильнее и твердо знали, что у нас будет прекрасный ребенок. Настоящий сын Весны и Любви.

Когда я думаю о счастье человечества, то вижу женщину в белом, каштановолосую, счастливую, чистую, совершенную, какой была в мае твоя мама. Когда желаю людям счастья, то хочу их видеть в том вишневом садике в белых цветах, среди соловьиных песен, ждущих появления на свет сына.

Кончается бумага, но не кончаются воспоминания. Я бы мог о том времени написать тысячу писем.

До свидания, Сашуша. Обнимаю,
целую.

29 апреля 1943 г.

Оторвался от письма к Сашке и приступаю к другому. К тебе оно, любимая. И в будущее и в прошлое устремлено. Что это?.. Сладкий напиток, который убивает горечь? Спасительная скорлупа, в которую прячусь от жестоких уколов жизни? Источник излияния? Самоистязаясь? Отравляю себя? Нет! Это божественная беседа с вами — источник, из которого я черпаю силу жизни.

И чем хуже мне живется, тем чаще я обращаюсь к нашей любви. Каждое такое письмо к тебе, к Саше укрепляет корни Деревя жизни.

Вчера редактор всерьез предложил мне оригинальный план: отречься от своего прошлого, не думать о будущем, переваривать только то, что дает сегодняшний день, совершенствовать жизнь пока в ограниченных пределах. Дескать, на войне иначе жить нельзя. Не моя это философия. Живу и в прошлом, и в настоящем, и в будущем.

Вчера ночью написал письмо Жданову. Кто знает, может быть, он начинал все, он и кончит. Страшное письмо. Страшное тем, что я вложил в него все свои надежды, абсолютно все. Завтра или послезавтра пошлю. Копию

отправляю тебе. Я не мог не написать, ибо беспросветность может задушить. Если даже письмо не дойдет — все равно легче жить будет. Легче в том смысле, что исчезнут иллюзии, что буду надеяться только на самого себя. Писать не брошу ни при каких обстоятельствах, ибо чувствую себя созданным только для этого труда, ибо нет и не будет жизни без этой сладкой каторги.

Закончив очерк, снова подамся на передний край и буду там жить несколько дней.

Когда я на переднем крае, то чувствую, что живу самой полной жизнью. Среди бойцов переднего края я полноправен. Там мне все верят, ибо ежеминутно видят, как я отношусь к смерти. Там я чист, прозрачен и для других и для себя.

Вот потому меня туда и тянет. Противоестественно? Нет, нисколько.

А вот мое теперешнее положение, когда я, полный сил, способный рассказывать правду о войне, прославлять жизнь, вынужден молчать — это мое положение противоестественно.

Ну вот, Любонька, начал с любви, а кончил все тем же — своим противоестественным положением. Как можно терпеть его? Никогда я к нему не привыкну. Если со мной случится непоправимое несчастье, то, умирая, буду жалеть, что смерть застала меня в таком противоестественном состоянии. Не огорчайся, любимая. Тут, где я живу, имею право сказать подобные слова.

Обнимаю и целую.

28 апреля 1943 . Ленинградский фронт.

Вот я и на передовой. Добрался пешком — около десяти километров. Половину дороги прошел под артобстрелом. Часто падал, как говорится; лицом в грязь. Обычно тут относительно тихо, а сегодня... Но у меня не было ни страха, ни тревоги.

Уже привык к фронтовой жизни. Но дело тут не только в привычке. В жизнь я верю, Любонька, в то, что мне еще много предстоит сделать. Да и как может случиться со мной плохое, если не сброшена страшная ноша, которую терплю уже третий год? Я никогда не думаю, что меня убьет. Но, заговорив сейчас об этом, хочу высказаться до конца. Представить себя погибшим всякому неприятно, но мне не так страшна смерть, как то, что я могу погибнуть отверженным... Ведь это навеки.

Какое бы горе это было для вас — потерять меня именно таким. Моя тень потянулась бы и за Сашенькой. Любимые мои, мне так хочется, чтобы вам жилось и после меня хорошо.

Тебе горько читать каждый день об одном и том же? А каково мне каждый день страдать? Не могу я, Любонька, молчать. Каждый день, почти на каждом шагу, чувствую свое страшное положение. И сегодня — особенно.

Что-нибудь случилось? Да! Ничего не сделал такого, что бы шло вразрез с моей совестью, но люди, даже самые ранее благожелательные, стали чураться меня. Им надоело ждать того дня, когда я буду помилован. Они потеряли веру в меня. А раз потеряли веру, чего же церемониться!

Тяжко, горько, беспросветно. Но самое страшное впереди. Боюсь, Любонька, что политотдельцам покажется недостаточным мое теперешнее страдание и они попытаются его усилить. К тому идет. Похоже, исподволь готовится мое отлучение от дивизионной газеты. Редактор нечаянно проговорился.

Ты испугалась, Любонька, побледнела? Не надо было расстраивать тебя, но у меня не хватает сил промолчать. С кем же я еще поговорю, как не с тобой? Перед кем же еще открыть душу?

Что бы там ни думали люди обо мне, а я останусь таким, каким был. По-прежнему буду работать и день и ночь. Все переборю.

И ты будешь ждать и надеяться. Только я да ты знаем, как мы заслуживаем лучшей жизни.

С Михаилом Александровичем не встречаюсь. Опальному писателю, если в нем не убита совесть, не следует пользоваться добрым расположением высокого начальства, ибо какой-нибудь дюже бдительный доброхот может настучать наверх самому Хозяину, что исключенный, изгнанный отовсюду ловко втерся в доверие к комдиву, чтобы избежать передовой. Замаскированный дезертир. Трус и предатель в маске корреспондента дивизионной газеты. Все может быть.

12 мая 1943 г.

Сегодня получил твое письмо от 2 мая. Долго не распечатывал. Беспреданно поглядывал на розовый конверт, и сердце млело от предвкушения радости. Думал о тебе,

о тех часах, когда ты, глубокой ночью, творишь послание мужу на фронт. Волновало меня то, что я снова услышу тебя, снова прикоснусь к тебе. Все, что ты ни написала 2 мая, — по душе. Твои письма, как и мои, — одинаковы. Я бы хотел, чтоб они всегда были одинаковыми — полные большой, глубокой, уверенной любви.

Написал «уверенной» и подумал о том, что ты никогда не боялась, что на моей белоснежной тоске по тебе может появиться темное пятнышко. Любонька, сомнения в моей верности и в самом деле не приходят тебе в голову или ты не позволяешь им выливаться на бумагу? Или, может быть, ты думаешь, что я живу на острове, где нет никаких соблазнов?

У нас тут много женщин. Я, конечно, поскольку живой человек, потихоньку иногда заглядываю на них. Но, боже мой, какое огромное пространство лежит между мною и ими даже тогда, когда я с ними разговариваю. Они это чувствуют и чуждаются. Больше того, ненавидят. Но еще больше я их ненавижу за то, что они в своих отношениях с мужчинами неразборчивы.

Тебя не удивляет, почему я вдруг разговорился на эту опасную тему? Рано или поздно надо было ведь поговорить.

Знаю, ты улыбаешься: дыма без огня не бывает...

Не бывает!

В соседней с моей комнатой живет веселая женщина. Ее муж воюет на Южном фронте. Стена пробита осколком, и мы поневоле слышим все, что там творится. Не скучает солдатка. Каждый день принимает гостя. И при всем при этом чувствует себя на седьмом небе, когда от мужа получает весточку. И ему посылает письма. В чем же дело? Что толкает ее в омут измены? Голод по ласке? Любопытство, присущее большинству мужчин и женщин? Было оно у Евы и у самой богородицы в пору ее девственности. Любопытство чаще всего приносит не радость, а несчастье, потери себя как личности, разрушение самого прочного фундамента любви и семьи...

Вон как расфилософовался!.. Зачем я, дурак, заговорил об этом? Самому противно. Искренне верящий человек скромнее в своей вере, не выставляет ее напоказ. Еле сдержался, чтобы не разорвать письмо. Ладно, посылаю. Пусть будет еще и такое письмо.

Два часа ночи. Ложусь спать. Вернее, попытаюсь уснуть. Где-то в саду, на берегу освещенной луной Невы сладострастно заливаются соловей. Наверное, он виноват,

что я выставил себя перед тобой в таком виде — заговорил о запретном.

Фронт, смерти — и ревнивое сомнение. Смешно. Пошло.

8 мая 1943 г.

Неужели четыре месяца мы не виделись? Неправда! Я только вчера расстался с тобой: чувствую тепло твоих губ, твою негасимую влюбленную улыбку. Пройдет еще четыре месяца, пройдет целый год, но ты будешь жить во мне такой же реальной, свежей. Я впитал тебя не только в зрение и слух, но и в кровь.

Получила ли ты письмо, в котором были первые весенние полевые цветы? Не смутил ли тебя желтый цвет? Других, Любонька, не было...

Если бы любимые знали, как достается нам каждый прожитый день. Ждете вы писем, огорчаетесь, когда их нет один-два дня, и не подозреваете, как мы близко находимся от того пространства, откуда никаких писем не приходит.

Много в эти дни лазал по передовой. Все больше и больше влюбляюсь в воюющий народ. Какие люди! Если бы ты, Любонька, увидела, как они живут на переднем крае. Не замечают трудностей. Смерть презирают. И все очень жадны к веселью, к смеху. Во всех окопах и дзотах, где я был, говорили о самых серьезных делах, но смешно, лукаво, с сознанием своего превосходства над немцами. Осажденными себя не чувствуют.

Вижу войну собственными глазами — не придется ничего выдумывать, когда буду писать рассказ, повесть, очерк.

Вернулся в редакцию воодушевленный.

Прошло только два дня, а меня уже снова тянет туда. Но надо написать о том, что увидел, услышал.

Написал. И представь, очерк напечатали в нашей дивизионной газете. Раздумали отлучать? Или получил отсрочку?

1943 .

Иду по земле, где гуляют тысячи смертей, или лежу в свежей воронке и думаю о том, как все-таки живуча в людях надежда на лучшее, как могуч человек тем, что и в такой обстановке способен строить большие планы.

Вчера, в окопах, прочитал в «Красной звезде» хороший, на всю страницу очерк Симонова «Сын Аксиньи». И не нашел в нем ничего такого, что было бы недоступно мне, как писателю. Ты огорчишься: если так, почему же не реализуешь свои возможности? Потому что не имею ни газеты, ни типографии.

Будь у меня семь пядей во лбу, я бы не стал писать так, как Симонов, Толстой, Гроссман.

Дрозд хорошо подражает певчим птицам, но остается дроздом.

Пишу и буду писать по-своему. И каждому воздастся по труду. Тем, кто опередил меня на целых два года,— больше, мне, отставшему,— меньше. Может быть, ничего не достанется, если до конца войны не допустят к большему читателю. Время, время надо.

Недавно был в городе и собственными ушами слышал телефонный разговор о себе редактора фронтовой газеты Гордона с влиятельным человеком из Большого дома. Редактор спрашивал, можно ли использовать Авдеенко в штате редакции как писателя. Влиятельный человек сказал, что решить этого вопроса не может.

Понятно теперь, Любонька, почему даже хорошие мои очерки не печатает «Красная звезда». Требуется решение САМОГО.

Обнимаю, целую, родная, милая.

18 мая 1943 .

Только что вернулся с передовой в редакцию, Где меня ждала пачка твоих писем и послание от Ортенберга. Не ждал. Думал, что обо мне забыли. Не могу писать, дрожат руки — от радости. Не знаю с чего начать — тоже от радости.

Каштаночка, я люблю тебя,— вот чем я должен начинать и кончать каждое письмо. Да, да! Не будь тебя у меня, я давно бы потерял надежду. Ты — родоначальница умнейших женщин, исток всего прекрасного, чистого, нежного, искреннего, верного. Все хорошее на земле исходит от таких, как ты. Преувеличение влюбленного? Нисколько. Я ведь знаю тебя уже семь лет. Впрочем, первого взгляда разгадал, какая ты есть и какой будешь. Превзошла все мои предположения. Видишь, каким чутьем я наделен. Не скроешь свою душу, если даже захочешь. Все буду знать о тебе.

Да, Любонька, ты права — я должен жить не по чьей-то указке, а так, как подсказывает сердце. Да! Оно ведь самый искренний, самый верный советчик.

И терзаться тем, что сегодня сделал не то, что хотелось, тоже не следует. Сделаю завтра. Постоянное стремление к тому, что является твоей целью,— вот идеальный образ жизни. Быть сегодня лучшим, чем вчера,— это уже немало. Да! Я не могу пожаловаться ни на один день своей фронтовой жизни. Даже на те, когда писал тебе тоскливые письма. Они, эти дни, неизбежны. Вспомни, что тебе говорил Скосырев о дураках, отравляющих нам жизнь. Я ведь не каменный, Любонька. Может быть, самое лучшее, чем я обладаю,— чувствительность ко всякого рода человеческому несовершенству, прежде всего собственному.

Тебя пугает мое письмо к Жданову? Ничего страшного, но посылать его не следовало. Вспомни, что я тебе писал о встрече с редактором фронтовой газеты, о его разговоре с тем человеком, кому Ортенберг передал пьесу,— с Александровым. Он сказал: «Я этого вопроса решить не могу». А я и не думал, что мою судьбу может решить простой смертный, вроде Ортенберга и Александрова. Она в руках всевышнего. Но для меня к нему дорога закрыта раз и навсегда. Ортенберг же и Александров могут пробиться и на небеса.

Ты пишешь: «Терпения тебе не хватает, терпения». Около трех лет терплю, и у меня не хватает терпения?! Это несправедливо, Любонька. Я ведь не знал всего, что знала ты, оттого и нервничал. Нельзя в моем положении и понервничать? Нет, я никогда не ныл. Возмущался, негодовал, но не ныл. Ладно, не будем об этом говорить. Твои письма и послание Ортенберга надолго зарядили меня. Теперь даже и нервничать перестану. Радость эту я предчувствовал. Перечти вчерашнее письмо, написанное в окопах.

Возвращался сегодня с передовой напрямик по одичавшим полям, мимо весенних, пока невысохших озер вешней воды. Много видел цветов — белых, голубеньких. Сделал маленький букет. Шагал по некошеным лугам около трех часов и все думал о тебе и Сашеньке. Сколько уже передумано — и все еще появляются свежие мысли. Любимые и любящие — неиссякаемый источник постоянно обновляемой жизни. Я непобедим, пока опираюсь на вас.

13 мая 1943 г.

Любимая Каштаночка, вот и утро, давно пора спать, а я все работаю. Четыре часа. Надо все-таки кончать день, а мне не хочется. Как бы он ни был радостным, все равно не будет полным, если не поговорю с тобой. У меня новости. Первая: я написал сегодня «Перед грозой» — крошечную картинку, намек, догадку на то великое, что в скором времени произойдет в мире.

Вторая. Приступил к романтической повести «Человек как человек». Давно эта тема меня мучила. Собственно, не тема, а идея. Очевидно, тогда, в 36—37-м годах, для нее не наступило время. Сейчас — в самый раз. Когда как не сейчас человек, очищенный войной, горем, кровью, становится человеком! Когда как не сейчас мы, советские люди, должны обменивать любовь на любовь, доверие на доверие; когда как не сейчас нам не быть братьями, не радоваться друг другу, не дарить друг другу счастье.

Нет, лучше оборву письмо. Боюсь, что из-за утомленности не скажу тебе всего, что хочется сказать. Пойду на улицу, освежусь на берегу Невы. Тихо сейчас у нас. И так же тихо у меня на сердце, так же хорошо — перед восходом солнца.

...Только что вернулся — и опять к тебе припадаю. Дрожу — и от свежего утра, и от того, что видел и слышал, стоя на берегу Невы. Прекрасна была река в час ранней зари. Тихая, гладкая, чуть-чуть подрумяненная — отсвет небес. Течет вода глубокая, прозрачная до дна. На обрыве, стоят белые березы. Они такие высокие, пушистые, что вырисовываются на фоне зелеными тучами. Одинокий лодочник неслышно пересекает Неву. Тени труб кирпичных заводов отражаются на зеркальной поверхности. Вдали чуть шумит плотина — бревноуловитель. Из дальнего леса доносится голос кукушки — такой же, какой мы слышали с тобой в нашу первую весну любви.

Вот это и есть счастье — внезапно увидеть жизнь во всей ее сокровенной сути, почувствовать себя в родстве с нею.

Да, Любонька, мы с тобой нигде и никогда не будем несчастливими. Много для нас на земле уготовано счастья. Пережить бы войну!

Кукушка не умолкает. Смотрю в ту сторону, откуда доносится ее голос, спрашиваю:

— Кукушка, кукушка, скоро война кончится — через год или два?

Онемела кукушка. Растерялась от такого вопроса?

30 мая... Вспомни, как ты прожила этот день, что снилось.

До завтра, славная жена моя. Я сейчас в бреде. Пусть всю жизнь не покидает меня этот любовный бред. С каждым годом, с каждым днем я безумею все больше и больше. Даже смерть не посмеет поднять руку на мою любовь.

29 мая 1943 г. Ленинградский фронт

Милая Любонька, такой ли у тебя солнечный, тихий, теплый, спокойный день, начало его, как у меня? Хочется, чтобы он был таким, но боюсь, что это не так. Почему боюсь? Когда начал бояться? Недавно, с воскресенья 23 мая, с тех пор, как от тебя нет писем, с тех пор, как ты...

Умолкаю. Я дал себе слово не писать об этом. Уж больно день сегодня хорош: невозможно поверить ни во что плохое, не хочется шевелить в себе никаких тревог.

Всю прошедшую неделю работал днем и ночью. Сделал много. Хорошо ли? Не уверен. Писал в чрезмерно возбужденном состоянии. Подхлестывал себя. Состязался с кем-то. Кого-то догонял. В общем — спешил. Усидчивость, трудолюбие для писателя необходимы как воздух, но спешка...

Я не до конца выговариваюсь в своих произведениях; не пишу в полную силу, которая, чувствую, во мне бурлит. Хочу, но не могу — скорость не позволяет.

Люди судят обо мне по внешним признакам, а я о себе — по внутренним: сознаю свою зажатую силу. Вот отсюда конфликт: не понимают, мол, тебя и прочая чепуха. Грустно, но это так. Никому нет дела до того, каковы истинные причины спешки. Как бы они ни были основательны — оправдания им не будет. Да и сам не должен искать оправдания.

Что может выйти из этого конфликта? То, что сила перегорит во мне, не увидев света.

«Пшеничный колос», «Солдаты и солдатки» нравятся многим. Но разве это мой предел? Если бы я поработал над рукописью еще, может быть, и достиг бы предела...

Любонька, даю и себе и тебе слово — не торопиться! Но это вовсе не означает, что перестану работать и днем и ночью. Буду трудиться еще больше. Но без спешки.

...Пока писал это письмо, произошло важное для нас с тобой событие. Моему начальству сверху приказано срочно отправить меня в город, в политуправление фронта. Зачем вызывают — не сказали.

Какие предчувствия? Не обольщаюсь, но и надежд

не теряю. Руководствуюсь не умом, а тем чувством, которое заставляет утопающего хвататься за соломинку. Умом же я холоден, недоверчив, напуган. Сама знаешь, то, что мы с тобой пережили, не скоро вытравится.

Через час поеду на попутной. Пока, ожидая машину, дописываю письмо к тебе.

31 мая... Последний день самого счастливого нашего с тобой месяца. Помнишь, как мы считали первые дни жизни Сашеньки — два, три, пять... Когда ему исполнилась неделя, мы раскупорили шампанское, выпили за именинника. Потом праздновали месяц жизни сына, потом год. Когда-нибудь отметим совершеннолетие. Но останемся мы такими же, как сегодня, — влюбленными супругами?

День сегодня так хорош, Любонька, что хочется верить только в хорошее. Даже в чудо. Я уверен, что ты сейчас предчувствуешь, что со мной творится.

1 июня 1943 г.

Любимая моя Каштаночка, мой верный и вечный друг — радуйся: мы помилованы. Еще никогда я не посылал такого радостного письма, как сегодняшнее. Вчера в полдень состоялось то, о чем мы мечтали около трех лет.

Не торопи, дай перевести дыхание.

...Ну а теперь расскажу все по порядку. Ты уже знаешь, что меня вызвали в город. Приехал. Позвонил. Доложил. Мне сказали: «Приходите, когда вам удобно». Тысячу лет не слышал ничего подобного. Пришел. Генерал усадил меня в кожаное кресло и сразу же сказал: «Со всей вашей документацией я знаком. Товарищ Жданов Андрей Александрович поручил мне заняться вами. Есть совершенно определенные указания, чтобы предоставить вам полную возможность работать на всю мощь. Редактор, фронтовой газеты «На страйке Родины» настоятельно просил прикомандировать вас к его редакции. Удовлетворим его желание. Вы будете ездить по всему фронту, много видеть и, наверное, немало писать. Кроме того, мы дадим указание товарищу Тихонову, чтобы вас включили в группом писателей при политуправлении фронта. Все это для начала, конечно».

Каково, а! Представляешь мое ликование? Но я сдержанно поблагодарил за доверие.

Дальше генерал сказал:

— Постепенно мы будем вам создавать условия. В конце

концов вы станете тем, кем были. Таково указание товарища Жданова. Одним словом, вместе с концом войны, а он недалек, к вам вернется все то, что было у вас.

В заключение генерал подсказал мне несколько фронтовых тем, какие мне надо в первую очередь разрабатывать.

Ах, Любонька, да разве я нуждаюсь в темах? Мне нужна внутренняя свобода, свобода внешняя, а жизнь, самое ее сокровенное — сам найду, увижу.

Выйдя от генерала, я пошел через весь город. Еще никогда я не был так молод, так силен, так способен к труду. Сколько мыслей рождалось!

Пришел в редакцию на Невский, два. Там уже знали. И редактор и вся газетная братия поздравляли, искренне радовались.

Смешно, радостно и грустно. Возвращение «блудного сына»! Это я — блудный сын?

Ну хорошо, хорошо, пусть блудный. Все самое страшное далеко позади.

Прощаясь со мной, генерал сказал: «Помните, все, что было, раз и навсегда отрезано. Если же кто-нибудь станет чинить какие-либо препятствия, немедленно обращайтесь ко мне».

Какие могут быть теперь препятствия?

Поселили меня здесь же, в редакции, в полутемной комнатухе, выходящей подслеповатыми окнами во двор, на недоступную для немецких снарядов сторону. Поэт Миша Дудин, смеясь, трижды перекрестил мое жильё.

Почти всю ночь не спал. Мечтал. Строил планы, думал о тебе, представлял твою радость. Сашуше, конечно, пока непонятно мое возрождение.

Утром, едва взошло солнце, отправился в командировку от фронтовой газеты к танкистам. Сижу сейчас в ожидании нужного мне человека и пишу это письмо.

Знаю: прочтя его, ты поцеловала густо исписанные листочки.

8 июня 1943 .

Не кажется ли тебе, Любонька, что теперь, живя на Невском, я нахожусь гораздо ближе к тебе, чем раньше? У меня это чувство очень сильно.

Надеюсь, твоя радость перегорела и ты, трезво рассудив, поняла, что теперь-то и начинается самое трудное — борьба за право радоваться трудам своим. Надо

много и хорошо работать, чтобы оправдать доверие. Часто и подолгу бывать на переднем крае. Неустанно искать отличившихся бойцов, интересные события. И, главное, не спешить: спокойно отделять очерки, рассказы.

Отношения с редактором и всеми работниками редакции самые сердечные.

Одним словом, есть условия воспрянуть, показать, на что способен. Пока считаюсь временно прикомандированным. Недельки через две обещают зачислить в штат с окладом писателя — 1500 р. Сейчас же, к моему горю, я не могу послать тебе ни копейки — в дивизии мне не выплачивали жалованья несколько месяцев, как сверхштатному. Ко всему прочему — еще и безденежье. Продай до ниточки все мое добро. Себя не обижай.

Сегодня из Москвы приехал новый корреспондент «Красной звезды» Гаглов. Я надеялся, что он привезет от тебя письмишко. Не привез. Шванков на днях уезжает в Москву. Передам вам через него свой офицерский паек: печенье, сахар, сало.

Писем от вас не буду получать долго. Жалко, но не страшно. Теперь я стал гораздо спокойнее, увереннее и яснее представляю ваше положение. И вы тоже, да?

Обнимаю тебя, милая — тихую, терпеливую, полную сил, здоровья и самых лучших надежд, любящую и ждущую.

Без даты

Несколько дней был на правом фланге фронта, левее Путиловского завода, на берегу Финского залива. Ходил с бойцами в боевое охранение — еще ближе к немцам, чем передовые.

Венеция в миниатюре: лодки, каналы, протоки, мостики, гати. Вода, вода, всюду вода, а в центре — острова. Много хорошего увидел. Настоящий клад открыл. Материал — для целой книги.

Возникла идея написать серию очерков: «Передний край Ленинграда». «У залива». «Линия фронта», проходящая через родной разрушенный дом пригорода, через сердце бойца. «Петергофские дворцы и фонтаны». «Пулковские высоты». «Царскосельский лицей». «На окраине Ижоры». «На берегу Невы» и так далее. Линия фронта, линия гнева, линия возмездия.

Идей много, и сил немало. В редакции мною довольны — печатают. Надеюсь на большее — на радость моей работой.

Писем от тебя не получаю с первого числа. Жизнь не жизнь без твоих посланий.

Пока ты любишь, мне ничего не страшно. А иногда кажется, что ничего и не надо больше, кроме твоей любви.

Пятница, 9 июля 1943 г.

Ленинград

Пропадал три дня на передовой. Был на так называемом «Невском пяточке», который я прозвал «Малая земля». В 1942 г. в августе мы отбили у немцев кусочек левобережной земли, втиснутый в угол между реками Нева и Тосно. Семьсот метров по фронту и триста в глубину. Сбоку, слева — Тосно, глубокая, черная, впадающая в Неву, простреливаемая пулеметным, автоматным и минометным огнем. Позади гарнизона «Пяточка» — широкая Нева, тоже простреливаемая. Впереди и справа — немцы, их долговременные укрепления и уйма смертей.

Самый дальний левый фланг переднего края. Дальше — верховья Невы и осажденная врагом Ладога.

Выехал я из города в восемь часов вечера. В девять прибыл на конечный пункт. Оттуда, от г. Колпино, от Ижорского завода до «Пяточка» прошагал двенадцать километров. Дважды останавливался: в штабах дивизии и полка, разговаривал с начальством, потому и прибыл в район переправы, когда начало светать: белая ночь перешла в прозрачный день. Стало быть, переправляться через Тосно без огромного риска нельзя. В штабах меня предупредили, что переправу немец обстреливает и минометным огнем.

Однако, зная все это, я спустился к черной торфяной реке. Хотел только посмотреть, как она выглядит. Но, оказавшись на берегу, я решил переправиться. Начальник переправы, рядовой боец, по виду малыш, не посмел отказать желанию лейтенанта.

Переправа — самая простая, но и хитроумная: широкая лодочка с низкими бортами, безвесельная, привязанная двумя железными канатами к носу и корме и буксируемая лебедкой, установленной на правом берегу Тосно, на земле «Пяточка», под защитой бетонных устоев разрушенного автодорожного моста.

Малыш-боец шепотом (немцы на виду, под соседним железнодорожным мостом) приказал мне плашмя лечь в лодку. Под звуки то и дело разрывающихся на воде пуль я вскочил в лодку, лег. Начальник переправы тихонько

свистнул. С правого берега потянули канат. Я лежал лицом к небу, смотрел на утренние кудрявые седые облака, а лодка бесшумно скользила по реке на виду у немцев. Сердце мое сильно стучало. Я смотрел на облака и думал о тебе, любимая, о Сашеньке, о том, что вы спите в этот час (два часа ночи с 6 на 7 июля) и не знаете, как я близко от смерти.

Вдруг лодка остановилась. С того берега, с берега «Пятачка» довольно громко крикнули: «Давай назад». Я невольно поднял голову. Мы стояли посредине реки. Оказывается, лодка зацепилась за башню танка, похороненного давным-давно на дне реки.

С Большой земли потянули лодку назад, сдернули с башни танка, после чего с «Пятачка» нас снова потянули к себе. Лодка зашуршала по песку днищем. Я выскочил на берег, поздоровался с переправщиками. Они отнеслись ко мне с уважением. Как я потом узнал, никто в светлое время обычно сюда не переправляется. Газетчики здесь не бывали.

Ну а что же я увидел на «Малой земле»? Конечно же — чудесных людей. Весь «Пятачок» вдоль и поперек изрыт траншеями. И очень глубокими. Когда-то, до войны, здесь было большое, с пристанью село Ивановское. Идя по траншее, я увидел на уровне своих плеч дорогу (шоссе) в разрезе, фундаменты сожженных домов, кузницу, корни старых деревьев, погреб, основание церкви, кладбище, истлевшие гробы, торчащие из земли руки и ноги убитых в прошлом году, увидел черепа, патронные и снарядные гильзы.

На переднем крае «Пятачка» разговаривают шепотом — немцы очень близко, есть такие места, где они всего в 25 метрах. Здесь иногда перебрасываются гранатами. Туда и оттуда. Немцы окопались на железнодорожной станции, среди разбитых вагонов и паровозов.

Фашистские снаряды буквально перепахивают землю ежедневно. В одно и то же время. Послеобеденное.

Однако гарнизон держится. Какой смысл в этой обороне клочка земли? Потери большие. Говорят, плацдарм для будущего наступления. Если так, то он стоит нам большой крови.

Все, что пережил на «Пятачке» (в сто раз больше, чем сообщаю в письме), расскажу в очерке «На берегах Невы и Тосно».

Женщин здесь нет и не бывало. Не для них этот постоянно действующий ад.

Переправился на Большую землю благополучно. В час ночи — в дальнейший путь. Шел сквозь белую ночь, под дождем. Спешил в редакцию. Был в дороге, когда белая ночь превратилась в розовый рассвет, когда выдохся дождь, когда взошло солнце, когда день настал, когда вы с Сашенькой проснулись. О многом передумал за несколько часов горячей ходьбы. Рад был, что еще раз убедился, как могуч и прекрасен советский человек, как много хорошего в нем проявляется на войне.

Но, добравшись на Невский, два, в редакцию, в ее полутемные коридоры, увидев хмурого редактора, я вдруг понял, почувствовал, что газету не интересуется все, что я раздобыл.

Предчувствие меня не обмануло. Редактор, не вдаваясь в подробности, сообщил, что сверху поступило указание воздержаться пока от публикации моих очерков и рассказов.

Вот так ясный день сменился мраком.

И горько и больно, Любонька. Я опять подумал о тебе — о том, что ты — единственное мое убежище, где могу преклонить голову, где верить, любят, желают добра.

Как видишь, пошло по-прежнему. Нет, теперь стало хуже. Ведь мы с тобой надеялись, что со старым раз и навсегда покончено. Нет ничего хуже утраченных иллюзий.

Помнят! Мстят!

Подготовленные к печати очерки рассыпаны. Пока живу в редакции. До выяснения обстоятельств у Жданова. В редакции никто ничего не понимает. Гадают на кофейной гуще: «Наверное, последовало указание из Москвы!»

Меньше всех понимаю что-либо я. Собственными ушами слышал от генерала Фомиченко, заместителя начальника политотдела Ленфронта, что он докладывал Жданову всю документацию обо мне и что Андрей Александрович сказал... Ну, ты все знаешь...

Не понравилась моя работа? Может быть, я не так понял Фомиченко? Может быть, Ан. Ал. вовсе не хотел сделать мне того, что обещал Фомиченко? Не знаю, что и подумать. Одно ясно — буду чувствовать себя на дне пропасти до тех пор, пока выяснится мое положение у Жданова. И теперь верю, что все разрешится благополучно, однако готов к самому худшему: к тому, что меня откомандируют из редакции в минометный взвод. Не взвод страшен, а то, что от меня отказались решительно, быть может, навсегда. Писатель без читателя — ничто.

Милая Любонька, не пугайся! Не конченный я человек. Ничего над собой не сделаю и в этом случае. Буду жить, работать, наперед зная, что меня не станут печатать. Буду писать для вас. Для себя. Для будущих лет. Не могу я не писать. Куда б меня ни забросила судьба, всюду стану писать.

Также ты должна знать, что я буду воевать без страха, с чистой душой. То, что мне в протянутую руку положили не цветок, а камень, плохо не отразится на моей преданности Родине. Любовь к ней примет более возвышенный, трагический характер.

Ты знаешь, что я и Отечество неотделимы. И тем не менее мне не доверяют, отталкивают.

Это ли не трагедия?!

М. Гордон, редактор «На страже Родины», сегодня должен быть у Ан. Ал. Ночью завтра летит в Москву. Послезавтра ты все будешь знать. Боюсь я за тебя — много моей девочке достается. И все из-за меня. Лучшей жизни ты заслуживаешь. И более удачливого мужа.

Молчу, Любонька, молчу. Глупости болтаю. Прости. С земным поклоном.

Пятница, 9 июля. Ночь

...Получил пачку твоих писем, где-то долго пролежавших. Сколько новостей ждет меня!.. Разрезаю одно за другим, раскладываю по датам, не читая. Успею — ночь впереди, В большом конверте обнаружил твою фотографию трёхлетней давности. И улыбка и надпись потрясли. Ты написала то, что мне надо сейчас, в чем всегда нуждался, во что всегда свято верил. Я тоже не чувствую себя несчастливым. Верно: наше с тобой счастье невозможно разрушить никаким внешним несчастьем. «Пусть твоя работа, милый, всегда вызывает на моем лице такую улыбку». Чудесно сказано! Я всегда стремился писать, чтобы ты радовалась. Но теперь во сто крат больше буду стараться заслужить твою улыбку. Это для меня будет высшей похвалой. Хорошо, что ты такая — строгая и доброжелательная.

Беспреданно радуюсь тому, что ты стала моей женой и другом.

Время от времени отрываюсь от писем и погружаюсь в работу над очерком.

Утро 10 июля

Перечитываю твои письма; наслаждаюсь, отвечаю на все то, что тебя волнует.

Ты прекраснее, выше всех моих похвал. Любишь так нежно, преданно, бесконечно, как я и не смел мечтать. Душа твоя ясная-ясная.

Обидно на себя, что смею иногда терзаться сомнениями, надевая тебя выдуманскими, несуществующими «пороками», «великодушно» мирюсь с ними. Не всегда достаточно высоко ценил твою прелесть, не всегда чутко и вовремя улавливал движения твоей души. Обкрадывал себя и тебя. Иногда привыкал.

Много упущено. Жаль. Кто знает, суждено ли хоть в какой-то степени наверстать потерянное. Война никому не гарантирует жизнь.

Нет, нет, мы увидимся, наверстаем упущенное. Люблю тебя сегодня сильнее, чем вчера. Любовь моя крепнет с каждым часом. Мое хождение на «Пятачок» было удачным благодаря тебе. Суеверие? Нет, ты мой талисман, который делает меня бесстрашным, бессмертным.

В моих словах нет никакого преувеличения. Правда, часть бесстрашия надо отнести на счет моего писательского любопытства, но только часть. Вспоминаю все трудные минуты своей военной жизни... И всегда ты и Сашенька и моя любовь к вам охраняли меня во всех переделках.

Никто и никогда не убедит меня, что я жив благодаря случайностям, каких на фронте тьма-тьмушая, а не потому, что вы незримо оберегаете мужа и отца.

Вот почему я верю в то, что мы встретимся, вот почему спокойно вглядываюсь в свое туманное будущее.

Труд и вы, любимые,— вот мои неразлучные спутники солдатской жизни. Ах, Любонька, где ты только не побывала за эти месяцы со мной — в землянках, окопах, на тропинках, в болотах, под снарядами и пулеметными обстрелами, на минных полях.

Полдень 10 июля

Ты пишешь: «Не тоскуй, любимый мой, без писем». Разве это возможно? Буду тосковать и выдумывать глупости.

Дальше: «Моя любовь к тебе неприкосновенна, чиста. И ты сам для меня на недосыгаемой никому высоте. Никто не может сравниться с тобой»

Прочитал — и радостно, и больно, и стыдно стало от этого твоего чувства. Достоин ли я его в полной мере? За мое трудолюбие ты меня любишь, за мою горячую душу, за то, что люблю человека, воспеваю его, да? Но где книжки, где плоды? Знаю, ты скажешь, я не виноват. Нет, виноват и я, Любонька.

Оправдаю твою веру, отблагодарю тебя за Любовь, за Сашеньку и за все. Я никогда, родная моя, не постарею. Пока жив, во мне не погаснет огонь. Много, много я еще сделаю.

Вся редакция разбрелась по домашним гнездам, временным, в войну приобретенным, и постоянным. А я сижу в своей темнице и перешептываюсь с тобой.

Без даты

Твой муж, милая женка, отстранен от всех фронтовых дел, выдворен из редакции и отправлен в ссылку. Не пугайся. Не в сибирскую тайгу, не к чертям на кулички — в Колыму. Всего-навсего в Озерки, живописный пригород Ленинграда, в пустующую дачу газеты «На страже Родины», стоящую на зеленом холме с видом на большое озеро, окруженное вековым лесом.

За какие грехи? За старые.

А как же недавнее ждановское помилование? Ликвидировано. Выяснилось, что оно было недостаточно высочайшим. Из Москвы не было указания. Изменить мою судьбу, сменив гнев на милость, может только ОН, единственный, известный тебе человек — Отче наш.

Тебя, конечно, интересует, что же дальше? Если бы я знал! Если бы кто-то знал! С перепугу, впопыхах, раскаиваясь, что сделали доброе человеческое дело без родительского благословения, меня поскорее удалили на дачу. Неопределенно сказали: «Живи пока здесь. До выяснения». Что, где, как будут выяснять — не знаю. Да и кто знает! Одно совершенно ясно: оторгнут от переднего края фронта. Не имею права печататься в любой газете, даже многотиражке.

Вот так, Любонька. Столько страдали, столько терпели, так надеялись, радужные планы строили — и снова у разбитого корыта.

Что ж, начнем все сначала.

Милая, не отчаивайся, не думай, что я окончательно пал духом. По-прежнему с утра до вечера работаю над очерками и рассказами о ленинградских фронтовиках.

Верь не верь, а это так — работаю. Другого способа жить для меня нет и не будет.

До свидания, Любонька. Надеюсь, ты не дрогнешь даже теперь.

12 июля 1943 г.

На Курской дуге вспыхнула битва небывалого масштаба. Вот где мне сейчас надо быть, а я... Работаю и я на Победу. В то время, когда был прикомандирован к фронтовой газете, успел побывать на всех участках фронта, окольцовывающего Ленинград. Но написать обо всем, что видел, чему был свидетелем, что сам пережил, не успел. Напечатано в «На страже Родины» немало, но далеко не все, что задумано. Опять отчужден. Поразительно, как мы все послушны, покорны, как быстро и прочно усваиваем чужое мнение и превращаем его в свое. Откуда у нас такие способности? От обезьяны? От бога? От лукавого? Родились же мы совсем не такими.

Не то, не то говорю, что хотел. Возвращаюсь к сути сегодняшнего дела.

Так как писать я не бросил и не брошу, так как посылать рассказы и очерки мне фактически некуда, то я буду переправлять все, что выходит из-под моего пера, в Москву, тебе, где я не отлучен, где считают меня человеком, достойным доверия и любви.

15 июля 1943 г.

В самый разгар работы над очередным очерком о переднем крае нашего фронта внезапно обнаружил в себе затаившегося, сверхбдительного редактора: подозрительного, опасющегося, как бы чего не вышло, как бы не промахнуться, как бы попасть в господствующую струю, как бы невзначай не написать, о чем не принято и не велено писать, как бы не проявить чрезмерную самостоятельность, как бы обойти стороной трагическую правду жизни.

Ужасное открытие. Последствия избиения 9 сентября 1940 года? Перерождение правдолюбца в отступника от правды? Древний инстинкт самосохранения? Вынужденная сделка с совестью? Битие и угроза нового бития определяют сознание? Или то, другое и третье, четвертое и пятое, вместе взятое? Очень похоже. Если так, то это пострашнее исключений, отлучений и прочего.

Со стороны, особенно с твоей, виднее. Внимательно

и придиричиво перечти все, что я тебе прислал. Если обнаружишь хотя бы тень, хотя бы намек на то, в чем я тебе признался, уничтожь все рукописи огнем и напиши только одно слово: «Сожгла». Не бойся за меня: выдержу и это.

Невдалеке от редакционной дачи, моей роскошной пересыльной тюрьмы для одинокого, с погонами и оружием арестанта, расположен полк ночных бомбардировщиков У-2. Туда сдал продаттестат, что дает мне право завтракать, обедать, ужинать в столовой для летного состава. Чудесные ребята летчики — все как один. И все хорошо относятся ко мне. И для всех остается тайной, что я фактически ссыльный лейтенант, а не полноправный корреспондент фронтовой газеты «На страже Родины», тем более не писатель, то есть не член Союза писателей. Не будешь же всем докладывать, что да как с тобой произошло осенью сорокового. Знай они обо мне правду, вернее, то, что иные считают правдой, я бы, разумеется, не был бы допущен к полету в тыл врага.

Полетел! Прозевали меня всегда зоркие особисты Смерша. Утешаю себя тем, что я их не подвел и не собирался подводить.

Посылаю очерк «На ночном бомбардировщике». Отнеси в «Красную звезду».

Без даты

Если я себя и оговорил во вчерашнем письме, то и это пойдет на пользу. Уже, собственно, пошло. Сегодня пишу не так, как вчера. Все фронтовые события рассматриваю через призму правды жизни. Во всем, что переживаю на фронте, стараюсь докопаться до сути. Правду о передовой нередко скрывают: преувеличивают потери врага, в случае неудачи наступления ссылаются на сокрушительный огонь противника, на непреодолимые инженерные заграждения и укрепления, сообщают о собственных больших потерях с опозданием, чтобы получить харч и наркомовские сто граммов на мертвые души, иногда награждают не действительных героев, а тех, кто умеет угождать командиру роты, батальона, кто безоглядно бросает бойцов в пекло лобовой атаки. В общем, неправды, несправедливости хватает и там, где не должно ее быть прежде всего. Но ты резонно ответишь, что, если и напишу такую правду, кто же ее напечатает? Верно. Между писателем и читателем существует редактор. Редактор же, дескать, прекрасно знает, что нужно знать читателю, а чего не нужно.

Но и редактор не хозяин. Над ним существует большая иерархическая лестница.

Ты знаешь, что мое положение обязывало меня добывать материалы для своих очерков в самых опасных местах фронта, куда проникает далеко не всякий корреспондент. Я так и делал. Терять мне нечего — все давно пропало. Как говорится в народе: пан или пропал. Я должен написать исключительно интересные военные очерки, причем несколько не похожие на лучшие очерки о Сталинграде Симонова и Гроссмана. Только в этом случае Ортенберг о с м е л и т с я послать их с а м о м у и попросить разрешения напечатать в «Красной звезде». Требование жесточайшее, почти невыполнимое в условиях Ленинградского неподвижного фронта, где сейчас не происходит даже боев местного значения.

А на Курской дуге в эти дни разгорается битва, от которой зависит судьба Десны, Днепра, большей части Украины и, может быть, Белоруссии, Прибалтики. Внимание всей страны приковано к Курской дуге.

И все же я решил посоревноваться с военными корреспондентами, пишущими о сражении под Орлом, Прохоровкой, Курском, Белгородом и на Харьковском направлении. Мой удел — не масштабность боев, а какая-нибудь драматическая история, особенный момент на переднем крае, яркий характер фронтовика. Материала достаточно, дело теперь за умением хорошо написать.

...Написал. Посылаю. Опять решительное слово за тобой, Любонька. Если понравится, перепечатай и отнеси в «Красную звезду». Название — «Искушение кровью». Почему-то уверен, что на этот раз дрогнет Ортенберг. Полсотни рукописей отклонил, а эту напечатает.

17 июля 1943 г.

Красное лето. Зенит тепла, солнечного света, буйного роста деревьев, трав, цветов, ясного неба. Озеро прогрето до дна — не остывает и ночью. Ты, Любонька, уже знала, что свершилось долгожданное, и ликовала, посылая мне в Озерки свои сердечные радиоволны, а я... я с утра приковал себя к письменному столу, доделывая очерк, вчера написанный начерно. Не отзывался на твои настойчивые сигналы, не предчувствовал, что гроза счастья уже разразилась над опальным ссыльным писателем. Вот тебе и хваленая моя чуткость и предвидение.

Закончив работу, я вышел на крутой обрыв и, заложив руки за голову, растянулся на траве.

В таком состоянии и нашли меня редакционные ребята. Никто со мной не поздоровался. Никто ни единого слова не произнес. Но все почему-то сияли, загадочно смотрели на меня. В чем дело? Что произошло?

Володя Карпов разворачивает «Красную звезду», кладет передо мной, и я вижу заголовок, набранный крупными буквами: «Искушение кровью», а чуть ниже, над трехколонником — собственную фамилию, которую центральные газеты не печатали целых три года. И я тоже ничего не сказал своим друзьям. Прижался лицом к траве, заплакал.

Я понял, что Сталин по ходатайству Ортенберга помиловал меня.

Письма, письма, письма. Письма отца и мужа, рожденные долгой разлукой с семьей. Письма писателя и специального корреспондента дивизионной, фронтовой и центральной военных газет. Письма фронтовика с неперенным штампом на тексте «Просмотрено военной цензурой». Письма с берегов Невы и Ладоги, Десны и Днепра, Буга и Сана, Вислы и Одера, Нейсе и Шпрее, Эльбы и Влтавы. Письма жене и сыну, матери и братьям. Письма в «Красную звезду». Письма-очерки, напечатанные в «Красной звезде». О водружении красной хустики вместо флага над Киевом. О зверствах немцев в Бабьем Яре. О стремительном наступлении наших войск там, где два с лишним года назад мы отступали. О выходе на государственную границу с востока на запад победоносных армий Пухова, Рыбалко, Лелюшенко. О форсировании Сана и Вислы. О Сандомирском плацдарме. О сокрушительном поражении немцев в междуречье Нейсе и Одера. О штурме немецких крепостей, прикрывавших столицу Германии.

Письма из поверженного Берлина.

И с Красной площади...

24 июня 1945 года на Красной площади состоялся Парад Победы.

За два дня до великого праздника я был далеко от Москвы, вблизи Эльбы. Мои боевые товарищи, кому выпала честь принимать участие в параде, выехали в столицу специальным поездом, а мы с Любой помчались им вслед на обтекаемой, похожей на ракету восьмицилиндровой «татре». С Любой?.. Да! А как же она пробилась

на фронт? Каким чудом к Дню Победы мы оказались вместе, да еще в Берлине, Дрездене, Шпротау, Загане, Праге, Братиславе?

Прилетела к тяжело раненному мужу с удостоверением военного корреспондента «Красной звезды». По существу, и она, а не только врачи и сестры, выходила меня. Срослись шесть ребер и ключица.

Более трех лет понадобилось армии, чтобы преодолеть военное пространство от Центральной России до Праги, а «татра» пролетела 2516 километров за полутора суток. Коротки и легки мирные дороги!

Бетон и асфальт международных автострад, еще сохранившие следы войны... Горы и долины Чехословакии, зеленые и веселые, какими они никогда не были... Притихшие, выжидающие окраины восточной Германии. Радостно взбудораженные города и села Польши... Разоренная и сожженная и уже начинающая восстанавливаться Белоруссия... Трагическая Смоленщина... Бородинское поле, особенно дорогое сегодня.

Самые длинные, самые светозарные дни года и самые короткие ночи. От зари до зари. Остановившаяся только для заправки горючим, мчались в Москву.

В половине одиннадцатого были от Москвы за полтораста километров. Без четверти двенадцать проскочили Поклонную гору. В полночь под звон кремлевских курантов нарочито медленно проехали по Красной площади, где завтра, то есть уже сегодня, начнется Парад Победы. И в самых радужных фронтовых мечтах я не смел предположить, что вот так вернусь с войны, вот так буду праздновать дни мира.

Строго говоря, праздник Победы для меня, да и не только для меня, начался давно, еще там, далеко за Прагой, когда прозвучали последние выстрелы Отечественной войны, когда над пылающим рейхстагом взвилось наше знамя, когда дрожащей рукой гитлеровского фельдмаршала был подписан акт о безоговорочной капитуляции.

Праздник Победы бушевал по всей планете Земля. День за днем, неделя за неделей. Особенно хорошо видно счастье людей на дорогах, ведущих из Германии на восток и запад. Четыре года гитлеровцы гнали, тащили, волокли в свою кровавую империю миллионы рабов — русских, украинцев, поляков, чехов, словаков, болгар, румын, французов, голландцев, военнопленных англичан, американцев. Теперь эти люди, освобожденные нашими войсками, хлынули домой. Идут пешком. Едут на велосипедах.

На фурманках, на машинах, запряженных лошадьми. На помещичьих экипажах. Верхом. Толкают тележки, детские коляски. Забиты дороги, обочины. От Берлина до Варшавы, от Варшавы до Минска, от Кенигсберга до Риги. При солнце и звездах не останавливается людской поток. Домой, к родным спешат вчерашние рабы и смертники. Изможденные лица, полосатая арестантская одежда, особые, вшитые, знаки на рукавах. Но не было в потоке ни одного человека, на челе которого не горел бы огонь счастья, свободы, обретенной жизни. С благодарностью, с восторгом встречали каждого советского воина.

Тихо и пустынно сейчас на Красной площади, где через несколько часов потекут и загрохочут колонны победных войск, машин и орудий. Серая, расчерченная белыми параллельными линиями брусчатка.

Ручонка Саши теребит мое плечо, и нежный умоляющий голос шепчет в самое ухо:

— Папа, вставай скорее, уже день на улице!

Открываю глаза. Передо мной в длинной белой рубашке восьмилетний Сашка, выросший и открывший для себя мир, пока отец был на фронте. Хмурый, с низкими тучами, с дождем рассвет. Часы на Спасской башне бьют семь.

— Вставай, папа!

Притягиваю к себе сына, укладываю в кровать рядом. Он холодный и дрожит. Боится опоздать на парад. Вчера ночью я пообещал взять его на Красную площадь и так растревожил, что он, видимо, не спал всю ночь.

— Папа, не спи!

— Полежи, Сашуша. Замри! Я всю войну мечтал вот так встречать с тобой День Победы!

— Папа, вставай, опоздаем!

— Успеем.

— Танки уже на Красной площади, я слышал, как они гремели. Люди идут на парад. Я видел в окно. Вставай!

— Встаю, сынок, встаю!

Наскоро завтракаем и выходим на мокрую улицу. Под дождем проходим по Большому Комсомольскому, по безлюдной Кировской, пересекаем пустынную площадь

Дзержинского и попадаем на улицу 25-го Октября. Почти бежим, а Сашка боится, что опоздаем.

— Папа, без нас не начнется Парад Победы?

Новые для себя слова «Парад Победы» выговаривает с великим значением, какого они заслуживают. И не удивительно. Мальчик рос в долгие годы войны, нашу победу вымечтал и выстрадал вместе со взрослыми.

— Папа, зачем сегодня идет дождь? Почему пропало небо?

— Это же хорошо, что идет дождь. Для земли хорошо. Для хлебных полей. Для лесов.

— Надо было ему пойти вчера. Или завтра. А сегодня должно было светить солнце.

— Для победителей никогда не заходит солнце. И в дождь.

Саша посмотрел на хмурое небо, поплотнее закутался в плащик и ничего не сказал.

Под бой часов на Спасской башне вступаем на Красную площадь. Идем вдоль Кремлевской стены, ищем свое место, обозначенное в пригласительном билете. Нам повезло. Сектору прессы отведен передний угол громадной белокаменной трибуны. Мавзолей Ленина рядом, сразу за барьером. И вся Красная площадь из конца в конец видна.

От собора Блаженного до Исторического музея Красная площадь наводнена неподвижными войсками.

Теплый влажный ветер с дождем колышет боевые знамена, пронесенные сквозь сражения. Сверкают боевые ордена на древках. Всеми цветами радуги переливаются орденские ленты.

Цвет армии, герои Отечественной войны, славные из славных замерли в торжественном строю. Маршалы и генералы, полковники, майоры, капитаны, лейтенанты, сержанты и рядовые. Солдаты-победители. Советские люди, ставшие бойцами. Юные. Морщинистые. Седоусые. В шрамах и рубцах. Прокаленные злым огнем долгой войны.

Вдохновенная печать Победы лежит на каждом лице.

Беспрестанная, на протяжении четырех лет военная гроза венчается тишиной.

Тишина Победы! Ты лучшее, что слышал солдат за годы войны.

Саша властным движением ручонки заставляет меня наклониться к себе, спрашивает:

— Папа, Сталин тоже пришел на Красную площадь?

- Пришел.
- Где же он?
- Здесь. На трибуне Мавзолея.
- Покажи.

Беру сына на руки, поднимаю. Мавзолей в десяти метрах или чуть больше. Трибуна и все, кто на ней, — как на ладони.

— Видишь?

— Ага. Под дождем стоит. Старенький. Не промокнет?

— Закаленная сталь не боится дождя.

— Значит, стальной человек? Потому и называется Сталиным?

— Человек обыкновенный. Воля стальная.

Саша, не отрывая глаз, смотрит и смотрит на Сталина.

— Папа, почему он не радуется? Сердится на кого-то, да?

Вглядываюсь в лицо Сталина. Действительно... Чересчур серьезен для такого праздника. Жаль. Такая война выиграна! Такая победа одержана!

— Папа, почему молчишь? Я спрашиваю: Сталин на кого-то рассердился?

— На бога, наверное. Не послал нам хорошую погоду. Ты прав, надо было дождю быть вчера или завтра. А сегодня светило бы солнце.

— А почему Сталин не приказал богу послать на землю хорошую погоду?

Все, кто слышал наш разговор, не могли сдержать улыбок.

Дождь льет и льет. Нам с сыном не страшно — мы предусмотрительно обрядились в длинные, до пят, трофейные непромокаемые плащи-накидки. А Сталин, наверное, промок до нитки. Почему без плаща? Потому, что все участники парада тоже без плащей.

Пока я вот так размышлял, к Сталину подошел со спины глава государственной безопасности Меркулов и бережно накинул на потемневшие от влаги плечи серую плащ-палатку. Сталин быстро, испуганно, как показалось мне, обернулся и гневным движением плеч сбросил плащ.

Бронзовая стрелка на часах Спасской башни медленно приближается к десяти.

Из Спасских ворот выезжает маршал Жуков. Белый гордый конь в голубых чулках легко несет гордого всадника по Красной площади.

От Исторического музея на гнедом коне скачет маршал

Рокоссовский. Полководцы встречаются напротив Мавзолея. Заместитель Верховного главнокомандующего принимает рапорт от командующего парадом. Грациозным движением руки Рокоссовский достает из-за борта мундира строевую записку, передает Жукову. Потомки с благоговением будут читать в будущем музее Отечественной войны этот исторический документ, который расскажет о личном составе войск, участвовавших в Параде Победы.

Жуков и Рокоссовский объезжают войска, поздравляют с Победой. Ответные слова звучат торжественным эхом.

Под звуки фанфар прославленный маршал Жуков поднимается на трибуну Мавзолея. Обращается к войскам с речью от имени живых и мертвых. До чего же хорошо говорил! Голосом народа. Голосом народного Героя. Первый и главный маршал Победы.

Тысячекратное «ура» перекачивается по Красной площади. Гремит канонада победных салютов. Гром «ура» и гром пушек сливаются с Гимном Советского Союза.

Трубы и флейты умолкают. Разносятся слова командующего парадом:

— К торжественному маршу.

Грянули литавры, загрохотали барабаны.

Парад открывает сводный полк героев Отечественной войны Карельского фронта. Впереди — Маршал Советского Союза К. А. Мерецков, командующие армиями. Сверкают обнаженные палаши. Солдаты Севера и Заполярья сдержали бешеный натиск гитлеровских полчищ на Мурманск, преградили дорогу на восток в дремучих карело-финских лесах, освободили столицу Карелии — Петрозаводск, порт Петсамо и север Норвегии.

Идет сводный полк Ленинградского фронта. Во главе солдат, изумивших мир стойкостью, великим терпением, легендарной отвагой, — Маршал Советского Союза Л. А. Говоров.

Триумфальное шествие 3-го Белорусского фронта открывает Маршал Советского Союза Василевский. Его бойцы первыми ворвались в Восточную Пруссию.

Проходят сводные полки двух фронтов, блистательно прошедшие заключительный этап Отечественной войны, — 2-го Белорусского и 1-го Белорусского. Несут тридцать шесть исторических знамен, водруженных в Берлине.

Маршал Советского Союза Конев ведет сводный полк 1-го Украинского фронта. Командующие армиями, начавшие службу Родине с простых солдат, идут за маршалом:

Рыбалко, Жадов, Пухов, Гордов, Лелюшенко, Красовский, Коротеев.

4-й Украинский ведет генерал армии Еременко.

Во главе с маршалами Малиновским и Толбухиным проходят освободители Балкан, первыми изгнавшие врага из пределов Родины.

Черное и Балтийское моря, дунайские и днепровские флотилии прислали лучших воинов на Парад Победы — сводный морской полк во главе с вице-адмиралом Фадеевым.

Дождь переходит в ливень. Отвесные тугие струи секут шеренги войск.

Триумфальное шествие замыкает необычайная колонна. Двести солдат и сержантов несут на склоненных древках разноцветные, как перья попугаев, свернутые полотнища. Это трофеи наших войск, попранные знамена врага.

Поравнявшись с Мавзолеем, колонна останавливается, делает правый разворот. Люди на трибунах замирают в радостном предчувствии. Умолкает оркестр. Седоусый капельмейстер генерал Чернецкий взмахивает рукой. По Красной площади разносится глухая дробь барабана — жестокая музыка, которой с древних времен сопровождается публичная казнь. Краснозвездные солдаты подходят к Мавзолею и движениями, исполненными презрения, бросают на брусчатку вражеские знамена. Расшитые шелком, золотом и серебром, перевитые орденовыми лентами всех цветов тряпичные символы черной германской империи, принесенные на остриях штыков во время франко-прусской войны в Париж, развевающиеся над Парижем в 1940—1944 годах, унизившие Афины, Белград, Будапешт, Прагу, Варшаву, Бухарест и Софию, — кучей лохмотьев лежат у подножия Мавзолея, у ног народа-победителя.

Оркестр покидает Красную площадь.

Льется и льется по священным камням поток славы и могущества Советской Армии.

Доносится цокот копыт. На площадь вылетает сводная кавалерийская бригада. Впереди — генерал-лейтенант Кириченко. Прекрасные лошади. Лихие русские тачанки.

Проносится мотопехота. За ней — легкие зенитные дивизионы, потом тяжелые, те, кто в годы войны защищали московское небо.

Красную площадь наводняют орудия всех калибров, от знаменитых пушек, прожигавших броню хваленых «королевских

тигров», до тяжелых и сверхтяжелых систем, штурмовавших и сровнявших с землей бастионы Кенигсберга, Будапешта, Бреслау и Берлина.

Прекрасны и грозные «катюши». Прекрасен и тот невидимый на параде, но всеми ощущаемый труд творцов оружия, труд рабочих и работниц. Тридцать лет назад русская армия имела около десяти тысяч стволов. В годы Отечественной войны только один завод на Урале выпустил сто тысяч орудий.

Прошумели мотоциклы, бронеавтомобили. Промчались авиадесантные войска в черных шлемах и синих комбинезонах — парашютисты.

Прогрохотали самоходные орудия и танки, проложившие дорогу к Берлину.

Течет и течет победоносная лавина мимо Мавзолея. Содрогается Красная площадь.

Парад подошел к концу, а для меня продолжается. Я перестал что-либо слышать. Тишина. Тишина для меня одного.

Сквозь толщу времени, сквозь свинцовые запреты и секретность, сквозь несметные преграды я вижу на Красной площади еще одну колонну. Она появилась со стороны Исторического музея. Сводный полк маршалов, командармов, комкоров, комбригов, комдивов, армейских, корпусных, дивизионных, полковых, батальонных комиссаров. Впереди, во главе колонны, — Тухачевский, Егоров, Блюхер, Уборевич, Якир, Корк, Эйдеман, Примаков, Раскольников, Дыбенко, Антонов-Овсеенко. Представители красных командиров молодой Красной Армии. Ее основатели, отцы, ее водители в годы гражданской войны и в годы становления. Первые краеугольные камни Победы в Великой Отечественной — дело и их рук. Воскресли из мертвых. Оправданы Историей, Справедливостью, Правдой, Истиной. Делят поровну с нами плоды Победы. Сегодня это знают немногие, а завтра... Люди такого масштаба не пропадают без вести.

Прошли бесшумно, молча. Суровые, гордые лица.

Сашка тормозит меня. Я очнулся.

— Папа, а где сейчас твой командир Пухов?

— Здесь.

— Где?

Я повернул мальчика лицом к Мавзолею, у подножия его стояла группа командующих фронтами и армиями.

— Видишь высокого плечистого генерала? Это и есть мой командарм. Хочешь, я тебя познакомлю с ним?

— Хочу.

Выждав момент, когда генерал-полковник Пухов приблизился к нам, я окликнул его:

— Николай Павлович, здравствуйте! Мой сын хочет познакомиться с вами.

Пухов, улыбаясь, подходит к барьеру трибуны, протягивает мальчику руку:

— Здравствуй... как зовут тебя?

— Саша.

— Понравился тебе парад?

— Очень понравился.

— И какой род оружия ты выбрал?

— Что?

— Я говорю, кем ты будешь, когда вырастешь: пехотинцем? танкистом? артиллеристом? десантником?

— Я буду победителем.

Пухов доволен ответом, смеется. Смеются все, кто слышал этот разговор прославленного генерала и первоклассника.

Пухов переводит взгляд с моего сына на меня:

— Ну, капитан, кажется, отвоевались. И победу отпраздновали.

— Да, товарищ генерал. Отвоевались. На многие-многие годы.

— Что теперь собираетесь делать?

— Все то же, Николай Павлович, что и раньше: писать.

— О чем? О ком?

— О солдатах, снявших шинели. О их работе на земле и под землей. О рабочих людях. Буду путешествовать по Донбассу, Волге, Уралу.

— Ну что ж, желаю счастливого пути.

— Спасибо, Николай Павлович.

Так мы попрощались с командармом Тринадцатой.

Позванивая шпорами, Пухов отошел от Мавзолея.

Август тысяча девятьсот восемьдесят восьмого.

Только через несколько десятилетий мне открылась тайна мрачного лица Сталина на параде в честь Победы. Всенародная радость, а он... злился на свою старческую немощь, страшно завидовал тем, кто помоложе и поздоровее его, шестидесятипятилетнего. Маршал Жуков в своих

записках, опубликованных в конце восьмидесятых, рассказал, что самому Сталину страсть как хотелось командовать парадом: выскочить из ворот Спасской башни на белом коне, прогарцевать перед Мавзолеем, объехать войска всех родов оружия, поздравить с великим днем. Он даже некоторое время учился в манеже верховой езде. Старик в седле? Ну и что? Лев Толстой и в восемьдесят совершал верхом на коне прогулки по полям и лесам Ясной Поляны. Так то Толстой, кавалерист с юных лет, а Сталин, хотя и кавказец, выглядел на белой лошади как чучело, набитое соломой. Он понял это без подсказки со стороны. Спустился на грешную землю и, добродушно подсмеиваясь над собой, сказал окружавшей его свите:

— Куда конь с копытом, туда раку с клешней не следует соваться.— И, глядя на одного Жукова, приказал: — Назначаю вас командующим парадом.

Хорошо распорядился самим собой. Хозяин! Если бы он хотя бы десять лет назад, перед XVII съездом партии, сказал Кирову:

— Сергей, садись в кресло генсека, бери бразды правления в свои руки, а я... уеду в Горы, буду выращивать виноград.

Не сказал. И не подумал о такой замене. Власть, как известно, никто не отдает добровольно. Только смерть и революция лишают тиранов и дураков престола. И только время, чаще всего длительное, ценой большой крови, голода, унижения нищего народа, неопровержимо устанавливает, кто есть кто.

Более четверти века назад глава о Параде Победы в рукописи «Вся красота человечества» была представлена московским издательствам и отвергнута. Один редактор потребовал убрать «призраки забытого прошлого». Второй захотел вырвать строки о Сталине, даже не упоминать его имени, будто не присутствовал на параде. Третий попросил усилить образ генералиссимуса. Четвертому показалось, что я выпячиваю, в ущерб Верховному, маршалов Жукова и Рокоссовского. Пятый указал, что автор уделил чрезмерное внимание несмышленому сыну. В конце концов, я согласился напечатать главу в сильно урезанном виде. Теперь, пользуясь всеобщей преданностью правде, восстановил я выброшенное редакторами.

Судьбе заблагорассудилось устроить мне еще одну встречу со Сталиным. Через тринадцать лет после первой. Встречу живого с мертвым. Жертвы с палачом. Идолопоклонника с идолом.

По воле или капризу судьбы я должен был рассказывать миллионam радиослушателей об одетом в траур Колонном зале, о том, как переживает великую потерю Москва и вся наша страна. Об этом же как спецкор «Огонька» я должен был написать на страницах журнала.

Я был поражен, что именно мне доверили освещать похороны Сталина.

Вслед за изумлением возникло чувство страха, что где-то кто-то в последний момент вспомнит, как Сталин предавал меня анафеме.

Вспомнят и не допустят в Колонный зал.

Припадки страха в последние тринадцать лет часто мучили меня. Припадки, ниспосланные «всевышним».

До войны — страх, что моя работа в любое время может быть прервана людьми Берии, которым Сталин прикажет добить меня. Он может быть разгневан, что я не удавился, не пустил себе пулю в лоб, что, проклятый им, не потерял веру в себя, что, всем чертям назло, пишу каждый день, несмотря на тяжелые шахтерские упряжки.

Страх перед будущей критикой моего нового романа, перед возможностью нового клейма, страх перед драматизмом собственной жизни и жизни, окружающей меня, страх перед истинной конфликтностью, которую Сталин воспринимал как очернительство социализма,— этот естественный в моем положении страх не покидал меня. Мною не осозанный, он, очевидно, в какой-то степени, может быть, даже в большой, влиял на то, что выходило из-под моего пера.

И во время войны меня преследовал страх. Нет, не смерти я боялся на переднем крае. Опасался снова вызвать гнев Сталина. После каждого очерка, напечатанного в армейской газете, я ждал расправы Верховного.

Но он неожиданно-негаданно сменил гнев на милость.

В первых числах июля 1943 года главный редактор центральной военной газеты «Красная звезда» Ортенберг послал Сталину через фельдъегерскую почту короткое письмо-просьбу разрешить напечатать мой фронтовой очерк «Искупление кровью», в котором рассказывалось о боевом подвиге, совершенном бойцом штрафного

батальона Соловьевым. К письму приложил типографский оттиск очерка. Уже через час позвонил Поскребышев и соединил Ортенберга со Сталиным. Сталин сказал: «Можете печатать. Авдеенко искупил свою вину».

Напечатали громадный трехколонник, фамилию автора, три года назад изгнанного из печати, вынесли наверх. Но даже теперь я боялся, что Сталин вдруг передумает, еще раз изменит отношение ко мне и снова предаст анафеме.

После публикации очерка «Искупление кровью» я часто печатался в «Красной звезде», в 1944 году опубликовал в «Новом мире» роман «Большая семья» — и все же не распрощался со страхом. Боялся, что Сталин, прочитав, с прежней яростной силой раздраконит меня.

Боялся при его жизни. Боюсь и после смерти. Он и оттуда, с того света, грозит дамочковым мечом.

Тем не менее не отказываюсь вещать по радио о его похоронах.

В шестнадцать ноль-ноль откроется доступ к телу Сталина. Позвонил о пропуске в Колонный зал и услышал почтительное разъяснение. Никаких пропусков не будет. Вход в Колонный зал для специальных корреспондентов с Пушкинской улицы, второй подъезд. Моя фамилия внесена в список.

От «Правды» до центра машиной не добраться. Все улицы и переулки забиты народом, устремившимся к Колонному залу.

Решил добираться подземным транспортом. Сел в метро на станции «Динамо», вышел в центре. У бездействующих эскалаторов дежурили милиционеры и всем желающим подняться наверх терпеливо-вежливо отвечали, что выход закрыт. Я подошел к их старшему и, соревнуясь с ним в терпении и вежливости, объяснил, куда и зачем направляюсь и почему меня надо пропустить. К моему удивлению, он сразу поверил мне и, посторонившись, пропустил.

Отменно вежливыми, предупредительными были и люди, контролировавшие боковой подъезд Дома союзов. Когда я назвал свою фамилию, никто не попросил меня предъявить паспорт или корреспондентский билет. Заглянули в сколотые скрепкой списки, пропустили, предложив раздеться. Я снял пальто и шапку в гардеробе первого этажа и поднялся на второй. Перед входом в зал

передо мной появился человек в штатском с военной выправкой. Он тихо, опять-таки отменно вежливо попросил назвать свою фамилию. Я объяснил, кто я и что. Он указал на дверной проем.

— Пройдемте!

Я вошел за провожатым. Мы аккуратно вторглись в людской поток, пересекли его и попали в Колонный зал. Меня подвели к месту, где я, по чьим-то соображениям, должен был стоять.

Мой корреспондентский пост находился у самой сцены, под огромной пальмой в лакированной кадке. Все видно. В нескольких шагах возвышается громадный постамент. На нем — наклонно — гроб с усопшим. Масса цветов, венков. Красный бархат, атлас, шелк. Ордена, золотые звезды — на атласных подушечках.

Постамент задрапирован не со всех сторон. Я вижу его изнанку — массивные брусья подпорок, железный переплет днища, на котором стоит гроб. Распорядители с повязками на рукавах иногда заходят под этот навес пустотелого постамента и озабоченно шепчутся, нисколько не смущаясь, что над ними его останки.

Людской поток течет из конца в конец зала, по темно-красной ковровой дорожке.

В первые часы своего стояния под пальмой я почти не отрывал глаз от него. Видел я Сталина и при жизни в нескольких шагах от себя, слышал хриловатый голос, чувствовал испепеляющий взгляд, устремленный на меня и на еще кого-то, будто бы затаившегося во мне, ужасался тем чудовищным обвинениям, которые он обрушивал на меня. На всю жизнь запомнились резкая жестикуляция, привычка беспрестанно двигаться, вышагивать туда-сюда по тесному пространству, манера заправлять папиросным табаком трубку и медленно раскуривать.

Тогда, в сентябрьскую ночь, я хорошо разглядел Сталина. И все-таки теперь жадно вглядываюсь в него. Неживые рыжеватопепельные усы. Запечатанный рот. Непривычно кроткое, желтоватое, исхудавшее лицо. Закрытые глаза, метавшие в течение многих лет разящие молнии. Неестественная гладкость щек, носа, лба — искусные руки гримеров тщательно заделали глубокие следы оспы.

Мне, заклеяменному лично товарищем Сталиным, надо бы смотреть на него без розовых очков. Куда там! Чувствовал себя осиротевшим. Столько лет мы с ним шагали в будущее. Вместе строили Днепрогэс, Магнитку,

множество индустриальных крепостей. Вместе искореняли частную собственность в деревне, заменяя ее красотой колхозного труда. Вместе открыли и приручили силу народного энтузиазма, энтузиазма первопроходцев. Вместе провозжали Чкалова и Громова в беспосадочные перелеты за моря и океаны. Вместе воевали на всех фронтах. Форсировали Днепр, Вислу, Одер. Штурмовали Берлин. Встречали День Победы. Ликовали, когда испытали нашенскую атомную бомбу. Вместе надеялись и дальше шагать. Он представлялся бессмертным, вечным. И вдруг... Траурная музыка, трагический голос диктора: «Центральный Комитет КПСС и Советское правительство с глубоким прискорбием извещают партию и народ, что в ночь с 4 на 5 марта...»

Нежданное, неутешное горе. Молчаливое, тысячеликое, проходит оно сейчас через Колонный зал. Лица, лица, лица. Печальные, удивленные, любопытные, заплаканные. Мужские. Женские. Старые. Молодые. Детские.

Все головы напряженно повернуты в его сторону. Был мало кому доступен при жизни. Хочется хорошенько рассмотреть, какой о н.

Смотрят люди и не понимают, как смерть могла не пощадить гения всех времен и народов.

Внимание мое внезапно переключается с людского потока на подвижную, далеко не скорбную фигуру человека в светло-сером костюме, с сегодняшней «Правдой» в кармане пиджака. Это Никита Сергеевич Хрущев. Возглавляет комиссию по похоронам. Совершенно очевидно, что он именно в этом качестве появился в Колонном зале без соратников. Интересуется, все ли в порядке.

На какое-то время он исчез — скрылся по другую сторону постамента. Появился уже не один, а со Светланой Аллилуевой, рыжеволосой дочерью Сталина. Они стояли под навесом постамента в полумраке, так сказать, за кулисами похорон, и о чем-то оживленно говорили и даже, мне показалось, улыбались. Никита Сергеевич по-отечески обнимал Светлану одной рукой.

Меня поразило это маленькое событие. Поразило несоответствие их настроения с настроением людей, проходящих мимо гроба.

Побеседовали о чем-то своем и пропали.

Не умолкают скрипки и виолончели. Негодует и рыдает Бетховен. Скорбит Григ. В глубокой задумчивости роняют слезы Шопен, Моцарт, Чайковский.

Справа от дверей, откуда вливался в зал людской поток, в ложе между белых колонн я увидел высокого седовласого человека. Он стоял и внимательно вглядывался в проходивших людей. Василий Мефодьевич Верховых! Мой фронтовой друг. Комиссар госпиталя. Старый большевик. Человек с драматической биографией. В тридцать седьмом его бросили в тюрьму как врага народа. Неожиданно посадили, так же неожиданно и освободили. Повезло, конечно.

На фронте мы встречались нечасто, в периоды затишья. Тогда я по нескольку дней жил в его госпитале, писал очерки. Вечерами играли в шахматы, а то и в преферанс, если находился подходящий партнер.

Когда меня вновь стали печатать в центральных газетах, был опубликован в «Новом мире» роман «Большая семья» и выяснилось, что мне не заказан путь в партию, я обратился к Василию Мефодьевичу с просьбой дать мне рекомендацию. Он тут же ее написал. Правда, она мне не пригодилась: он не был моим однополчанином.

Дали мне свои рекомендации и однополчане. И весной 1944 года в Западной Украине, в деревушке Верба принимали меня в партию — заново!

Не за горами было летнее наступление, в результате которого мы вышли на Сандомирский плацдарм. Вслед за первыми батальонами я переправился через Вислу уже с кандидатской карточкой в кармане офицерской гимнастерки. Хотел быть на самом переднем крае и как корреспондент «Красной звезды» пробился туда вместе с корреспондентом «Правды» Сергеем Борзенко. У Сергея на груди сияла Золотая Звезда Героя. Он получил ее год назад под Новороссийском. Я и без Звезды чувствовал себя счастливым. Воскресение. Возрождение. Коммунист! Опять коммунист!

...Улучив момент, я протиснулся в третью ложу. Василий Мефодьевич сосредоточенно глядел на гроб и не сразу заметил меня. Но как только увидел, заулыбался, воскликнул:

— Ты, роднуша?! Сколько зим, сколько лет! И свиделись-то где? У подножия усопшего Хозяина! Не могли выбрать другого времени!

Обнял меня, увел в фойе. Уселись на скамью и говорили, говорили...

— Во зрелище! А? — сказал Василий Мефодьевич.— Затмило всемирный потоп, гибель Помпеи. Содрогнулась земля от Нарыма до Крыма. Почернели людские души.

Что-то будет? Где-то грянет? Как аукнется? Спаситель человечества покидает землю, возносится на небеса. А что на улицах делается?! Похлестче Ходынки. Топчут друг друга москвичи. Бессмертный помер! Милиция на вздыбленных конях!.. Войска!.. Все входы в центр закупорены. Очередь на километры. Ни проехать, ни пройти. Во как!.. Мы Ильича хоронили скромнее. Без конной милиции, без давки, смертей, без Золотых Звезд. Что молчишь? Судя по опухшим глазам, ты, роднуша, дни и ночи плачешь. А?

— Как все, Василий Мефодьевич.

Он сердито мотнул головой.

— Не все, роднуша, не все плачут и рыдают. Немало и таких, кто крестится: «Слава тебе, боже, прибрал, наконец!!! Поздновато. Но лучше поздно, чем никогда». Я среди тех, кто крестится.

Я осторожно оглянулся, не слышал ли кто старика. Вроде никому нет дела до нас. Хорошо, если так...

— Тебе, роднуша, тоже бы надо креститься, а не слезами обливаться. Имеешь полное право. Измордовал тебя Хозяин, как бог черепаху, выставил на всенародное обозрение с клеймом на лбу: се есть антисоветский писатель, приказываю всем миром ненавидеть.

Зачем он все это говорит? Почему я слушаю?

Вероятно, ужас отразился на моем лице. Верховых погладил меня по плечу.

— Не бойся, роднуша! Он теперь не дотянется до нас. Кончилось его время. А?

Ни единого слова не могу вымолвить. Какая-то сила лишила речи. Слушаю, и мороз прошибает позвоночник.

— Кончился временщик. Испустил дух. Дутое величие обернулось прахом. Прахом станут и мраморные, бронзовые статуи, монументы. В прах превратятся доклады, указания, изречения.

Не для моих ушей такие речи. И не для моего сердца, по-прежнему преданного Сталину. Надо бы уйти. Но не решаюсь— все-таки фронтовой друг. Партийный поручитель.

— Своей смертью Хозяин принес стране больше пользы, чем всей долгой жизнью,— продолжал Верховых.

Слова его звучат кощунственно. Так бы мне следовало и сказать. Но вместо этого я засуетился и, оглядываясь на дверь Колонного зала, пробормотал:

— Пойду я... Я здесь не сам по себе... специальный корреспондент «Огонька». Освещаю.

— Иди, роднуша, иди. Освещай! Затемняй! Рыдай! А? На память подарю тебе стихи, написанные здесь, у его подножия.— И Верховых засунул в карман моего пиджака сложенную вчетверо блокнотную страницу.— Прочти на досуге.

Я вернулся на свой пост.

Тихий, печально-сосредоточенный течет людской поток. Лица, лица, лица. Исплаканные. Исстрадавшиеся. Осиротевшие. И на каждом вопрос: «Как же мы будем жить без н е г о ? Что с нами будет?»

Я чувствую то же. Но мысли мои о другом. Лезу в карман, достаю сложенный вчетверо лист бумаги, вырванный из блокнота. Разворачиваю, читаю:

«Не розы красные на смертном одре. Кровь людская горит на топоре...»

«В гробу — душегуб, наших судеб Хозяин. В гробу — тысячеликий, тысячерукий Каин».

«Не так бы хоронить Хозяина! Не в позолоченном мундире, а в зековском рубище. В вечной мерзлоте. На лагерном кладбище».

Поскорее свернул бумажку, сунул в карман и со страхом взглянул на засыпанный цветами постамент.

Неподвижна мертвая голова, не шевелятся губы, а мне слышится:

«Отнеси куда следует бумажку. Покайся! Не сделаешь этого — сотру в порошок! Бог шельму метит. Не зря, нет, не зря сдирал я с тебя шкуру...»

Иссяк людской поток. Погасли люстры. Музыканты упаковывали в футляры инструменты. Появились женщины в спецовках, пожарники в касках, брезентовых робах. Пора и мне.

...Дома, прежде чем поставить чайник на конфорку, я сжег злополучную бумажку. Бумага горит, а то, что написано, не подвластно огню.

Через две недели после похорон Сталина редакция «Литературной газеты» напечатала программную передовую статью, написанную, как говорил мне Борис Агапов, ее главным редактором Константином Симоновым. Называлась она «Священный долг писателя».

И какой же был наш долг по Симонову? На этот вопрос отвечал абзац передовой: «Самая важная, самая высокая задача, со всей настоятельностью поставленная перед советской литературой, заключается в том, чтобы во всем

величии и со всей полнотой запечатлеть для своих современников и для грядущих поколений образ величайшего гения всех времен и народов — бессмертного Сталина».

По словам того же Агапова, члена редколлегии «Литературной газеты», Никита Сергеевич Хрущев в тот же день, как вышла в свет газета, 19 марта, позвонил в редакцию, чтобы высказать главному редактору свое державное негодование по поводу «священного долга писателя». Симонова на месте не оказалось. Охваченный гневом, Хрущев позвонил в Союз писателей его секретарю Суркову и в резких тонах, с нескрываемой злобой осудил выступление главного редактора писательской газеты и потребовал немедленно снять его с работы за то, что неправильно понимает и толкует, в чем состоит священный долг писателя.

Вот такие горячие, обжигающие пироги. Нежданная-негаданная новость. Не только всесоюзного масштаба, но и мирового. Выходит, мой фронтовой друг, старый большевик Верховых Василий Мефодьевич приобрел в лице Никиты Сергеевича своего единомышленника. Надо думать, что Хрущев и в Политбюро и среди членов ЦК тоже имеет единомышленников. И народ, наверное, поддержит главу партии. Партии, которой верил всегда.

Ну а я? В чем я вижу свой священный долг? Быть верным правде — правде жизни. Писать и впредь книги о рабочем классе. Но теперь я засомневался, доступна ли она мне, вся правда жизни?

В июле восемьдесят девятого в «Известиях» ЦК КПСС опубликовано заявление Василия Мефодьевича Верховых, направленное в свое время в Комиссию партийного контроля. Журнал № 7 на странице 114 печатает такие строки:

«Сообщения о возможной фальсификации итогов голосования при выборах на XVII съезде партии впервые появились в печати в 60-х гг., когда стала широко известна трагическая судьба многих делегатов XVII съезда. Ее разделили и члены центральных органов партии, избранных на этом съезде: из 139 членов и кандидатов в члены Центрального Комитета партии было репрессировано 108 человек. В опубликованной 7 февраля 1964 г. в «Правде» статье Л. С. Шаумяна «На рубеже первых пятилеток» к 30-летию XVII съезда партии, в частности, утверждалось, что против кандидатуры И. В. Сталина голосовало более 300 делегатов съезда. С тех пор версия о фальсификации итогов выборов на XVII съезде ВКП(б) неоднократно

всплывала как в статьях историков и публицистов, так и в художественных произведениях. Причем такое голосование объяснялось стремлением делегатов XVII съезда сместить И. В. Сталина с поста Генерального секретаря ЦК ВКП(б) и заменить его С. М. Кировым.

Основным источником, питавшим эту версию, были устные и печатные выступления делегата XVII съезда от московской парторганизации В. М. Верховых. Он утверждал, что, будучи членом счетной комиссии съезда, знал об уничтожении тех бюллетеней, в которых кандидатура И. В. Сталина была вычеркнута. В архиве сохранилась докладная записка В. М. Верховых в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС от 23 ноября 1960 г., в которой он писал: «Будучи делегатом XVII партсъезда... я был избран в счетную комиссию. Всего было избрано 65 или 75 человек, точно не помню. Тоже не помню, сколько было урн — 13 или 15... В голосовании должно было участвовать 1225 или 1227. Проголосовало же 1222. В итоге голосования... наибольшее количество голосов «против» имели Сталин, Молотов, Каганович, каждый имел более 100 голосов «против», точно теперь не помню... но, кажется, Сталин 125 или 123».

Москва гудит слухами. В один день со скоростью молнии многомиллионное население столицы узнало благую для всех весть: вчера в Большом театре в правительственной ложе среди членов Политбюро не оказалось Лаврентия Берия. Хороший признак. Нет, он не заболел. Не уехал отдыхать на Черноморское побережье. Говорят, репрессирован. Утверждают, что его арестовали не генералы с Лубянки, сотрудники государственной безопасности, а генералы-фронтовики во главе с маршалом Жуковым. И заключен будто бы он не во внутреннюю тюрьму Лубянки, а в бывшее бомбоубежище штаба Военного округа. И охраняют его офицеры противовоздушных сил Московского гарнизона.

Слухи подтвердились по всем статьям. Берия осужден. Высшая мера наказания за бесчисленные злодеяния, за незаконные репрессии, за расстрелы сотен и сотен тысяч ни в чем не повинных людей.

Актив парторганизации Союза писателей ознакомлен с обвинительным заключением. Ужасен список преступлений

человека, бывшего долгие годы правой рукой Сталина в Политбюро, в Совнаркоме, в Совете Обороны, в НКВД — КГБ.

А что же Сталин? Знал он или не знал, что вытворял его друг-соратник, главное доверенное лицо во всех державных делах?

На этот вопрос отвечает доклад Хрущева на закрытом заседании XX съезда партии.

Все знал Хозяин, где и как действовал Берия. Ни единого своего кровавого дела не начинал без благословения Сталина.

Вот как закончилась эпоха Сталина. Вот как его божественный образ, образ «величайшего гения всех времен и народов» на наших глазах превратился в страшилище, какого еще не видел мир.

Александр Остапович Авдеенко
НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Редактор О. А. Рябова
Художественный редактор Е. Н. Заломнова
Технические редакторы Р. Д. Рашковская
В. А. Преображенская
Корректор Т. А. Лебедева

ИБ № 5912

Сдано в наб. 24.12.90. Подп. в печ. 12.04.91. Формат 84 x108/32.
Бум. типогр. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая.
Усл. печ. л. 17.64. Усл. кр.-отт. 17 64. Уч.-изд. л. 19,59. Тираж
100 000 экз. Заказ № 1339. Цена 3 р. 80 к. Изд. инд. ХД-307

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия»
Министерства печати и массовой информации РСФСР
103012. Москва, проезд Сапунова. 13/15.

Книжная фабрика № 1 Министерства печати и массовой
информации РСФСР. 144003. г Электросталь Московской
области. ул. Тевосяна. 25.